

НУРБЕЙ ГУЛИА

*Друзья —
дорожке!*

Москва
Глобус
2006

УДК 84(2 Рос=Рус)6-4
ББК 82-312.6
Г94

Г94 **Гулиа Н.**
Друзья — дороже! / Художник В. Е. Горин — М.: Глобулус, 2006. — 224 с.

ISBN 5-94851-180-4

Книга повествует о взаимоотношениях настоящих друзей, которые не всегда согласуются с общепринятыми нормами морали. Автор — российский ученый и писатель, излагает здесь свою точку зрения, основанную на опыте его личной жизни. Эта точка зрения находит все больше сторонников среди молодого поколения с европейским менталитетом. Поэтому и нашему российскому читателю, особенно молодому, книга эта должна быть интересна.

Для широкого круга читателей.

УДК 84(2 Рос=Рус)6-4
ББК 82-312.6

Гулиа Нурбей Владимирович

ДРУЗЬЯ – ДОРОЖЕ!

Редактор *Г. И. Эрли*
Дизайн обложки *Е. Г. Земцовой*
Технический редактор *Ж. М. Голубева*
Компьютерная верстка *С. Ю. Ромашенковой*
Корректор *В. Д. Четверикова*

Подписано в печать 1.06.2006. Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная.
Гарнитура Балтика. Усл. печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 14,2.
Тираж 2000 экз. Изд. № 675. Заказ № 5510.

ООО «Глобулус»
107045, Москва, Пушкин пер., д. 16.
Круглосуточный многоканальный тел./факс (495) 221-19-51.
E-mail: globulus@enas.ru <http://globulus.enas.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ».
140010, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86.

ISBN 5-94851-180-4

© Гулиа Н., 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор книги — известный российский ученый, доктор наук, профессор, академик одной из международных академий. Но здесь он выступает как тонкий наблюдатель человеческой души, поступков людей и мотивов, их обусловивших. Редко встречается такое глубокое проникновение во внутренний мир человека, такой откровенный анализ поступков, в том числе самого автора и близких ему людей. Автор опровергает знаменитый тезис Аристотеля о том, что истина дороже дружбы. Он ценит свою любовь к грузьям превыше призрачных и изменчивых истин.

Эта любовь к грузьям, другим близким людям не всегда и не во всем согласуется с общепринятыми нормами. Но это — точка зрения автора, человека достаточно опытного и авторитетного, и она имеет право на существование. Она созвучна взглядам на дружбу знаменитых художников, не всеми любимых, но всеми признанных.

И дружба, и любовь не всегда постоянны, они могут давать «сбои», как и все в живых людях. Это и заставило автора в самый последний момент усомниться в своих принципах. Но сомнения нам свойственны — все мы люди, простим же это и автору!

ОТ АВТОРА

Великий ученый и философ древности Аристотель однажды произнес высказывание, которое цитируется в течение двух тысячелетий и считается образцом принципиальности: «Платон мне друг, но истина — дороже!» И все мудрейшие в этом мире, повторяя это изречение, качают головами и цокают языками — вот, дескать, каким принципиальным был «старик» Аристотель, сейчас таких людей нет!

А я беру на себя смелость утверждать, что великий Аристотель, которого, кстати, лично я очень чту как ученого, здесь дал маху. Истина, видите ли, ему дороже! Какая истина, где он, да и все мы, эту истину видели?

Что же считал Аристотель истиной, за которую он готов был предать своего друга Платона? Сейчас я назову вам несколько «истин» Аристотеля, и вы решите, стоят ли они великого философа — бородача Платона. Только заранее предупреждаю, что первые две истины заимствованы мной из популярных «притчей» об Аристотеле, и лишь третья — из серьезных источников.

Истина первая: у женщин во рту зубов больше, чем у мужчин.

Да полноте, что, не могли ученые мужи за полторы тысячи лет разинуть рты своим женам и сосчитать там число зубов? Нет, они прежде всего верили «истине» великого Аристотеля.

Истина вторая: у мухи четыре ноги.

Ну, прямо как у слона! Может, Аристотелю попадались мухи-инвалиды или мухи-мутанты, но лабуда эта тоже считалась истиной много столетий.

Истина третья: природа не терпит пустоты.

Аристотель даже издевался над доводами сторонников пустоты: «Что такое пустота? Это место без помещенных туда тел». Быть не может такого! Более полутора тысяч лет эта «истина» туманила головы ученым, пока Торричелли не показал всему миру это «место без помещенных туда тел» — торричеллиеву пустоту. И была эта пустота в верхнем конце трубки ртутного барометра Торричелли.

Продолжать дальше?

Если уж у самого Аристотеля были такие «перлы» в качестве истин, то что было у других, менее продвинутых людей? И вот это должно быть нам дороже дружбы и друзей, если придерживаться тезиса Аристотеля?

Ирония истории науки состоит в том, что одна из действительных истин Аристотеля — то, что тяжелые тела падают быстрее легких — была якобы опровергнута Галилеем, и об этом твердили и твердят до сих пор во всех учебниках физики. Я в свое время специально показал, что здесь-то Аристотель был как раз прав, а Галилей ошибался, только тела эти нужно бросать не вместе, а по очереди¹. Но в учебниках до сих пор истинным считается галилеево утверждение, и, выходит, за эту «липовую» истину тоже надо «продавать» своих друзей?

Баста, я — против! И я выдвигаю в противовес Аристотелю свой тезис: «Истина мне дорога, но друзья — дороже!» И пусть тот, кто с этим не согласен, бросит в меня камень! Если, конечно, он сам «без греха» и никогда не предавал истину!

Так вот, о дружбе и друзьях. Мой друг Саша, о котором и идет речь в этой книге, как-то в своей жизни совершил благородный поступок, о котором мне захотелось поведать людям. Уж больно несовременно и несвоевременно, что ли, выглядел этот поступок на фоне всеобщей неопределенности и пессимизма в нашей стране в то время. Шел 1993 год — страшная инфляция, невыплаты зарплат, финансовые пирамиды, расстрел Белого дома...

Мой друг работал в банке, причем не последним клерком, был хорошим специалистом, кандидатом наук и, стало быть, неплохо зарабатывал. Он был женат, детей не было, жил в квартире с женой и тещей. И вдруг он неожиданно начинает помогать деньгами одинокой женщине с ребенком. При этом не претендуя ни на какие с ней сексуальные отношения — просто выдавая ее ребенка за своего, чтобы объяснить свое странное поведение семье.

Я написал об этом рассказ и уже хотел было отдать его в журнал, где постоянно печатался, но Саша не дал на это согласия. Жена, мол, прочтет и обо всем догадается. Проходит почти пять лет, многое в нашей жизни меняется, и он разрешает мне опубликовать рассказ, который появляется в журнале «Зодиак», затем в газете «Мегаполис-экспресс», на него приходит много писем читателей. Хотим, дескать, знать о судьбе этого благородного человека, как складывается у него жизнь. И удается ли ему все еще тайком от жены помогать чужой женщине с ребенком. И не переметнулся ли он от старой семьи в новую? Я понял, что вопрос этот читателей интересует и мне пора изложить все, что связано с ним, подробно.

Вышеупомянутый рассказ я, вне всякой хронологии, поместил ниже во вступлении, так как с него и началась работа над новой книгой.

¹ См., например, мои книги: Удивительная физика, М.: НЦ ЭНАС, 2003 и 2005; «Парадоксальная механика», того же издательства, 2004.

С моим другом Сашей мы провели вместе (с небольшими перерывами) почти всю жизнь. Встретились мы с ним в детстве в городе Тбилиси, в год поступления в школу, и пошли в один класс. Мы учились вместе не только в школе, но и в институте, даже вместе работали некоторое время в Тбилиси. Позже мы практически вместе переехали жить и работать в город Тольятти (автомобильную столицу России!), а напоследок — в настоящую столицу России — Москву.

В Москве наша жизнь с Сашей и его женой, хоть и протекала поначалу в советское время, складывалась не совсем по советским канонам. Скорее — по европейским, а точнее — по шведским. В связи с этим мне вспоминается знаменитый фильм Ингмара Бергмана «Фанни и Александр», который окончательно убедил меня если не в правоте, то, по крайней мере, в правомерности наших взглядов и образа жизни.

Там один из главных героев фильма — хозяин театра Густав, так искренне, так по-доброму любит и жену, и любовницу — молодую хроменькую прислугу Май! Но такое еще встречается и у нас в России. А вот жена Густава Альма, причем жена любимая — замечательная, сексуальная «пышка», — как она трогательно заботится о любовнице мужа, как защищает ее интересы! И как вся семья, все друзья семьи, даже артисты театра искренне и радостно празднуют рождение дочери от самого Густава у этой Май! Такого у нас найти пока трудно.

Вот это — современные цивилизованные люди, у них по-настоящему добрые, человеческие отношения. Это вам не дикарь-троглодит Отелло! Или ханжа — священник из того же фильма. Или наши отечественные домостроевские старушки — любительницы поучить народ, «как жить надо». И у нас в стране таких защитников домостроевских ценностей пока предостаточно!

Так что выкладывать в новой книге нашу жизнь на всеобщее обсуждение, в том числе и вышеупомянутых старушек, не так уж просто, скорее даже рискованно. Ибо для людей, воспитанных на традициях домостроя, а позднее — социалистического реализма, понятие «порядочный человек» ассоциируется не только с принципиальностью, честностью, обязательностью. Этот человек должен быть трезвенником, верным супругом, чтить «линию партии», иметь традиционную «советскую» семью и такую же сексуальную ориентацию. Поэтому задача, которую я поставил перед собой в этой книге, не так уж однозначна.

Но я твердо решил, что надо, продолжая «дело Бергмана», ломать въевшиеся в наш менталитет, устаревшие стереотипы. Пусть даже при этом пострадает, особенно в глазах старшего поколения, не только «моральный облик» самого автора

(уже изрядно потрепанный его предыдущими произведениями!), но и таковой у действительно порядочных людей — моего друга и его жены. И они, все по тем же соображениям, не давали согласия на обнародование наших «секретов» в новой книге.

Лишь совсем недавно такое разрешение на опубликование книги было получено. «Мы в таком возрасте, — мотивировал Саша это решение, — что если еще немного подождать, то и скрывать ничего не придется — все скроет его величество склероз!» Потом только я понял, какой коварной, тогда еще тайной причиной было мотивировано такое решение — она изложена в эпилоге книги.

Книга эта о дружбе, о моих друзьях, о наших с ними взаимоотношениях. Так как же называться этой книге, если не «Друзья — дороже!» Это — в пику Аристотелю, который считал, что дороже все-таки истина.

Но самые последние события, изложенные только в эпилоге, заставили меня слегка усомниться в незыблемости исповедуемых мной принципов. Позже, правда, время излечило меня, и я снова, с осторожностью, но вернулся к ним.

Как автор, я прошу от читателей побольше толерантности при чтении этой книги. А также — почаще вспоминать, что рекомендует делать народная мудрость, чтобы самому «не быть судимым»!

ВСТУПЛЕНИЕ

Как только Александр Вениаминович зашел в квартиру, то сразу понял, что он в чем-то провинился. Жена и теща сидели на кухне и лепили вареники, которые с шумом плюхались в кипяток, а теща хрипло каркала что-то своей дочке на идиш. И хоть Александр Вениаминович Македонский и был евреем, но идиш знал плохо. Однако сейчас он прекрасно понял, что разговор на кухне идет о нем.

— Явился, наш Победитель! — смахивая слезы, съязвила жена. — Пляши — тебе письмо от твоей крали! — и она швырнула мужу вскрытый конверт.

— Арахмунес об дир («несчастный»), — добавила теща, — мало тебе жены аидки, решил еще татарке детей наделать!

— Какой татарке, каких детей? — только и произнес тезка полководца, но прочел на конверте свой адрес и фамилию, а отправителем оказалась некто Абдурахманова Л.С. с улицы Молдагуловой.

Александр Вениаминович вынул письмо и пробежал его глазами.

«Дорогой Саша, извини, что я нашла тебя и написала. Мне не платят зарплату уже несколько месяцев, нам нечего есть, твой сын голодает. Я не решилась бы тебя беспокоить, но узнала, что ты хорошо зарабатываешь...» Дойдя до конца письма, он прочел имя — Лейсан.

— Розочка, золотце, — пробормотал «дорогой Саша», — я ничего не понимаю, я не знаю никакой Лейсан!

Но «золотце» с ревом забежало в спальню, а теща, оглядевшись по сторонам, прокаркала зятю в ухо:

— Мишуген аид (сумасшедший)! Я бы на твоём месте нашла свою кралю и уладила все миром! Чтобы все было тихо!

Эту ночь Саша спал на диване в столовой, а на следующий день после работы поехал на улицу Молдагуловой по указанному на конверте адресу. Дом нашел без труда. Это была двенадцатизэтажная панельная «башня», а квартира тут же, на первом этаже, так что и лифт не понадобился. Немного помедлив, пригладив волосы и поправив галстук, Саша позвонил в дверь. На вопрос «Кто там?» Саша долго не мог ничего ответить, ну не говорить же: «Александр Македонский!»

Но дверь отворилась, и темноволосая молодая женщина тихо спросила: «Вам кого?»

— Лейсан! — робко ответил Саша, на что женщина попросила его зайти.

— Лейсан — это я, — в прихожей пояснила она, — а вы кем будете?

— Видите ли, — ответил Саша, — я — Александр Македонский...

— Бросьте так шутить, — горько улыбнулась Лейсан, — что вы не полководец, я и так вижу, а откуда вы знаете про другого Македонского — не пойму?

— Я получил ваше письмо, — и Саша полез по карманам, — от вас, там что-то про моего ребенка...

Лейсан схватилась руками за голову.

— Это письмо получили вы? Простите меня, если можете, как я могла подумать, что в Москве найдется еще один Александр Македонский! Но поверьте — вы не отец моего ребенка!

— А как отчество вашего Александра Македонского? — только и решился спросить Саша.

— Филиппович, а разве можно быть Александром Македонским и не Филипповичем? — улыбнулась Лейсан. — Ведь так звали отца и того... Македонского. Вот и сын у меня Филипп! А его сын будет снова — Александр... А ваше как? — спросила она.

— Вениаминович! — усмехнувшись, ответил Саша. — Вообще-то я еврей, но крещеный — «выкрест».

Лейсан пригласила гостя в комнату и усадила на диван. Рядом стояла детская кроватка, в которой спал Филипп Македонский. Тезка царя — отца полководца, был курнос, рыж и краснокож, и Саше показалось, что ребенок чем-то похож на него. В комнате было неестественно чисто и пусто, почти без мебели, из-за чего она казалась большой и гулкой.

Приглядевшись к Лейсан, Саша долго вспоминал, где же он видел это лицо, и наконец понял, что это лицо Богоматери из Владимирской церкви в Киеве, работы Виктора Васнецова. Саша в детстве жил в Киеве, а потом часто бывал в этой церкви уже взрослым. Огромный лик Богоматери врезался ему в память, он считал ее идеалом женской красоты. И вдруг — Лейсан, татарка — и то же лицо! Саша невольно вспомнил Розочку, да и тещу — «маму» Блюму. Они же еврейки, им бы быть похожими на свою древнюю соотечественницу, но ничего общего, даже отдаленно! Если уж и сравнивать со знаменитостями, то Розочка была похожа на Лайзу Минелли, а теща — на Анни Жирардо. Только не на Богоматерь Васнецова! А тут на тебе — татарка! Саше показалось, что он знал Лейсан всегда, с самого детства, и она ему была близким, родным человеком.

Вдруг шальная мысль пришла ему в голову.

— Прошу вас, выслушайте меня, не перебивая. Я действительно работаю в банке и, как вам правильно сказали, неплохо зарабатываю. Мне ничего не стоило бы помогать вам, тем более надо же искупить грех ближнего — моего тезки, хотя и неполного. В принципе я верующий, православный, подвоха от меня не ждите. Сейчас все мои деньги забирают жена с тещей, мне немало лет, детей у нас нет и, видимо, не будет. Им моих денег девать некуда, а я сам, пожалуй, тоже никуда от семьи не денусь, такова, наверное, моя судьба! Они видели письмо, они вынуждены будут простить, как им кажется, мою любовь на стороне, моего ребенка. Они, в принципе, добрые люди, и позволят мне помогать вам, заботиться о вас. Так позвольте же и вы мне это делать, тогда хоть часть моих денег и моей жизни пойдет на благое дело...

Лейсан слушала монолог Саши, внимательно глядя на него. Он ожидал, что она обидится, будет отказываться, но Лейсан как-то беззащитно улыбнулась и согласилась, впервые назвав его Сашей.

— Хорошо, Саша, я согласна, если это принесет вам облегчение. Ну а я, да и Филипп будем вам очень благодарны. Бог-то у нас ведь один, — неожиданно заключила она, — и у православных, и у мусульман, и у иудеев...

Саша возвращался домой как на крыльях. Нет, у него и в планах не было совращения красивой Лейсан деньгами, но какое-то незнакомое ранее, высокое и радостное чувство охватило его.

Когда Саша пришел домой, Розочка уже спала и он стал стелить постель в столовой. И ему, и, видимо, Розочке так сегодня лучше. Вошедшая в столовую теща каркнула:

— Ну как?

На что Саша конспираторски зашептал:

— Мама Блюма, она согласилась от меня принимать помощь — и никуда не будет сообщать... Одним словом, все будет тихо, как вы того хотели!

Теща заговорщицки подмигнула и тихо спросила:

— Ну а сынок-то хоть похож на тебя? Куда от родного человека денешься, надо помогать!

И впервые голос тещи показался Саше отнюдь не каркающим, а ласковым и даже мелодичным.

«Все будет хорошо и, слава богу, по-новому!» — подумал Саша и через минуту уже спал с блаженной улыбкой на лице.

ТБИЛИССКИЙ ДВОР



Я

Итак, после рассказа, так или иначе породившего эту книгу, я возвращаюсь к хронологической последовательности и начинаю свое повествование с самого начала, а именно — со своего рождения. Ибо, не родись автор, кто бы стал описывать жизнь его друга и его взаимоотношения с самим автором?

Рождения своего, в отличие от Льва Толстого, я не помню, между тем о моем появлении на свет рассказывали пикантные подробности.

Дело в том, что большевики или коммунисты, точно не знаю, кто из них, «уплотнили» нашу семью и поселили в одной из комнат нашей квартиры Грицко Харченко — веселого хохла, кажется, военного, и его жену Тату — акушерку. Вот эта-то Тата и принимала роды у моей мамы в родильном отделении железнодорожной больницы в Тбилиси.

Надо сказать, что уплотнили нас по-большевистски: в трехкомнатной квартире перед войной жили бабушка со своей матерью и вторым мужем, мама с мужем и я, да и Тата с мужем — восемь человек. И когда на войне погибли все мужчины и умерла моя прабабушка, посчитали, что мы живем слишком просторно. Одиной Тате дали комнату поменьше, а к нам подселили молодую еврейскую семью — милиционера Рубена и его жену Риву с сыном Бориком. Семья эта года через два распалась, и милиционер ушел, забрав с собой сына. Рива осталась одна.

Тата нас не забывала и часто приходила в гости. Я хорошо помню полную хохотушку, не стесняющуюся в выражениях. Мне было лет десять, когда она рассказала мне историю моего рождения.

— Мама твоя не хотела ребенка — война на носу, все об этом знали. Ну и решила она от тебя избавиться — прыгала с лестницы, мыла окна, делала гимнастику. Чтобы был выкидыш, одним словом...

— Тата, как тебе не стыдно, зачем ребенку это? — краснея, пыталась урезонить «тетю Тату» мама.

Но акушерка продолжала говорить, ей очень хотелось рассказать про пикантный конец истории:

— Ну и родился ты задушенный — пуповина вокруг шеи обмоталась, сам синий и не дышишь, то есть — не кричишь. А хозяйство это у тебя, — и она ткнула меня пониже живота, — окрепло, как у взрослого. Это от удушья бывает, но чтобы так сильно, прямо как у мужика, я еще не видела. Ну, похлопала я тебя по попе, дала дыхание, и ты как заорешь! Это примета такая акушерская: у кого при рождении эрекция, тот таким кобелем вырастает...

Тут уж мама вскочила с места и закричала:

— Тата, прекрати сейчас же, что ты говоришь при ребенке, он этих глупостей пока не понимает!

— Понимает, понимает, — успокоила тетя Тата маму, — десять лет ему, небось, всю ручками балуется. Ручками балуешься? — весело спросила она меня.

— Какими ручками? — краснея, переспросил я ее, — фу, глупости какие говорите! — пробормотал я и выбежал из комнаты под оглушительный хохот тети Таты.

Конечно, она была грубоватой женщиной, но про приметы акушерские знала все основательно...

Так как жизнь была трудной, а семья наша убавилась на три человека, мы стали брать квартирантов. Кому только мы не сдавали после войны нашу вторую комнату! В основном — артистам, которые почему-то активно разъездились в конце войны и сразу после нее.

Жили у нас молодые муж и жена — воздушные акробаты из цирка. Голодали, но тренировались. У них не было даже одежды на зиму. Бабушка подарила им пальто и всю теплую одежду своего погибшего мужа, которую не успела продать.

Жили скрипачка и суфлер. Скрипачка (правда, играла она на виолончели) была, видимо, психически больной. Она была молода, красива и нежно любима суфлером — правда, тоже женщиной лет сорока. Скрипачка постоянно плакала и пыталась покончить жизнь самоубийством; суфлеру (или суфлерше?) раз за разом удавалось спасти ее. Но скрипачка все-таки сумела перехитрить свою опекушку и бросилась с моста в Куру. От таких прыжков в бурную реку еще никто не выживал, и суфлерша, поплакав, съехала от нас.

Жили муж с женой, имевшие княжескую фамилию Мдивани. Это были администраторы какого-то «погорелого» театра. Жена Люба нежно ухаживала за больным мужем Георгием — у него оказался рак мозга. В больницу его не брали, так как места были заняты ранеными, и он больше месяца умирал, не переставая кричать от боли. Когда Георгий умер, то и Люба съехала от нас.

Приезжали из Баку два азербайджанца-ударника — Шамиль и Джафар, которые играли на барабанах в оркестре. Так они,

прожив у нас месяц, не только не заплатили, но одним прекрасным утром сбежали, прихватив кое-что по мелочи и сложив это в наше же новое оцинкованное ведро. Бабушка долго гналась за ними с кухонным ножом, вспоминая все, какие знала, азербайджанские ругательства: «Чатлах! Готверан!» («суки, педерасты!») Но азербайджанцы бежали резво, и догнать, а тем более резать их, бабушка так и не смогла.

Соседка Рива тоже сдавала свою комнату, правда, и жила вместе с постояльцами. Как тогда говорили — «сдавала угол». Мне запомнилась перезрелая пышнотелая певица Ольга Гильберт, немка из селения Люксембург близ Тбилиси, где почему-то всегда жили немцы. Ольга пила, постоянно срывая свои концерты, и приводила любовника, которого отпускали на это время из тбилисской тюрьмы. Фамилия его была Кузнецов, и я его называл Кузнечиком, благо он был очень похож на это насекомое.

Певица Ольга буквально затрахала всю квартиру. Во-первых, своим пением, особенно в пьяном виде и дуэтом с Кузнечиком. Во-вторых, своим полным пренебрежением к нам. Обращение к нам было одно: «Шайзе!» Она утверждала, что это по-немецки «уважаемые», а Риву называла не иначе, как «Юдише швайне». Наше терпение было и так на пределе, а тут мы еще узнали реальный смысл ее обращений, которые означали «дерьмо» и «еврейская свинья».

Рива палкой прогнала пьяную Ольгу из комнаты и спустила ее вниз по лестнице. А жили-то мы на последнем третьем этаже дома с многочисленными верандами, столь характерными для Тбилиси. «Шайзе!» — кричала ей снизу разъяренная Ольга. «Юдише швайне!» — отвечала ей сверху не менее разъяренная Рива. Соседи высыпали на веранды и аплодировали победе над немецким угнетателем.

Но особенно запомнились мне постояльцы-лилипуты. Их кочующий театр давал представление в тбилисском клубе им. Л. П. Берия — веселую азербайджанскую оперетту «Аршин-мал-алан», правда, на русском языке. Даже меня водили на это представление, и оперетта мне понравилась. Особенно понравился припев, который постоянно пел один из лилипутов — главный герой оперетты: «Ай, спасибо Сулейману, он помог жениться мне!» Мне было лет пять, но я с дотошностью, свойственной мне с детства, постоянно расспрашивал маму, кто этот Сулейман и каким образом он помог жениться лилипуту, который жил рядом с нами без жены? Мама отсылала меня в соседнюю комнату разузнать об этом лично.

Я часто бывал в гостях у лилипутов. Я почему-то считал их детьми и заигрывал с ними. Они нередко огрызались и гнали меня

из комнаты. Однажды я застал их за процессом изготовления колбасок. Приготовленный тут же фарш один из постояльцев, стоя на табуретке за столом, кулачком набивал в кишку. Меня это поразило, и я попытался сунуть свой, громадный по сравнению с лилипутским, кулак в эту кишку. За что был с гневом изгнан лилипутами из нашей же комнаты. Потом уже я прочитал про путешествия Гулливера, и нашел, что мои взаимоотношения с лилипутами несколько напоминали описанные Свифтом.

Женат был лишь один лилипут из всей труппы — ее директор по фамилии Качуринер. Имени я не запомнил. Жена его была обычная высокая и дородная русская женщина. Думаю, что никакого секса между ними не было и быть не могло. Просто так им было удобно — их поселяли в одном номере гостиницы, да и мы бы не пустили, если бы директор не показал паспорт, где была записана его жена. Но оказалось, что жена не воспринимала его как мужа, а скорее — как ребенка.

Однажды, когда я, по обыкновению, был в гостях у лилипутов (дело было летом в тбилисскую жару), жена строго приказала мужу-Качуринеру: «Пойдем купаться!» Муж тонким голоском пытался что-то возражать, но жена, подхватив директора на руки, нашла попу и понесла в ванную, снимая с него штаны по дороге. Плеск воды и визг любимого директора вызвали переполох в стане артистов. Но тут жена вернулась, неся на руках довольного, чистого, завернутого в полотенце директора, шикнула на малорослых артистов и принялась одевать мужа.

Кажется, это были последние постояльцы у нас. Наступал 1947 год. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — как говорил вождь. Я слышал эту фразу и был согласен, что жить становилось очень даже весело. Но с лилипутами все равно было намного веселее!

Войну я помню очень смутно. Я запомнил вечный голод, постоянно плачущих маму и бабушку (обе получили похоронки на мужей), черный бумажный радиорепродуктор, не выключающийся ни днем ни ночью. Иногда были воздушные тревоги: репродуктор начинал завывать и все бежали в убежище — свой же подвал под домом, который на честном слове-то и держался. Я хватал плюшевых мишку и свинку и бежал куда и все. Я слышал треск выстрелов, говорили, что это стреляли зенитки. Иногда, очень редко, слышались далекие взрывы — это рвались то ли немецкие бомбы, то ли наши же зенитные снаряды.

Запомнились и стоящие на улицах зенитные установки с четырьмя рупорами — звукоуловителями и прожекторами. Я слышал, что если поймают самолет в луч прожектора — хана ему, обязательно подстрелят.

Мне говорили, что я был странным ребенком. Во-первых, постоянно мяукал по-кошачьи и лаял по-собачьи. Дружил с дворовыми кошками и собаками, разговаривал с ними. Метил, между прочим, свою территорию так же, как это делали собаки, и животные мои метки уважали. Понюхают и отходят к себе. Да и я их территорию не нарушал.

Наш двор — это огромная, почти как стадион, поляна, заросшая бурьяном и усыпанная всяким мусором. Посреди двора в луже дерьма стоял деревянный туалет с выгребной ямой для тех, у кого не было туалета в квартире. Наш трехэтажный дом с верандами и ветхой железной лестницей черного хода стоял по одну сторону двора. По другую сторону — «на том дворе» — находились самостройные бараки и даже каморки-«бидонвилы» из досок и жести. Там жили «страшные люди» — в основном беженцы, бродяги, одним словом — маргиналы, но попадались и вполне интеллигентные люди. Боковые части двора с одной стороны занимала глухая стена метров в пять высотой, а с другой стороны — кирпичное пятиэтажное здание знаменитого Тбилисского лимонадного завода с постоянно и сильно коптящими трубами. Вечерами с ветхого железного балкона, который держался только на перилах, я обычно тоскливо мяукал и лаял своим друзьям во двор, а те отвечали мне. У меня, кроме кошек и собак, друзей пока не было, и я очень тосковал по этой причине.

Были попытки отдать меня в «элитный» детский сад, где изучали немецкий язык. Но я тут же стал метить территорию, и нас попросили убраться, да побыстрее. Дома мне было строжайше запрещено мочиться под деревьями, на стены и т. д., так как это «очень стыдно и неприлично». Справлять свои нужды можно было только там, где тебя никто не видит, то есть в туалете, обязательно закрыв дверь. Лаять, мяукать и выражаться нецензурными словами (что я уже начал делать) — нельзя нигде ни под каким видом. Внушения эти сопровождалась поркой, и я торжественно обещал не делать всего вышеперечисленного. Зря, конечно! Ведь, будучи педантом с детства, я неукоснительно соблюдал данное обещание, что приносило мне колоссальные неудобства в детстве.

И вот однажды я увидел на траве во дворе — нет, не дрова, как вы, наверное, подумали, а этакий большой металлический шприц. Никого вокруг не было, и я забрал этот шприц себе как ничейный. Выйдя на железный балкон, я набирал воду шприцом из ведра и поливал ею проходящих под балконом людей. И вот этот шприц заметил у меня в руках дядя Минас, отец моего ровесника Ваника, живший в самом начале страшного «того двора», где проживали в основном армяне. Оказалось, что я «прибрал к рукам» его масляный шприц, который он оставил на траве, ремонтируя свой допотопный «Мерседес».

Почти каждый день дядя Минас с группой дворовых ребят выталкивал из «гаража» — убогого сарайчика из досок — свой «Мерседес», наверное, дореволюционного года выпуска, и весь день владелец «престижной» иномарки валялся под машиной, починяя ее. Вечером машину заталкивали обратно. Едущей самостоятельно ее так никто и не видел.

Одним словом, дядя Минас потребовал возврата шприца; моя бабушка была против, мотивируя тем, что «ребенок нашел его в общем дворе». Высыпавшие на веранды соседи в своих мнениях разделились. Наконец, дядя Минас принял соломоново решение:

— Пусть Нурик и Ваник подерутся: кто победит, тот и возьмет себе шприц!

А Ваник, оказывается, был грозой двора и бил всех ребят, включая даже Гурама, хотя тот был и постарше Ваника. Но я-то об этом не знал, а за шприц готов был сражаться насмерть. И к предстоящей битве отнесся вполне серьезно.

Я спустился со шприцом во двор, где уже собрались мальчишки и даже взрослые соседи во главе с арбитром — дядей Минасом. Ваник был уже готов к схватке и принял угрожающую стойку. Мы кинулись друг на друга, упали и начали кататься по траве. Я инстинктивно зажал шею Ваника в своей согнутой руке. Это называется «удушающий прием сбоку»; я, конечно, не знал про это, просто, как сейчас любят говорить в рекламе, «открыл для себя» этот прием. Ваник завопил от боли, но я не отпускал его.

— Запрещенный прием! — пытались принизить мой успех друзья дяди Минаса, но тот решил быть справедливым.

— Забирай шприц себе! — великодушно разрешил он мне. — Ваник сам виноват, что дал ухватить себя за шею. Но я научу его правильно бороться! — и дядя Минас запустил камнем в убегающего плачущего Ваника.

Я ушел домой победителем, гордо неся завоеванный в битве шприц. Но радость моей победы была омрачена — за драку во дворе мама наказала меня и запретила впредь драться. Я торжественно обещал и это, чем еще больше усложнил себе жизнь.

А на следующий день Ваник позвал меня поговорить с ним во двор. Я спустился, и Ваник предложил мне сесть в отцовский «Мерседес». Для меня это было пределом мечтаний, и я радостно забрался в салон. Ваник захлопнул дверь, запер ее и сказал, что я буду сидеть в машине запертым, пока не признаю, что вчера победил не я, а Ваник. Мне некуда было деваться, да и шприц все равно оставался у меня. Я признал свое поражение и верховенство Ваника перед дворовыми девчонками — Марусей и толстухой Астхик (по-армянски — «Звездочка»), и был отпущен домой.

САША

Тогда же случилось событие, важность которого для всей моей дальнейшей жизни переоценить трудно — во дворе я познакомился с новым соседом — моим ровесником. Звали мальчика Сашей, он жил на «том дворе» с родителями в бараке. Говорили, что раньше они жили на Украине, дом их разбомбили, и пока отец Саши воевал, мать с ребенком ютились по знакомым. После войны отец вернулся, и родители с Сашей переехали в Тбилиси. Пока в барак на «том дворе».

Мальчик был рыжим, тихим и задумчивым, лицо имел курносое, но красивое. Громких кавказских игр он не любил и обычно сидел на кирпичной завалинке у стены лимонадного завода. Мы с Сашей оба были склонны к философствованию на различные актуальные темы — как научиться разговаривать с собаками и кошками, почему летучие мыши в нашем дворе кидаются на женщин с пышными прическами, из чего делают лимонад на нашем лимонадном заводе.

Во многом мы с Сашей были согласны, прежде всего потому, что он почти не спорил, а только соглашался. Фамилия у Саши была необыкновенная — Македонский, что вместе с его полным именем звучало как «Александр Македонский». Я знал, что так звали какого-то героя или полководца древности — очень известного человека.

Мы целыми днями гуляли вместе по двору или сидели на кирпичной завалинке. Саша хвалил меня за победу над Ванником — грозой двора, часто избивавшим и самого Сашу. Я же показывал Саше, как надо разговаривать с собаками и кошками — животные буквально вступали со мной в длительные диалоги, они отлично понимали меня. Получше, во всяком случае, чем кавказские дети. Да и с Сашей, приехавшим с Украины, мы гораздо больше понимали друг друга, чем с детьми нашего двора, родившимися в Тбилиси. Конечно, можно предположить, что мы с Сашей воспитывались в славянском, русском духе, чуждом большинству местных детей. Тогда почему же меня так хорошо понимали собаки и кошки? Они-то славянами уж точно не были!

Мне еще не исполнилось и семи лет, когда в 1946 году меня отдали в 13-ю мужскую среднюю школу. Школьных принадлежностей тогда в магазинах не было. Мама сшила из брезента мне портфель; из листов старых студенческих работ, чистых с одной стороны (она принесла их из вуза, где работала), скрепками собрала тетради, налила в пузырек из-под лекарств чернила.

А чернила приготавливались так: брали химические карандаши (таких, пожалуй, уже нет в продаже), оставшиеся еще

с довоенного времени, вынимали из них грифели, толкли и растворяли их в воде. Перо обычно брали из довоенных запасов и прикручивали к деревянной палочке ниткой или проволокой. Мама преподавала в вузе черчение, и у нее были с довоенных времен так называемые чертежные перья, вот ими я и писал.

В эту же школу и в этот же класс отдали и Сашу. Правда, Саша был еще хуже экипирован, чем я.

Меня мама или бабушка отводили в школу и приводили обратно. Самому переходить улицы не позволяли. Еще бы — по этим улицам курсировали с частотой в полчаса раз трамвай и троллейбусы, а также иногда проезжала такая экзотика, как танк, автомобиль или фаэтон. Иногда мама или бабушка запаздывали брать меня. Тогда я медленно, крадучись, шел по направлению к дому, нередко доходя до самых дворовых ворот. Но, как только видел спешащую ко мне маму или бабушку, стремглав бросался бежать назад к школе, не разбирая ни переходов, ни проходящих по улицам трамваев, троллейбусов и танков.

Когда меня учили в этом, то провожать и встречать перестали. Сашу никто в школу не отводил и не встречал. Если приходили за мной вовремя, то брали домой и Сашу. Если запаздывали, то он шел один.

Никаких ярких впечатлений от первых классов школы у меня не осталось. За исключением, пожалуй, дружбы с Сашей. Школа была старая, еще дореволюционной постройки с печным отоплением и, слава богу, с отдельными кабинками в туалете. Матом тогда еще в младших классах не ругались и сильно не дрались. Поэтому и пребывание мое в школе тогда было если не радостным, то хоть терпимым.

Моего дедушку — отца матери — Александра Тарасовича Егорова, которого я называл «дедушка Шура» (между прочим, великорусского шовиниста, графа в прошлом), просто умилял контингент нашего класса. Вообще мой дедушка был большим специалистом в национальном вопросе. Он считал, например, что все грузины — «шарманщики и карманщики». Опыт жизни, видимо, научил его этому. Про армян он говорил, что «их сюда привезли в корзинах». Когда-то давно, рассказывал он, армян свозили из горных армянских селений на строительство Тбилиси как «гастарбайтеров». Причем привозили на лошадях в больших корзинах — лошади были этими корзинами навьючены. Почему-то это считалось обидным. А что, их должны были вывозить из нищих горных селений на золотых каретах? Евреев дедушка вообще всерьез не воспринимал. Даже самый богатый еврей был для него просто «бедный еврейчик». Видимо, это было ошибкой, и не только моего дедушки! Посмотрел бы он на наших «бедных еврейчиков» сейчас!

Вторая жена дедушки Шуры была директором крупного военного предприятия, и жили они богато. Мы с мамой часто ходили к нему в гости — поесть вволю, да и поговорить, по-родственному, конечно. Дедушка любил беседовать со мной.

— А ну, назови всех евреев в классе! — приказывал мне дедушка Шура.

И я начинал перечислять:

— Амосович, Винцкевич, Симхович, Лойцкер, Мовшович, Фишер, Пейсис... — и так фамилий десять — двенадцать.

Дедушка кайфовал:

— Мовшович, Фишер, — подумать только! Пейсис, какая прелесть, Пейсис — ведь нарочно не придумаешь!

— А еще у нас есть свой Александр Македонский! — хвалился я.

Дедушка ликовал:

— А Наполеона Бонапарта своего у вас нет?

Но этим я порадовать его не мог.

— А ну, назови теперь всех армян в классе! — теперь приказывал он.

— Авакян, Джангарян, Погосян, Минасян, Похсранян...

— Хватит, хватит, — стонал дедушка, — Похсранян — это шедевр! «Пох» — это по-армянски — «деньги», а «сранян» — что это? Неужели «Похсранян» переводится как «Деньгокаков»? Ха-ха-ха, какая прелесть! — умилялся дедушка. — Послушай, Нурик, ну а русские в классе есть?

— Есть, один только — Русанов Шурик — отличник!

— Хорошо, есть хоть один, да еще отличник! А грузины есть? Ведь Тбилиси — Грузия все-таки!

— Есть, двое — Гулиа и Гулиашвили!

Дедушка хохотал до слез, — ничего себе ассортимент — Герц и Герцензон! Ха-ха-ха!

Дело в том, что по иронии судьбы у нас в классе были именно две фамилии с одинаковыми грузинскими корнями — Гулиа (что по-грузински переводилось как «сердце») и Гулиашвили («сын сердца»). Дедушка, как полиглот и настоящий аристократ, кроме русского говорил еще по-немецки и по-французски, а также знал местные языки — грузинский и армянский, он перевел эти фамилии на немецкий лад. Получилось очень складно, ну просто как название фирмы: «Герц и Герцензон». Я — это Герц (сердце), а Герцензон (сын сердца) — Гулиашвили.

Но не во всех школах Тбилиси был такой контингент. В элитных районах (проспект Руставели, площадь Берия и т. д.) в классе могли быть одни грузинские фамилии. А наш район был армяно-еврейским, вот и фамилии соответствующие.

Но затем, к сожалению, меня почему-то перевели в 14-ю школу, где доминировал армянский контингент, жидко разбавленный грузинским. Еврея не было ни одного. Вот в этой-то

школе, начиная класса с пятого, и начались мои неприятности. Туалеты в этой школе были кавказские или азиатские, то есть без кабинок; ученики дрались и ругались скверными словами. Я оказался там «чужаком», и как когда-то в грузинском детском саду, сделался жертвой ксенофобии. Сашу тоже перевели в эту школу, но, к сожалению, в параллельный класс.

Да, к вопросу о ругательствах, актуальному в нашей школе. Я, уже в зрелые годы, сталкивался кроме русского с носителями других языков: английского, немецкого, грузинского, армянского и идиш. Так вот, на английском и немецком языках матерные ругательства безобидны. По-немецки даже мужской член звучит невинно: «шванц» — «хвост», «хвостик». Я позволю себе, если, конечно, об этом пойдет речь, именно так называть этот предмет в дальнейшем.

По-русски же соответствующий термин восходит к словам «хвоя», «хвоинка» — как-то уж очень убого и малогабаритно! Правда, существует легенда о том, что когда император Александр Второй в детстве прочел на заборе слово из трех букв и спросил своего воспитателя поэта Василия Андреевича Жуковского, что это означает, тот, нимало не смутившись, ответил:

— Ваше величество, это повелительное наклонение от слова «ховать», то есть «прятать»!

Конечно же, «неприличные» вещи нужно прятать — вот вам и другое толкование происхождения обсуждаемого термина.

На идиш ругательства выглядят как-то комично, но, может, я далеко не все знаю. Например, глупому человеку говорят: «У тебя "хвостик" поперек лба лежит» или «Твой лоб и мой "хвостик" — два приятеля». Забавно и не очень обидно, не правда ли?

Ругательства на грузинском языке, пожалуй, по хлесткости могут быть сравнимы с русскими, то есть обиднее, чем на вышеупомянутых языках. Но я не слышал более обидных и грязных ругательств, чем на армянском языке. Тут в одной фразе может быть и онанизм, и орально-генитально-анальный секс, и даже жир с заднего места матери обругиваемого персонажа. Ужас! После армянских ругательств, как сказал бы незабвенный актер Фрунзик Мкртчян: «Даже кушать не хочется!»

Разумеется, я не мог поддерживать разговоры моих армянских товарищей, выдержанных в подобных тонах; в школьные туалеты я ходить тоже не мог; не мог и адекватно отвечать на зуботычины и пощечины одноклассников. И постепенно начались мои, уже несколько забытые с детского сада, терзания. Меня называли бабой, гермафродитом, засранцем; плевали, писали и даже онанировали мне в портфель, пока я выходил из класса на перемену; не опасаясь возмездия, отвечивали поще-

чины. Одним словом, «опускали» как могли. Когда кончались уроки, я стремглав убежал домой, так как брюки мои или были мокрыми, или готовы были стать таковыми. Азиатские туалеты, увы, мне были недоступны!

Поскольку Саша учился в параллельном классе, мы с ним могли видаться только на переменах или уже во дворе дома. Я жаловался ему, как мог, на мои унижения в школе, а он в ответ рассказывал мне, как злобные иудеи издевались над Иисусом Христом, идущим на смерть, и даже уже над распятым на кресте. «Разве это можно сравнить с тем, как унижают тебя эти несчастные!» — резюмировал Саша.

— Почему несчастные, это они издеваются надо мной, а несчастный — это тот, над которым издеваются! — не соглашался я.

— А ты бы хотел оказаться на их месте? — тогда спрашивал меня Саша. — Уверен, что нет! Они примитивные, малограмотные, ничтожные! А ты — умный, благородный, великодушный! Вот они и завидуют тебе, потому и мучают!

Мать Саши — Мария Тихоновна, была русской, очень набожной, постоянно читала Библию. От нее-то Саша и знал про Иисуса Христа и многое другое «по религиозной части». Она и крестила Сашу еще до прихода отца с фронта, зная, что он будет против. Сашин отец — Вениамин Яковлевич, был евреем, коммунистом и атеистом впридачу. Он пришел с войны в звании майора, весь израненный, обычно долго и мучительно кашлял. Иногда я заходил к ним в гости на «тот двор» и был знаком с родителями Саши.

Я не мог не согласиться с доводами Саши про моих учителей, только жалел, что я не в 13-й школе в одном классе с Сашей, как раньше. От евреев, в отличие от Христа, я таких издевательств, как от армян, не видел.

А тут вдобавок со мной случилось то, что обычно и случается с мальчиком в отрочестве — я стал понемногу постигать половое влечение и любовь. Началось все с происшествия в ванной. Горячей воды у нас, разумеется, не было, да и холодная еле дотягивала до нашего третьего этажа. Но рано утром и поздно вечером она еще поступала. Для разогревания воды служил большой медный бак, который надо было топить дровами, углем, опилками, старыми книгами — чем придется.

И вот однажды поздно вечером, почти ночью, я нагрел бак воды и решил искупаться. Распылителя на душе не было, и вода лилась сверху тоненькой струйкой. И струйка эта ненароком попала на место, которое я, как уже упоминал, буду называть «хвостиком». Эрекция не заставила себя ждать, я стоял под этой струйкой, чувствовал, что лучше отойти в сторону, но не мог. Древнейшее из ощущений, если можно это так назвать — либидо, — не позво-

ляло мне этого сделать. Уж лучше бы горячая вода закончилась в баке и душ обдал бы меня отрезвляющим холодом. Но бак был полон, и оргазм стал неминуем. Вдруг все тело охватила сладкая истома, затем начались судорожные движения туловища, от которых я даже свалился в ванну. И последовало сильнейшее из тех сладостных ощущений, которые доступны только миру животных и людей.

Я уже было решил, что умираю, только удивлялся, почему смерть так легка и сладостна. Заметил также, что это новое ощущение сопровождалось выделением какой-то прозрачной клейкой жидкости, похожей на яичный белок. Что это, откуда жидкость, где я нахожусь — в обшарпанной, загаженной ванной или в сказке?

Немного отдохнув, я решил повторить опыт — страсть к исследованиям оказалась сильнее страха смерти. И опыт снова удался! Первое время я только и занимался тем, что повторял и повторял опыты, модифицируя их исполнение, и скоро дошел до общепринятого метода.

Но тут меня взяло сомнение: все имеет свой конец, а вдруг запас этой жидкости тоже не безграничен в организме? Кончится жидкость, и в худшем случае — смерть, а в лучшем — прекращение этого восхитительного чувства. А без него жизнь уже казалась мне совсем ненужной!

Надо сказать, что медицинские познания у меня в те годы (лет в девять-десять, точно не помню) были, мягко говоря, недостаточны. Я, например, полагал, что человек, как кувшин, наполнен кровью; проколешь кожу — вот кровь и выливается. Поэтому очень боялся переворачиваться вниз головой, чтобы кровь не вытекла из отверстий — рта, носа, ушей. И когда это все-таки иногда случалось, плотно закрывал рот и зажимал нос с ушами, чтобы не дать крови ходу.

Интуитивно я пришел к выводу, что «жидкость удовольствия» берется из тех двух маленьких шарообразных емкостей, которые находятся у основания «хвостика». Исследователь по натуре, я измерил пипеткой количество выделявшейся за один раз жидкости и проверил, сколько таких доз поместится, например, в ореховой скорлупе, близкой по размерам к упомянутым емкостям. Результат заставил меня побледнеть — судя по количеству проведенных «опытов», жидкость должна была давно кончиться со всеми сопутствующими печальными последствиями. Но этого не происходило, я был в недоумении, но опытов не бросал. Дойти до мысли, что в организме что-то могло вырабатываться — кровь, слюна, моча, сперма, наконец, — я пока из-за возраста или «упертости» не мог. Вот так под страхом смерти и продолжал свои сладостные опыты.

Расспросы Саши по этому вопросу результата не дали. Более того, я, кажется, своими разговорами невольно способствовал приобщению Саши к известному пороку. Если, конечно, это можно считать пороком, с чем современные медики, в отличие от их коллег полувековой давности, в корне не согласны.

САМОПОДГОТОВКА

Лет в десять я понял, что установка, данная мне мамой (не справлять нужды при посторонних, не маюгаться и не драться), нежизненна. Но по привычке придерживался ее. Посоветоваться с умным мужчиной возможности не было, и я стал читать книги, чтобы в них найти ответы на интересующие меня вопросы. Но большинство из них читал первым Саша, а потом уж, по его совету, и я.

Первыми книгами у меня были: «Про кошку Ниточку, собачку Петушка и девочку Машу» и «Удивительные путешествия Нильса с дикими гусями». Читал я не совсем обычно: прочитывая книгу по сорок и более раз, я выучивал ее наизусть. Эти две книги я мог цитировать наизусть, начиная с любой страницы. В 1949 году мне подарили отрывной календарь на 1950 год, и я его тоже выучил наизусть, причем почти не понимая содержания. Мои таланты показывали гостям; например, гость говорил: «15 сентября», а я наизусть, глядя в потолок, бубнил: «И. М. Сеченов (1829 – 1905). Великий русский физиолог ...» и так до конца. Естественно, что такое «физиолог», я не понимал и другого подобного тоже.

Мне подарили политическую карту мира, и я выучил по ней все столицы государств. Хуже всего то, что я и сейчас помню названия государств и столиц так, как они именовались в 1950 году, и никак не могу привыкнуть к новым.

У нас дома в Тбилиси была достаточно богатая библиотека (большевики и коммунисты ее не разграбили — книги им были ни к чему), и мне попался на глаза золоченый трехтомник «Мужчина и женщина». Его я освоил достаточно основательно, особенно второй том, из которого мне особенно понравилась глава «Болезненные проявления полового влечения». И если меня в школе обижали, я в ответ на грязные ругательства и поступки произносил странные слова: «Ты — урнинг несчастный» (это если меня пытались «лапать»), или: «эксгибиционист вонючий!» (это если пытались помочиться в мой портфель). Естественно, одноклассники считали меня «чокнутым», хотя я и был круглым отличником, что их еще больше раздражало.

Забегая вперед, скажу, что, несмотря на круглые пятерки, медали я так и не получил: ни золотой, ни серебряной. Кому

получать медали — давно уже было распределено классным руководителем и родительским советом. В то время был такой предмет «Конституция СССР», вот по нему-то мне и вклеили тройку. И главное, кто вклеил — пожилой уважаемый преподаватель истории Александр Ильич Шуандер (не путать со Швондером, именно Шуандер!), хотя обычно он вызывал меня к доске на уроках по истории Грузии, когда ему самому нечего было сказать (предмет этот ввели недавно, и Шуандер не успел его выучить сам).

Я, гордый тем, что меня будет слушать весь класс вместо преподавателя, взалхлеб рассказывал весь урок. Например, про царя «Деметре-самопожертвователя», который несколько лет затратил на поездку в Орду только для того, чтобы ему там отрубили голову, а Грузию — не трогали. Или про князя Даддани, который, когда поймали его соучастников по заговору, раздели их и приковали к скале под палящим солнцем, пришел на место казни сам, разделся и лег рядом, хотя его никто не обвинял. В результате — отпустили всех!

Но не вспомнил всего этого тов. Шуандер, когда я, уже в 11 классе, выучив Конституцию СССР наизусть (для меня это было тогда пустяком), пришел к нему пересдавать тройку. Коварный «наймит» школьного руководства и родительского совета спросил меня про право гражданина СССР на свободное перемещение по стране. Я и объяснил ему, что, согласно Конституции, гражданин СССР имеет право перемещаться по стране, выбирая себе место для жизни и работы по своему усмотрению.

— Значит, любой колхозник из Марнеули (село близ Тбилиси) может приехать в Тбилиси или в Москву, жить там и получить работу?

Я прекрасно понимал, что его никто не отпустит из колхоза и не пустит в Тбилиси, а тем более в Москву, но не знал, что и говорить — правду или «как надо».

— Вот ты и не владеешь вопросом! Как и любой гражданин СССР, колхозник из Марнеули по нашей Конституции имеет право приехать жить и работать как в Тбилиси, так и в Москву! — дидактически заключил Шуандер, бесстыдно глядя на меня широко раскрытыми честными глазами. Хорошо еще, что двойку не поставил!

Но нет худа без добра. Когда я, окончив школу, поступал в Грузинский политехнический институт, то попал, как это и было положено, на собеседование к проректору института, патриоту Грузии по фамилии Сехниашвили (в переводе на русский — «Тезкин»). Тот развернул мой аттестат зрелости, и широкая улыбка расплылась на его лице.

— Что, ты в чем-то не согласен с Конституцией СССР? — ласково спросил он меня, — а то все пятерки, пятерки и только по Конституции — тройка!

В ответ я только потупился, глупо улыбаясь.

— Ничего, — сказал проректор, — мы тебя здесь научим понимать и любить **нашу** Конституцию, — он сделал ударение на слове «**нашу**» и поставил галочку около моей фамилии в списке.

Я сдал все пять вступительных экзаменов на высший балл. Я действительно хорошо готовился к экзаменам. И я поступил. А туда же без экзаменов пытались поступить золотые медалисты из моего же класса, во всем согласные с Конституцией СССР, но не прошли. Не выдержали собеседования с проректором. Вот она — относительность добра, зла и справедливости, работающая даже на Кавказе!

Но до 11 класса еще надо было дожить, а пока я только переходил в 7 класс. Так вот, кроме упомянутого выше трехтомника «Мужчина и женщина», а также «Физиономики и хиромантии» Эжена Ледо я читал Гете, Вольтера, Тургенева, Чехова, Гаршина, Леонида Андреева, Горького («Детство», «Мои университеты»), а также Диккенса (мне так близок был его Дэвид Копперфильд!), «Дон-Кихота» Сервантеса (который так понравился мне, что я нашел и изучил подробную биографию самого Сервантеса — она очень необычна!), «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, Джорджа Филдинга, Жорж Санд, Эдгара По, Конан Дойла, Киплинга, Фейхтвангера и многое другое, что посоветовал мне Саша. Более того, многие книги Саша приносил мне сам — мама его устроилась на работу в библиотеку и там брала на дом эти книги.

Особое место занимали в моих книгах сказки — братьев Grimm, Гауфа, Перро, арабские сказки, в том числе «Тысяча и одна ночь», грузинские и абхазские сказки, сказки народов мира, «Мифы классической древности». Не говоря уже о русских народных сказках в каком-то удивительном издании, где была «непечатная» лексика. Вот эти-то книги, а не «Как закалялась сталь», определили мое мировоззрение, достаточно несовершенное, но проверенное веками.

Что касается физического самоусовершенствования, то я и о нем не забывал. Дома у нас были старинные весы, а к ним разновески — гири от пятидесяти грамм до одного пуда, целый набор. И я регулярно тренировался с ними по найденным мной старинным методикам. Кроме того, я раздобыл и повесил на веранде гимнастические кольца, а в дверной проем просовывал сменный турник. Подтягивался я раз по 50, даже на одной руке — по два раза; это уже к 13-14 годам. И вот такого-то «супермена» били и оскорбляли одноклассники!

Не забывал я и сексуальное совершенствование. Мне как-то попала рукописная книга («самиздат») — перевод якобы с индийского о развитии мужского «хвостика». Например, там было написано, как удлинить этот «хвостик» до любого, приемлемого для жизненных ситуаций размера. Сейчас в средствах массовой информации взахлеб рекламируют то же самое, оправдывая справедливый тезис: «Новое — это хорошо забытое старое».

Нужно было взять бамбуковую палку соответствующей толщины и длины, расщепить ее вдоль на две половинки, надеть на «хвостик», предварительно растянув его, и скрепить в таком состоянии шнурком. Так нужно было держать, не снимая около месяца, потом, когда плоть вытягивалась, брать новую палку — подлиннее, и т. д. Написано было, что вытянуть «хвостик» можно раза в два и более. А потом, когда он отрастет до нужной длины, можно придать «хвостик» диаметр и силу. Для этого, оказывается, использовались камни различной тяжести (вот где пригодились разновески!), которые надо было привязывать к «хвостик» и усилием воли поднимать их. По мере развития силы и диаметра вес камня увеличивался.

Удивительные люди — индусы! Культ секса у них такой, как у нас сейчас культ денег! Но деньги — это, в общем-то, бумажки, игра, а «хвостик» в полметра длиной и с шампанскую бутылку диаметром — это вещь! Но такие габариты показались мне излишними и неудобными для практической жизни, а вот рекомендованные максимальные в доверительной книге «Мужчина и женщина» (специально не называю их — прочтите и сами узнаете!) — подошли бы! Дефицитный бамбук, конечно, был заменен картонной трубкой, неудобные камни — разновесками, и индийская методика себя полностью оправдала!

В довершение самоподготовки я достал брошюрку «Самоучитель по борьбе самбо» и как следует проштудировал ее. Мне удалось выучить только самые примитивные приемы: мои любимые «удушающие» захваты, захваты рук с последующим их «выламыванием», а также подножки и удары ногами. Эти несколько приемов я выучил до автоматизма, тренируясь на деревянных палках, свернутых трубой матрацах, а чаще всего на Саше, который благодаря этому и сам начал приобщаться к силовому спорту.

Я был готов к труду (в том числе и сексуальному!) и обороне (от злых одноклассников!). Для этой же цели я, вслушиваясь в разговоры людей, тех же одноклассников, запомнил и выписал самые неординарные ругательства, составив неожиданные комбинации из них как на русском, так и на армянском языке. Периодически повторяя их, я был готов «обложить» самой грязной бранью любого противника.

Я начал ходить в зал штанги, и помогла мне в этом... соседка Рива. Наша Рива, по отчеству Ароновна, к тому времени преобразилась в солидную даму-билетера из филармонии и стала называть себя Риммой Арониевной, грузинкой по национальности. Благо, фамилии грузинских евреев отличит от подлинно грузинских только специалист. Она очень удачно вышла замуж за бывшего боксера Бреста Файвеля Баруховича, который стал Федором Борисовичем. Я называл его дядя Федул: «Так более по-русски», — шутил он.

Он был репрессирован за антисоветскую деятельность — поговаривал с друзьями, что неплохо было бы переехать в Израиль, который с подачи Сталина организовали в 1948 году. Друзья, конечно же, заложили Федула, и сидел он до 1953 года, когда по бериевской амнистии весной его отпустили. Квартиру в Москве, где он жил, дядя Федул потерял, ему предложили несколько городов на выбор, и он выбрал Тбилиси. Там еврейская община сразу же нашла ему невесту — нашу Риву, от которой давно ушел муж, забрав с собой и ребенка. Все произошло очень быстро, и у нас появился сосед — боксер.

Мастер спорта, бывший чемпион СССР в легчайшем весе, ученик знаменитого Градополова, москвич дядя Федул был очень интеллигентным и грамотным человеком. Мы быстро подружались с ним, и он подучил меня кое-каким приемам из бокса. Дядя Федул стал воспитывать Риву, создавая из нее Римму, как Пигмалион, но получалось не сразу. Вот пример.

Дядя Федул ездил иногда в Баку и покупал там по дешевке у браконьеров икру. А в Тбилиси Рива ее понемногу продавала, в основном, соседям. Однажды она уронила на пол эмалированный таз, наполненный икрой, и острые, как стеклышки, осколки эмали прилипли к икре. И Рива не нашла ничего умнее, как перемешать икру, чтобы осколки не были видны, и так продавать эту смертельную смесь соседям.

Но дядя Федул, узнав об этом, сразу же строжайше запретил производить какие бы то ни было торговые операции с икрой и решил осторожно и понемногу съесть ее, причем вместе со мной.

— Нурик, иди икру кушать! — звал постоянно дядя Федул, и мы с ним садились на два табурета друг против друга, ставили между собой на третий табурет злополучный таз и чайными ложечками, медленно, тщательно обсасывая каждую икринку, поедали «смертельный» деликатес. При этом мы внимательно смотрели в глаза друг другу.

— Попался мне осколок, попался! — радостно произносил время от времени кто-нибудь из нас, вынимая изо рта эмалевый «кинжальчик». Не помню уже, доели ли мы этот таз до конца или нет, но икру я окончательно возненавидел.

Как-то раз весной 1954 года дядя Федул решил определить меня на спорт и повел на стадион «Динамо» (бывший им. Л. П. Берия). Стадион был в двух кварталах от дома, и я с удовольствием пошел туда с бывшим чемпионом — это было для меня почетно.

Заглянули мы в гимнастический зал — тренера не было, в зале борьбы — тоже, а в зале штанги тренер сидел на своем месте, и как оказалось, он был другом и «соотечественником» дяди Федула; звали его Иосиф Шивц.

— Йоська, прошу тебя, сделай из этого стилиаги штангиста! — сказал тренеру дядя Федул.

Я, действительно, в последние годы стал «стилягой» — вызывающе одевался, носил волосы до плеч, а часы — на ноге, из-за чего одноклассники возненавидели меня еще больше, если это можно вообще себе представить.

Йоська подозрительно посмотрел на меня бычьим взглядом и велел подойти к штанге. Я, подражая тренирующимся спортсменам, поднял ее на грудь и медленно выжал над головой — сказала моя самоподготовка. Тренер взвесил меня — с одеждой я «тянул» на 60 килограммов.

— Свой вес выжал с первого раза, это редко бывает! — удивился тренер. — Можешь ходить в зал, только тряпки свои сними, — презрительно отозвался он о моих одеждах, — не раздражай ребят, а то побьют ведь!

Итак, я буду ходить в зал штанги! Мы с дядей Федулом радостные возвращались домой, он — что пристроил меня, а я — что появился шанс стать полноценным человеком, спортсменом.

Зайдя на веранду, мы застали бабушку и Риву за разговором, в котором услышали последние слова Ривы:

— Да не еврей он, какой же может быть еврей — Федор, даже Федул, как его друзья зовут...

Федор Борисович мигом сунул большие пальцы рук под мышки и, отплясывая «семь сорок», дурным голосом запел частушку:

— Полюбила я Федула, оказался он — жидула!

Все расхохотались, а Рива стала шутливо бить мужа по спине, приговаривая:

— Заходи, жидула, в комнату, а то люди услышат, какие ты глупости поешь! Еще и взаправду решат, что ты еврей!

За компанию я приобщил к штанге и Сашу. Плотный, моего роста парень показал неплохие результаты при «тестировании», и Йоська взял в зал и его. Мы стали ходить на тренировки вместе, благо зал был поблизости от дома.

В мае 1954 года произошли два основополагающих события в моей жизни — начало занятий штангой и первая настоящая, но неудачная любовь. Эти два события совершенно по-новому

повернули мою жизнь. Занятия штангой, общение со здоровыми телом и духом товарищами помогли мне почувствовать себя не только полноценным, но, я бы сказал, сверхполноценным юношей. Казалось бы, начитанный и умный, отличник учебы, да еще спортсмен-силач с завидным телосложением — чем не предмет зависти для окружающих ребят!

А первая любовь, которая оказалась неудачной — не только без взаимности, но и с презрением со стороны объекта любви, все поставила с ног на голову.

Но прежде чем говорить о такой важной вещи, как любовь, расскажу о некоторых наших с Сашей увлечениях, конечно же, более прозаических.

УВЛЕЧЕНИЯ

Началось все с пороха. Я прочел где-то, что древние китайцы смешивали вместе селитру, серу и уголь, получая при этом порох. И использовали его не в военном деле, а для ракет-шутих. (Выходит, китайцы и ракеты первыми изобрели, а мы все думаем, что придумал их в тюрьме наш террорист Кибальчич!)

Мы загорелись идеей приготовить порох. Сера и уголь у меня были дома, а вот с селитрой начались трудности. Оказалось, что селитры бывают натриевые, калиевые, аммиачные и еще бог знает какие. Да и в каких пропорциях брать каждого компонента — неясно. Стали рыться в энциклопедиях и нашли-таки. По рецепту знаменитой немецкой лаборатории в Шпандау нужно смешивать 75 процентов калиевой селитры, 15 — серы и 10 — угля.

Начались поиски селитры, которую мы неожиданно нашли в магазине для удобрений. Оказывается, калиевая, как и другие, поименованные выше, селитры — прекрасные удобрения! Купили, смешали, со страхом пытаемся поджечь — не горит. Еле подожгли — нет, это не порох! Опять — по энциклопедиям. Оказывается, «порох» — от слова «порошок», молоть надо мелко, как пудру, тогда и гореть будет хорошо.

Сказано — сделано. Купили фарфоровую химическую ступку и стали перетирать в ней компоненты. И когда смесь стала как пыль или пудра (а по-английски «порох» — и есть пудра!), она от приближения спички вспыхнула во мгновение ока, обдав нас облачком дыма. Поэтому и порох этот называется «дымным».

За порохом пошли ракеты — и шутихи размером с сигарету, и побольше. Мы запускали их с моего железного балкона, и они, шипя, взмывали в небо, не возвращаясь обратно. Ракеты

тоже надо уметь делать: обязательно отверстие по центру, чтобы объем газов все увеличивался, гильзу ракеты надо привязывать к длинной палочке — стабилизатору, чтобы ракета шла вверх, а не кувыркалась. До всего этого мы дошли сами, убегая от кувыркающихся и постоянно догоняющих нас ракет.

И, наконец, мне в руки попала толстая книга Будникова «Взрывчатые вещества и порохá». Вот тут и Рива, и все соседи по дому стали вздрагивать от неожиданных взрывов. Сейчас бы меня немедленно арестовали как террориста, а тогда я подрывал изготовленные мной дымовые шашки даже в кинотеатрах. А Саша кричал: «Пожар!» Давку себе представляете? И все с рук сходило!

Мы изготавливали гремучую ртуть, аммонал (столь любимый нашими террористами!), все виды цветных огней и дымов для фейерверков, составы для ослепления ярким светом с магнием (световые бомбы) и даже взрывающиеся от воды составы — мое изобретение.

Но особенно любимы были два состава — йодистый азот и смесь фосфора с бертолетовой солью.

Если слить крепкий нашатырный спирт с настойкой йода, то получится черная, как тушь, жидкость. Если дать ей отстояться, а осадок высушить, то выйдет настолько чувствительная взрывчатка, что срабатывает она даже от прикосновения. Мы любили приносить в школу еще сырой йодистый азот (чтобы в кармане не взорвался) и размазывать его по полу возле учительского стола. Чтобы под ногами учителей взрывался. Особенно классно получалось с историком Шуандером: он был хромой и одну ногу волочил. Так вот, когда он здоровой ногой наступал, — бах! — а потом, когда больную ногу подтягивал — трах-тах-тах-тах! Умора!

Смесь красного фосфора с бертолетовой солью мы тоже готовили в сыром виде. Это было наше «ноу-хау». Все наши подражатели, которые пытались смешивать компоненты в сухом виде, подрывались тут же и получали ожоги. А если смешать в сыром виде, а потом высушивать, получался шедевр. Смесь, взятая в щепотку, взрывалась, если потереть пальцами. Сильный хлопок и густой дым от этого взрыва, к удивлению, не повреждали пальцев.

Я пользовался этим составом против своих соперников по штанге на тренировках. «Случайно» размазывал еще сырую смесь на помосте перед подходом соперника. Смесь, особенно замоченная на спирту, высыхала, пока соперник готовился: затягивал пояс, разминал мышцы, натирался тальком и т. д. Рывок, разножка, взрыв, дым — штанга летит вниз, а соперник со страху — в раздевалку! Конечно, все рано или поздно рас-

крывалось, меня били, но потом выпрашивали-таки по кусочку взрывчатки для личного пользования.

Саша же в основном размазывал йодистый азот у дверей своих соседей по бараку на «том дворе». Соседи своими постоянными пьянками досаждали Саше и его родителям. После очередного взрыва они на некоторое время трезвели, но ненадолго.

Ну а под конец своей химической карьеры мы всерьез занялись ядами и «запретными» препаратами. Все началось с опия. Удивительно, но в годы моего детства и юношества опий почти свободно продавался в аптеках. Дешевые «таблетки от кашля» состояли из порошков опия и соды. Только ленивый (какими мы не были!) мог не растворить эти таблетки в воде и не выцедить на промокашку черный порошок опия. И вот зевающий аптекарь спокойно продавал школьникам 100 (!) пачек «таблеток от кашля» с опиумом, а те (то есть мы) приготавливали из них наперстка два порошка опия. Растворяли этот порошок в одеколоне или другом спирту и пропитывали этим раствором табак в папиросах.

После просушки мы курили такие папиросы и даже угощали других. Ловили кайф, как сейчас говорят. Я, например, мог представить себе любую девушку, которая приходила ко мне в комнату и раздевалась... Получалось очень натурально! Но почему-то к опию ни я, ни Саша не привыкли, даже остался целый спичечный коробок этого порошка, куда он потом делся — не помню. Просто диву даешься: почти даром продавали в аптеках опий — и ни одного наркомана я лично тогда не видел. Да и сами не стали таковыми.

А под конец мы занялись ядами. Синильную кислоту и цианистый калий мы легко приготавливали из фотохимикатов — красной и желтой «кровяной» соли. Не буду рассказывать как: яды эти очень сильные и вряд ли стоит их готовить. А потом стали изучать алкалоиды и набрали на описание яда шпанских мушек. Эти симпатичные зеленые жучки обитают весной на сирени и других пахучих растениях. Жучки эти семейства нарывников, есть и множество других подвидов — красные в полоску, например, очень распространены на юге. Если их, уморив эфиром, высушить и растереть в порошок, а порошок этот растворить в спирту, то получалось «приворотное зелье» — кантаридин. Это зелье использовали в старину для «приворота» девушек: до пяти капель в вино и, считай, девушка твоя, ей очень трудно будет удержаться от возникающего при этом либидо. Но беда в том, что свыше пяти капель этого зелья — смертельный яд, если иметь в виду десятипроцентный раствор порошка в спирту. Такой в медицине называется «тинктура кантаридис ординариум». Забегая вперед, могу сказать, что отравляющие свойства этой тинктуры я успел-таки проверить на себе.

Мы собирали этих жучков на горе св. Давида в Тбилиси, морили эфиром, сушили, растирали в порошок, растворяли в спирту. Пробу производили на девушках из наших классов, угощая их конфетами с кантаридином. Спустя урок они обычно покидали школу, ссылаясь на недомогание. Судя по слухам, они рассказывали подругам о необыкновенном сексуальном желании, почему-то возникшем в классе. С конфетами они это желание не связывали.

Моей сверхзадачей было, используя эту настойку шпанских мушек, соблазнить девушку, и не любую, а конкретную, подступиться к которой иными способами не получалось.

Вот этой конкретной девушкой, вернее девочкой, стала моя соседка Фаина. Ее родители — отец Эмиль (Миля) и мать Зина — с дочкой и малолетним сыном поселились в нашем доме этажом ниже нашего, и их комната была точно под моей. В 1954 году весной Фаина, тогда 12-летняя девочка, нанесла свой первый визит к нам в квартиру.

Звонок, я открываю дверь и вижу на пороге ангелочка — толстая золотая коса с бантом, голубые глаза, брови вразлет, пухлые розовые губки, слегка смуглая персиковая кожа.

— Я знакоюсь со всеми соседями! — объявила девочка-ангелочек. — Меня зовут Фаина, мы недавно поселились у вас в доме, — девочка, не ожидая приглашения, вошла на веранду.

Я стоял, как истукан у дверей, не в силах пошевелиться — настолько поразил меня облик этой девочки. Она как будто вошла не в двери, а прямо в мой организм, захватив его сразу как сонм болезнетворных микробов. Вот, оказывается, что называется «любовью с первого взгляда»! Болезнетворные микробы поразили в первую очередь мои ноги — я лишился возможности свободно передвигаться. Ноги не сгибались в коленях, одеревенели, и я отошел от двери, как на ходулях.

К лету я уже был безнадежно влюблен в Фаину. Я видел ее в фантастических снах и нередко вечерами плакал в подушку, вспоминая ее. Рано плакал, слабак! До настоящих слез было еще далеко.

Летом я поехал с мамой в Сухуми. Уже начав заниматься штангой, я нашел себе в доме деда (Дмитрия Гулиа, народного поэта Абхазии) настоящую верную подругу — старинную двухпудовую гирию. Все дни напролет я занимался с ней, научился не только «выбрасывать» ее на вытянутую руку, но и выжимать, и даже жонглировать ею. Моей первой мечтой было победить дядю Минаса, отца Ваника.

Надо сказать, что дядя Минас был большим «трепачом». Достаточно сильный, хотя и худой мужчина лет тридцати пяти, он был ненавистен всем соседям. Ведь он не только гулял от своей красивой и безропотной жены Мануш, родившей ему

Ваника, но и пил, и даже бил жену, которая не издавала ни стопа при этом. Но все равно все знали о побоях. Более того, поговаривали, что у Минаса была еще и вторая жена где-то в Армении, что было совершенно недопустимо с точки зрения морали соседей, а особенно соседок. И совершенно возмущало всех без исключения соседей то, что не брезговал Минас и мужиками, в основном, молодыми пьяницами. За бутылку чачи они разрешали Минасу все, что тот ни пожелает. Порок этот, достаточно распространенный на Кавказе, все равно бесил наших соседей, особенно считавших себя интеллигентными, и они даже придумали Минасу обидную кличку: «Минас-пидарас».

Любимым шоу дяди Минаса было поднимание двухпудовой гири (которую, кстати, он мог только «выбрасывать», но не выжимать!) на потеху всем высывавшим на веранды соседям. Шоу обычно начиналось так:

— А не попробовать ли нам размять косточки! — риторически и громко говорил сам себе Минас, вылезая из-под «Мерседеса». — А то еще, чего доброго, станешь послабее Мукуча! Мукуч-джан, хватит тебе туфли чинить, все равно денег твоей Айкануш не хватит, выходи, выходи, поднимем по-мужски гирию! — обращался он к своему брату, хилому сапожнику Мукучу.

Мукуч что-то верещал в ответ, но выходил. В круг собиралось несколько мужчин с «того двора» — Мишка-музыкант, старый армянин Арам, Витька-алкоголик, безногий Коля — тоже сапожник. Собирались в круг и мальчишки: конечно, Ваник, Гурам, Вова-Пушкин (прозванный так из-за сходства с поэтом), Саша и другие ребята. Ваник, тужась, подтаскивал из гаража двухпудовую гирию, и шоу продолжалось.

— А ну, Мукуч-джан, покажи нам, как надо правильно поднимать гирию! Айкануш, прикажи своему мужу поднять гирию, что он не мужик, что ли?

Та визгливо отвечала, чтобы Минас отстал от нее и ее мужа, а дядя Минас заключал:

— Не мужик, значит! А кто же тогда детей тебе заделал, Айкануш-джан?

— Может, кто-нибудь из вас хочет поднять? — Минас обводил глазами мужиков вокруг. — Ну, Коле не предлагаю — у него ноги нет, но остальные-то с ногами, руками, даже еще кое с чем! Выходите, мужики!

Но никто не выходил. Тогда дядя Минас с нарочитым трудом выбрасывал несколько раз гирию правой, потом левой рукой, отдыхал и повторял упражнение снова. Когда надоедало, приказывал Ванику затаскивать гирию в гараж, приговаривая:

— Да, надо тренироваться, а то скоро стану таким же дряхлым, как мой дорогой Мукуч!

Шоу заканчивалось, все расходились. Я наблюдал это шоу обычно со своего железного балкона и лелеял жгучую мечту: посрамить дядю Минаса на глазах всего двора.

За лето я порядочно «подкачался» и даже выпросил гирию себе в подарок. Бабушка сперва заартачилась, дескать, гирия самим нужна, взвешивать что-то. Моя тетя Татуся убеждала ее отдать мне эту никому не нужную «железку», но бабушка стояла на своем. Тогда я нашел блестящее решение этого, а заодно и другого, не менее важного вопроса.

Вокруг дедушкиного двухэтажного дома вилась огромная виноградная лоза, доходящая до второго этажа и даже до крыши. Лоза исправно плодоносила и давала литров сто вина. Чтобы ветви винограда не падали, вся лоза была крепко привязана к деревянной веранде дома одним куском толстого шнура, в котором я, как знаток взрывчатки, узнал бикфордов шнур. Бикфордов шнур — это полый водоупорный шнур, полость которого заполнена дымным порохом. Один сантиметр длины шнура горит ровно секунду.

Одним концом бикфордов шнур засовывают в гильзу капсюля-детонатора, отрезают нужную длину шнура, вставляют капсюль во взрывчатку — пакет, мину, шашку и т. д. Когда придет время подрывать заряд, поджигают конец бикфордова шнура, который, кстати, может гореть даже в воде, и, рассчитав время до взрыва (по длине шнура), удаляются. Дойдя до капсюля, где находится особая иницирующая взрывчатка, например, гремучая ртуть, пламя поджигает его. Она от пламени не горит, а детонирует — очень быстро взрывается, и детонация эта подрывает заряд взрывчатого вещества. А иначе ни аммонал, ни тол, ни другую взрывчатку взорвать невозможно — ни пламя, ни удар, ни даже выстрел ее не возьмут. Толом из снарядов даже печки топят, как углем, без опасения, что он взорвется.

Не могу понять только, для какой цели виноградник был подвязан бикфордовым шнуром. Скорее всего, никто не знал, что это за шнур, приняли его за крепкую веревку. За обедом, когда за столом сидела вся семья, я многозначительно спросил бабушку, знает ли она, чем привязан виноградник к дому. Все были в полной уверенности, что веревкой.

— Тогда посмотрите, чем у вас обмотан весь дом, — сказал я, тут же отрезал ножом от конца шнура кусок и на виду у всех поджег его спичкой.

Шнур зашипел как змея, из конца его вырвалось пламя и дым; так продолжалось до тех пор, пока пламя не вырвалось из другого конца, и шнур погас. Впечатление было потрясающее. Бабушка схватилась за голову:

— Выходит, от любой спички или папиросы у нас может быть пожар? — спросила она.

— Да, — серьезно ответил я, — и попытайтесь вспомнить, кто и когда обвязывал виноградник этим шнуром. Вероятнее всего, это сделал враг народа, который таким образом хотел уничтожить гордость Абхазии! — и я кивнул в сторону ничего не подозревающего дедушки, который плохо видел и слышал, и даже не заметил страшного опыта со шнуром.

— Что же теперь делать? — испуганно спросила у меня бабушка.

— Думаю, — важно продолжал я, — что никому об этом нельзя говорить ни слова. Еще дойдет до НКВД, спросят — откуда бикфордов шнур, кто обвязывал — не отстанут, пока кого-нибудь не арестуют. Лучше всего я вечером, когда никто не видит, сниму его и заменю обычной бельевой веревкой. А шнур тихо унесу, привяжу к нему камень и утоплю в море: брошу с пристани — и поминай как звали!

Мысль моя всем понравилась, и план был исполнен. Только шнур оказался не в море, а в моем чемодане.

В благодарность за спасение дома и гордости Абхазии бабушка назвала меня умницей и согласилась подарить мне гирию, тем более что я туманно намекнул и на то, что враги народа часто маскируют мины под гири.

Уезжая домой, я с удовольствием нес в правой руке дареную гирию, а в левой — чемодан с бикфордовым шнуром. Это были настоящие царские подарки для меня!

Поднимать гирию научился не только я, но и Саша, которого я приглашал на наши секретные домашние тренировки. Теперь надо было дожидаться того момента, когда сам дядя Минас начнет свое шоу с гирей. По вечерам я постоянно выходил на железный балкон и смотрел вниз на «Мерседес», из-под которого были видны только ноги дяди Минаса. И вот — долгожданное:

— Мукуч-джан, хватит тебе туфли чинить, всех денег не заработаешь!

Я стремглав кинулся вниз по лестнице, забежав на «тот двор», вызвал Сашу, и через пару минут мы были в кругу уже знакомых нам персонажей. Мой визит не остался незамеченным. Мне показалось, что дядя Минас был даже польщен тем, что зрителей у него прибавилось и что я стану еще одним свидетелем его триумфа.

— Нурик-джан, я рад тебя видеть во дворе, совсем ты нас с Ваником забыл. Загордился! Наверное, потому, что на великого писателя стал похож!

Видя мое недоумение, Минас пояснил:

— На Гоголя Николая Васильевича — такие же длинные волосы, а особенно — нос! Что-то, Нурик-джан, нос у тебя в последнее время вытянулся!



«Ты даже не представляешь себе, Минас-джан, как у тебя самого этот нос скоро вытянется!» — так и хотелось сказать мне, но я смолчал.

И вот после обычной преамбулы дядя Минас выбросил гирию правой, потом левой рукой и присел на табурет отдохнуть.

Настало мое время.

— Сдается мне, дядя Минас, что гирия-то у вас легкая какая-то! Может, она пустая внутри или «люменевая»? (Я намеренно употребил его манеру говорить, чтобы поиздеваться над ним.)

— Что ж, Нурик-джан, подойди, попробуй поднять эту люменевую гирию! Только, Ваник-джан, принеси из дома горшок, боюсь, что он может кому-то понадобится! — все ослабились на грубую шутку Минаса.

Я подошел к гире и несколько раз легко выбросил ее и правой, и левой рукой. Затем, так же легко, выжал гирию обеими руками по очереди. Была немая сцена, как в «Ревизоре» моего «двойника» Гоголя.

— Да, дядя Минас, морочили вы голову людям пустой гирей, — начал я издеваться над бедным Минасом, — такой только жонглировать надо! — и я несколько раз подкинул гирию вверх, вращая ее и подхватывая то правой, то левой рукой.

Минас стоял растерянный, не понимая, как и поступить. Но тут послышался скрипучий голос Мукуча:

— Минас-джан, что же ты нас так бесовестно обманывал, выходит, гирия-то пустая, ее ногой футболивать можно, как мяч.

— Да, — подхватил Мишка-музыкант, — я такую надувную гирию в детстве в цирке видел. Силач с трудом ее поднимал, а «рыжий-помогай» ногой зафутболил ее прямо в верхние ряды!

Народ заржал, веранды ликовали.

— Минас-джан, Ваник горшок принес, кому его подавать? — не унимался Мукуч.

Народ заржал с новой силой, особенно заливался смехом Саша.

— А ты, пидор Македонский, чего лыбишься, как трамвай на повороте? — взбесился Минас, — попробуй сам, если хочешь, — вот тебе горшок и понадобится!

Саша подошел к гире и весело поднял ее несколько раз:

— Пустая гирия, дядя Минас — люди правду говорят!

Мукуч поднял горшок и понес его к Минасу.

Глаза Минаса горели недобрым огнем. Брат, армянин — и позорит его, Минаса, перед всем двором! Он сделал выпад в сторону Мукуча и с силой залепил ему затрещину. Горшок выпал из его рук и разбился. Мукуч в страхе побежал домой под защиту своей жены.

— А ну, расходитесь, бездельники, мне работать надо! Ванник, убери эту железку подальше! — и дядя Минас спешно залез под свою машину. В мою сторону он даже не посмотрел.

С тех пор я заделался «хозяином» двора. Мне подавали табурет, когда я спускался во двор. Вокруг меня собирался народ, когда я сбрасывал свою гиру с железного балкона, чтобы позаниматься ею. Гирия хлопалась о землю с такой силой, что люди вздрагивали.

— Да, видно, что эта гирия настоящая, чугунная! Не пустая, как некоторые! — тихо комментировал Мукуч, с опаской поглядывая в сторону ног Минаса, торчащих из-под «Мерседеса».

Ваник демонстративно поворачивался к нам спиной или уходил домой. Минас вообще перестал нас замечать — что меня, что Сашу.

Но сочетание «пидор Македонский» так понравилось соседям, что они стали использовать его в качестве презрительного прозвища для стилига, бездельников, взаврававших гомосексуалистов и любого рода других недругов. А вскоре весь Тбилиси подхватил это словосочетание. Если у вас есть среди знакомых старый тбилисец — спросите у него, и он подтвердит это.

Скоро я приволок во двор и штангу. Йоська Шивц, рассматривая спортивное хозяйство зала, нашел в «коптерке» старую ржавую штангу с побитыми чугунными блинами, которую хотел было выбросить. Я упросил подарить ее мне. Привел в помощь Сашу и дворовых мальчишек (зал, как я уже говорил, был вблизи дома), подсунули гриф и блины под ворота стадиона, на улице собрали штангу снова, надели замки. Затем, ухватившись за гриф все вместе, покатали ее по дороге с криком: «Хабарда!» («Поберегись, разойдись, дай дорогу!» на каком-то из кавказских языков — термин, понятный каждому на Кавказе). Штанга грохотала, как тяжелый каток, вызывая страх и уважение разбегающихся в сторону прохожих.

Во дворе был пустующий закуток, где раньше дворник Михо хранил свой инструмент. Теперь, когда двор зарос бурьяном, подметать его стало необязательно, и закуток пустовал. Дверь была крепкая, окованная железом. Я подобрал большой амбарный замок, запер штангу в закутке, громко сказав при всех:

— Увижу, кто балует с замком, прибыю!

Так я устроил во дворе филиал зала штанги. Моими постоянными зрителями были дворовые мальчишки, восхищенно наблюдавшие за упражнениями с тяжелой штангой. Особенно преданным зрителем был мальчик лет двенадцати — Владик, житель «того двора». Он жил в каморке вдвоем с мамой — молодой красивой женщиной Любой, вслед которой обычно смотрели все наши мужчины, пока она, покачивая бедрами, проходила через двор.

Владик для своих лет был достаточно крупным мальчиком, с красивой фигурой и смазливym лицом. Белокурые, почти белые волосы, голубые глаза, пухлые губы, нежная, слегка обветренная кожа. Мальчик стал буквально моей тенью, он провожал меня на стадион, сидел во время тренировки на полу в углу зала, наблюдая за спортсменами. Затем шел за мной домой и оставался во дворе до вечера. У себя в каморке он почти не сидел, все свободное время играл во дворе. Надо сказать, что и Фаина, которая была чуть постарше Владика, тоже почти весь день пропадала во дворе, дружила с дворовыми мальчишками. Остальные девочки, живущие в нашем доме, появлялись во дворе редко.

Я, как и весной, продолжал помогать ей с уроками, но отношение ее ко мне становилось все безразличнее. Не помогало ни мое «авторитетное» положение во дворе, ни всеобщее восхищение дворовых детей моей силой. Я стал подозревать, что она увлеклась одним из мальчиков, живущих на первом этаже дома — Томасом.

Она постоянно следила за ним, и стоило ему появиться во дворе, как Фаина начинала громко смеяться и вертеться вокруг него. Томас был ровесником Владика и, стало быть, моложе Фаины. Худенький, чернявый мальчик небольшого роста, разговаривающий в основном по-грузински. Чем он привлек внимание красавицы Фаины?

Я любил Фаину все сильнее, и ее безразличие просто убивало меня. Целые дни я думал о ней и о том, как привлечь к себе ее внимание. Бабушка видела мои страдания, но не знала, как помочь мне. Мама же считала все мои увлечения «блажью» — и штангой, и Фаиной; она как-то не воспринимала меня самого и мою жизнь всерьез и мало интересовалась моими делами.

СОСЕДИ

Сведения о нашем доме и дворе были бы далеко не полными, если не сказать о соседях. Ну, не обо всех, конечно, а о наиболее заметных личностях. Не зная наших соседей, трудно составить представление о нас с Сашей — недаром на Кавказе говорят: «Скажи мне, кто твой сосед — и я скажу, кто ты сам!» Клянусь, я лично слышал эту мудрость где-то на Кавказе, уже не помню, где именно!

О Риве я не буду говорить — она стала уже не соседкой, а как бы членом семьи. Коммуналка иногда роднит людей. Но что можно интересного сказать, например, о двух пожилых сестрах-учительницах, живших на втором этаже в одной комнате, чест-

но и добросовестно работавших всю жизнь, так и не вышедших замуж? Да ничего, скукотища одна! Или о дочери священника с первого этажа, которая была соблазнена провинциальным фатом, родила сына Гурама и воспитывала его, работая на заводе. Так дожидая она до старости, умерла, и не было ее ни видно и ни слышно. Нет, нет и еще раз нет, грустно и скучно вспоминать об этом! Давайте, лучше поговорим о веселом.

Я опишу один день из жизни нашего дома, и таких дней в году было если не все 365, то, по крайней мере, не менее трехсот.

Немного о доме. Наш дом был построен богатым евреем Раминдиком (это его фамилия!) в 1905 году. Дом имел форму подковообразного магнита в плане. В дуге магнита — проход и ворота. Вся внутренняя поверхность магнита в остекленных верандах. Потолки — около 4-х метров, первый этаж — высокий. Третий этаж — на высоте современного пятого.

Большевики (или коммунисты?) отобрали дом у Раминдика, оставив его дочери — Севе Григорьевне, комнату на втором этаже. Это была безумно разговорчивая еврейка, когда я был ребенком — ей было уже лет шестьдесят. Беда, если Сева Григорьевна поймает вас во дворе или при выходе из дома — тогда она немедленно схватит вас за пуговицу и начинает рассказывать в таком роде:

— Вот наш Лева, он же гений, весь Челябинск (а он живет в Челябинске) говорит об этом, нет, вы просто не знаете нашего Леву, вы бы не то сказали... — и пуговица отвинчивается от вашего пальто, пиджака или рубашки.

— Сева Григорьевна, вы оторвете мне пуговицу!

— Дело в не этом! — перебивает дочь Раминдика, — если бы вы знали нашего Башкирова, вы бы не то сказали (известный музыкант Башкиров действительно приходился дальним родственником Раминдиком) — весь мир знает нашего Башкирова, он же гений, гений!

— Сева Григорьевна, я опаздываю на работу!

— Дело не в этом! — отмахивается она и продолжает говорить.

Наконец наш домоуправ Тамара Ивановна, которая всегда была на своем посту — на балкончике в самом центре дома-магнита, — кричит зычным голосом:

— Сева, оставь человека в покое, вот идет Роза Моисеевна, лови ее, она с тобой поговорит!

И Сева Григорьевна, выставив руку-ухват для очередной пуговицы, бежит ловить Розу Моисеевну.

С Севой Григорьевной связан еще один эпизод, ставший «притчей во языцех» для соседей. У нее хранились облигации займа «восстановления и развития», на которые советская власть обязала подписаться ее сына — коммуниста. На пред-

приятнях существовали своего рода коммунисты-провокаторы, которые, выступая на партсобраниях, обязывались подписаться — кто на годовой, а кто и на большой заработок. Их «почин» тут же распространяли на весь коллектив, а самого провокатора тайно освобождали от подписки.

Так вот, сын Севы Григорьевны Фима уехал жить и работать в Баку, а бесполезные облигации оставил на хранение маме. Но дочь Раминдика, видимо, по старинке, верила, что советские ценные бумаги дадут-таки доход, и бережно хранила их, оберегая прежде всего от соседей по коммуналке.

Так как она часто меняла места хранения (то зашивала в матрас, то засовывала под комод и т. д.), то однажды сама позабыла, куда же запрятала советские «ценные» бумаги. Сева Григорьевна, конечно же, решила, что их украли соседи, и подняла страшный крик на весь дом. В поисках облигаций участвовали все «авторитетные» соседи, включая, конечно же, и Тамару Ивановну. Наконец, «ценные» бумаги нашли где-то в двойном дне платяного шкафа, а Сева Григорьевна тут же побежала на почту и дала сыну телеграмму в Баку: «Что пропало то нашлось не беспокойся тчк мама».

На что сын, не ведая ни о чем, шлет телеграмму Севе Григорьевне в Тбилиси: «Мама телеграфируй здоровье тчк Фима».

Конечно же, все стало известно соседям, и те, желая поддеть Севу Григорьевну, постоянно спрашивали у нее:

— Ну, «что пропало, то нашлось», Сева Григорьевна?

— Дело не в этом! — следовал универсальный ответ.

Живя над самым проходом-проездом в дом, Тамара Ивановна контролировала весь дом и двор. Бабушка прозвала ее «вахтером».

— Вы к кому идете? — спрашивала она проходящего незнакомца.

— К Розе Моисеевне! — например, отвечал он.

— Розы Моисеевны нет дома, вон с ней беседует Сева Григорьевна, идите лучше освободите ее.

Часов в десять утра соседи выходят на веранды, раскрывают окна и, опершись на подоконник, высовываются наружу. Идет активный обмен новостями.

— Я сон собака видел, — рассказывает свой сон попадья с первого этажа Мариам-бебия (бабушка Мариам) соседке напротив Пепеле (Пепела — имя, но в переводе с грузинского означает «бабочка»). Мариам-бебия плохо говорит по-русски, путает род, падеж, число, склонение, спряжение, но продолжает, — так бил ее, так бил, что убил совсем!

Поясню, что это означает: «Я во сне собаку видела, так била ее, что убила совсем».

Смачно зевнув, Мариам-бебия отправляется досматривать свой сон, а Пепела уже возмущенно рассказывает соседям с третьего этажа напротив:

— Вы представляете, госпожа Елизавета, наш Ясон так сильно избил собаку, что животное погибло!

Елизавета Ростомовна Амашукели (Амашукели — княжеская фамилия; сама Елизавета, или «тетя Лиза» — подруга моей бабушки и главная соперница ее по победам над кавалерами в светских салонах дореволюционного Тбилиси) с французским прононсом сообщает всему дому:

— Наш Ясонка совсем сошел с ума! Нет, подумать только, поймал бедную собаку и забил ее насмерть! Возмутительно!

Ясон, старый высокий железнодорожник, страдавший от болезни Паркинсона, не успел пройти через пост «вахтера», как был ею допрошен:

— Ясон, ты что, на старости лет с ума свихнулся, за что ты собаку убил?

Идет длительное выяснение вопроса, старый и добрейший Ясон плачет, у него трясутся руки, он и мухи-то за свою жизнь не обидел, а тут — на тебе — убил собаку!

Будят Мариам-бебию, и та с трудом вспоминает, что видела во сне собаку... и так далее. Все выясняется, Ясон, плача, уходит домой. Мариам-бебия, так и не поняв сути дела, отправляется смотреть сны дальше, а тетя Лиза — культурно, как подобает княгине, — критикует Пепелу за дезинформацию, что спутала «я сон» с именем Ясон.

Наступает жаркий день. Дети-дошкольники вот уже часа три носятся во дворе. Их начинают звать домой полдничать:

— Гия, иди какао пить! — зовут воспитанного мальчика Гию его культурные родители-грузины со второго этажа.

— Мера-бик! — с французским прононсом зовет тетя Лиза своего внука Мерабика, — хватит бегать, иди попей молока и отдохни!

Рива, уже благополучная замужняя женщина «Римма Арониевна», зовет свою племянницу Ларочку:

— Ларочка, иди кушать: у нас сегодня — икра, балык, какао...

Рива не успевает закончить, как ее перебивает громовым голосом Гурам с первого этажа:

— Ты еще весь меню расскажи, чтобы у других слюнки текли!

Возбужденный этими призывами неработающий пьяница дядя Месроп (это армянское имя такое) зовет своего немытого сынишку Сурика (это не краска, а тоже такое армянское имя, полностью — Сурен):

— Сурык, иды кофэ пыт!

Бедный Сурик, не выдавший за свою жизнь даже приличного чая, изумленный тем, что ему предлагают какой-то неведомый кофе, тут же подбегает к дверям халупы дяди Месропа во дворе. Но тот вручает Сурику грязный бидон из-под керосина и сурово приказывает:

— Иды, керосын принеси!

И несчастный Сурик, так и не узнавший вкуса кофе, плетется за угол в керосиновую лавку...

Наступает вечер. Самый ранний вечер — пять часов. Четыре часа — это еще день, а пять — уже вечер. Возвращаются мужья с работы. Еврей Эмиль и армянин Арам живут на втором этаже, под нами, и работают в кровати артели вместе. Вместе и пьют чачу после работы.

«Ах вы, пьяницы!» — сперва слышен зычный голос «вахтера», а затем уже появляются фигуры Эмиля и Арама, поддерживающие друг друга. С трудом они взбираются по лестнице, и — чу! — слышен звук удара по чему-то мягкому и визг Зины. Комната Эмиля по коридору первая, вот Зина и завизжала первой. Арам еще с минуту плетется, бодая стенки веранды, до своей комнаты, и вот уже слышны глухие удары Арамовых кулаков о бока его жены Маро и ее сдержанные стоны.

С Эмиля и Арама начиналось обычно в нашем дворе традиционное избиение жен. Зина-то бойкая, она и сама сдачи даст, и за избиение утром денег с мужа возьмет. Еще бы, Эмиль — участник войны, член партии — боится огласки. А с беспутного Арама взятки гладки. Маро с детьми бежит наверх к нам. Бабушка прячет их на шаткий железный балкон, и те в страхе ложатся на металлический пол.

Арам (метр пятьдесят ростом, пятьдесят кило весом) соображает, где семья, и тоже поднимается к нам. Бабушка приветливо открывает дверь и ему.

— Где Маро? — свирепо вращая глазами, голосом средневекового киллера вопрошает Арам.

— Арам-джан, здравствуй, дорогой, заходи, сколько времени мы не виделись! — приглашает его бабушка.

Арам заходит и садится на кушетку у двери.

— Для чего тебе Маро? — спрашивает бабушка.

— Я ее кыров пыт буду! — заявляет Арам.

— Арам-джан, а как ты будешь у нее кровь пить? — интересуется бабушка.

Арам открывает рот, соображает что-то и потом поясняет уже с усталостью в голосе:

— Я ей горло рзат буду и кыров пыт!

— А за что, Арам-джан? — не отстает бабушка.

— Семь дней работал, семьсот рублей заработал, семь индюков купил, принес Маро, а она... — и Арам, напоследок завращав глазами, закрывает их и, храпя, падает на кушетку.

Арам был помешан на цифре семь... Через несколько минут Маро с детьми поднимут спящего щупленького Арама с кушетки, поволокут домой, уложат спать и заботливо укроют одеялом.

Идет битье жен и на первом этаже напротив. Там живет очень толстая, килограмм на сто сорок, армянка и ее муж, тоже армянин, которого никто никогда не видел. Фамилии и имен их тоже никто не знал, — жили они обособленно. Кто-то называл ее просто — «толстая женщина», ну а бабушка придумала ей кличку «Мусорян». Когда «толстая женщина» садилась у окна, то начинала интенсивно есть, а шкурки, кости, кожуру и прочие отходы бросала на двор прямо под окном. Вокруг нее вечно был мусор, отсюда и «Мусорян». У нее с мужем был малолетний сынок по имени Баджуджи (прости, Господи, люди твоя за такое имя!). Так он первым реагировал на мощные удары мужа по телу г-жи Мусорян. Сама же она не кричала потому, что, во-первых, кричать ей было лень, а во-вторых, нужно быть великим боксером Майком Тайсоном, чтобы пронять ударами столь мощное тело. Зато Баджуджи орал так, что глушил все остальные крики и шумы.

Итак, во дворе битье жен идет полным ходом. Старую партийную работницу, чуть ли не соратницу Клары Цеткин и Розы Люксембург, бьет ее старый муж, довольно темная личность; идет ругань на идиш, так как оба — евреи. Дядя Минас, если он не у второй жены или друзей-гомосексуалистов, бьет скромную и молчаливую первую жену; Витька-алкаш, за неимением жены, бьет сестру Нелю. Только хилый сапожник Мукуч не бьет свою жену Айкануш, потому что бьет она его — почему мало денег заработал?

А когда уже становилось совсем темно, безногий сапожник Коля с «того двора», пьяный в дым, в стельку, по-поросычьему, начинал с отчаянным матом пробираться домой по неосвещенному ночному двору. И, конечно же, обязательно попадал в какую-нибудь яму. Продолжая матюгаться, он все-таки выбирался из ямы, доплетался до своей будки и ковылял обратно, волоча тоже уже пьяненькую свою женушку Олю. Он доводил ее до ямы и снова падал в нее — на сей раз уже умышленно. Теперь же он, остервенело костыля (костылем, разумеется!) свою Олю, заставлял ее поднимать его и волочить до дому.

Самое же ужасное завершение дня нашего дома заключалось в явлении Вовы. Вова — это особая судьба. Добропорядочные грузины, муж и жена Картвелишвили, не имея детей, усыновили ребенка, рожденного русской женщиной в тюрьме. Женщина умерла при родах, а Картвелишвили взяли родившегося малыша. Уже с детства было видно, что голубоглазый

блондин Вова — не грузин, а гораздо более северной нации. Хулиганил Вова с детства, а годам к двадцати, став буквально монстром, стал пить запоем и чудить. Силы он был немереной. Однажды я, пытаясь его как-то успокоить, стал перед ним, — он, ухватив меня за ворот, поднял одной рукой от пола и поднес к лицу. Я увидел совершенно круглые белые глаза, дикую остекленевшую улыбку бравого солдата Швейка и уже считал себя выброшенным в окно с третьего этажа (а жил Вова на третьем этаже напротив нас). Но Вова произнес только: «Это ты, Нурик? Тогда иди на ...!» — и мягко опустил меня на пол.

Родители, не вынеся такого сыночка, тихо умерли один за другим. А Вова, оставшись один, начал чудить по-серьезному. Обычно он уже поздно вечером, почти в белой горячке, перелезал с лестницы к себе домой по верандам и карнизам. Как ему это удавалось — один Бог знает! Балансируя на карнизе и держась одной рукой за подоконник, Вова другой рукой бил стекла и сдирал с себя одежды. Кровь лилась на карниз, окна и висевшее внизу соседское белье.

— Я с-сошел с-с ума! — орал при этом Вова нечеловеческим голосом.

Его мечтой было перелезть по бельевой веревке, перекинутой через блоки, на противоположную сторону к «культурным» Амашукели и, видимо, устроить там погром. До них было метров пять — семь пропасти, и он собирался переползти эту пропасть по бельевой веревке. Наивный мечтатель!

Конечно же, узнав об этих намерениях, Амашукели стали снимать веревку на ночь, потом днем вновь перекидывали. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее не успели снять. То ли поздно спохватились, то ли их не было дома, но стокилограммовый пьяный Вова, ухватившись за веревку, тут же, по законам механики, оказался висящим на руках в центре пропасти — в самом нижнем углу образовавшегося веревочно-треугольника.

Соседи, естественно, все высыпали на веранды и разом ахнули. Что делать? Тянуть за веревку, пытаясь перетащить Вову, как белье, на другую сторону, бесполезно — он занимал устойчивое нижнее положение. Оставалось кидать на асфальтовое покрытие двора под Вову матрасы, но почему-то никто не хотел начинать это первым.

Картина, которую я увидел, когда меня криком позвали к окну, была фантастической. На фоне темных окон веранд, мыча что-то, висит на вытянутых руках, держась за натянутую, как струна, веревку (и как только она не лопнула?) толстый и пьяный Вова. Я понимал, что это продлится две-три минуты, не больше...

И тут вдруг прямо под Вовой спокойной походкой, не ведая о буквально нависшей над ней смертельной опасности, проходит наша соседка Валя. Увидев высунувшихся из всех окон соседей, непонятно почему молчащих и с дичайшими выражениями лиц, Валя от изумления останавливается на самом опасном месте. Соседи в панике молча машут ей руками, а она, ничего не понимая, озирается вокруг. Наконец, увидев что-то нависшее над ней, делает пару шагов вперед. И тут же руки Вовы разжались и он молча рухнул вниз.

«Вах» (не путать с латинским написанием слова «бакс»)! — одновременно произнесли десятки губ, и это громовое «Вах!» совпало с ударом тела о землю. Вова пролетел в метре от Вали; падал он вертикально, и тело его отскочило, наверное, на метр вверх после удара о землю. У кого нашлись силы и мужество подойти поближе (я лично испугался это сделать!), увидели, что Вова лежал на боку, дышал равномерно, казалось даже, что спал. А на нижней половине его лица висела, простите, сопля, наверное, с килограмм весом. Вышибло ее при падении, а высморгаться заранее в висячем положении у него не было никакой возможности!

Вова выжил, только ноги сломал. Месяца через три он уже бодро ходил на костылях, а через четыре — вместе с дружками привел с вокзала приезжую девушку и изнасиловал ее. Она хотела снять квартиру, ну, Вова и предложил ей свою. Сделку обмыли, но пошли чуть дальше. Насилие это было столь неприкрытым и громким, что страстные крики слышал весь дом. Девушка была явно пьяна и неадекватно оценивала обстановку. Насытившись сами, Вова и дружки «угостили» бабой приличного человека — соседа, инженера Сергея, у которого жена и дочь уехали на отдых. Польстился Серега на бесплатное, забыв, где бывает бесплатный сыр...

А наутро девушка, опохмелившись у Вовы, зашла в милицию и заявила об изнасиловании. Инженера посадили на шесть лет, жена с ним разошлась тут же. На сколько посадили Вову, я не знаю, помню только, что он умер в тюрьме года через три после осуждения.

Обиднее всего то, что именно этого Вову обычно мама приводила мне в пример: «Посмотри на Вову...» До изнасилования и тюрьмы, конечно. Я сперва не понимал, чем же он так славен, что мне его в пример приводят. А потом понял: человек столько пил, упал с высоты современного пятиэтажного дома, переломал себе кости и, только выйдя из больницы... изнасиловал женщину, «угостив» при этом и инженера! Завидное жизнелюбие, здоровье и щедрость — вот каким качествам надо бы поучиться у Вовы!

БАТОНО НУРИ

Осенью 1954 года мне исполнилось пятнадцать лет, но я выглядел гораздо старше своего возраста. Бриться я начал с двенадцати лет, так что щетина на щеках и усы, которые я носил, выдавали уже не мальчика, но мужа. В эти годы я уже достиг полного своего роста — 172 см, и тогда был одним из самых высоких в классе. Это потом многие товарищи догнали и перегнали меня. Знаменитый баскетболист Угрехелидзе, по прозвищу Птица, ростом в два с лишним метра, учился со мной в одном классе и тогда был гораздо ниже меня.

Саша был тоже невысоким, это уж потом он почти догнал меня, дорастя до 170 см. Но он был поплотнее, с товарищами по школе держался особняком, и они его не обижали, как меня.

Благодаря упорным занятиям штангой, я имел крепкое телосложение и недюжинную силу. И этого-то «богатыря» прождали «по инерции» задевать и оскорблять, а иногда позволяли себе и ударить некоторые одноклассники с совершенно жалкими возможностями.

Меня буквально поразил такой случай. Учился у нас в классе некто Апресян — мальчик, переболевший в детстве полиомиелитом. Ходил он без костылей, но еле держался на ногах. И этот инвалид на общей волне издевательств как-то подходит ко мне и, чуть не падая при этом, отвечает пощечину! Ответить я, естественно, не стал.

Пылу агрессивных одноклассников немного поубавилось после одного урока физкультуры. Обычно на этих уроках класс выводили во двор, давали мяч и мальчики играли в «лело» — игру без правил и, мне кажется, без смысла. Просто гоняли мяч руками и ногами. Я в этих играх не участвовал; надо сказать, что и всю последующую жизнь не умел и не любил играть с мячом. Каждый раз, когда я вижу игры с мячом, то вспоминаю это ужасное «лело», тупые, одичавшие лица игроков с безумными глазами и мое вынужденное простаивание в закутке двора вместе с девочками, которые, как и я, в «лело» не играли.

Эта игра была очень удобна для учителя физкультуры дяди Серго, который, сидя на стуле, похрапывал при этом. Дядя Серго был фронтовик, ему многое прощали, даже то, что он приходил на занятия подшофе.

Однажды был сильный дождь и нас вместо игры в «лело» повели в спортзал, где был турник. Дядя Серго приказал нам отжиматься от пола и подтягиваться на турнике, а сам ставил отметки в журнал. Я со злорадством наблюдал нелепые позы, в которых корчились ребята, пытаюсь отжаться от пола и особенно подтянуться на руках! По обыкновению, я стоял в стороне, и все решили, что я, как и при игре в мяч, не участвую

в соревновании. Но когда мне уже ставили прочерк в журнале, я вышел и отжался от пола 50 раз. Дядя Серго даже сбился со счета. А подтягиваться я стал не на двух, а на одной — по два раза на правой и на левой. Дядя Серго аж протрезвел от удивления.

Узнав, что я занимаюсь штангой, дядя Серго обнял меня за плечи и громко сообщил всему классу, что он «знает» олимпийского чемпиона по штанге 1952 года в Хельсинки, Рафаэля Чимишкяна. На это я заметил, что мы с Рафиком тренируемся в одном зале и я даже бываю у него дома. Дома у него я действительно один раз был, когда дядя Федул попросил меня срочно сбежать к нему и передать какой-то документ, касающийся его квартиры. Чемпиону дали отдельную квартиру только после того, как к нему должна была приехать финская журналистка и написать о нем очерк.

Дядя Серго многозначительно поднял руку и объявил классу:

— Вот он — друг знаменитого Рафаэля Чимишкяна и скоро он сам станет чемпионом!

Учился у нас в классе один, не побоюсь этого слова, омерзительный тип, второгодник и двоечник, некто Гришик Геворкян. Маленький, сутулый, со стариковским землистым лицом и гадкими злыми глазами, он был «грозой» класса. Поговаривали, что он вор и носит с собой нож, поэтому с ним не связывались. Он мог любого, а тем более меня, без причины задеть, обругать и ударить.

Так вот этот Геворкян приходился каким-то родственником Вануку — сыну Минаса. А о моей любви, к сожалению безответной, к Фаине во дворе было хорошо известно. Да это просто бросалось в глаза каждому: я ее часто отзывал в сторону, упрекал, просил о встрече. Ей надоело все это, и она даже перестала пользоваться моей помощью в учебе. Тогда я стал ее прогонять со двора: что вроде бы она мешает мне тренироваться и что тут не место для девочек. Дошло до того, что я обвинил ее в приставании к Томасу, а она с гримасой ненависти ответила мне по-грузински: «Сазизгаро!» (мерзкий, ненавистный!). Мы поссорились. Я, хоть и продолжал гонять ее со двора, страшно переживал и плакал по ночам в подушку — «мою подружку». А она стала ходить домой к Томасу, откуда я ее выгнать не мог. Бить Томаса не имело никакого смысла, так как было заметно, что она ему безразлична, видимо, возраст еще не пришел.

И вот в разгар моей печальной любви слух о ней просочился от Ванука к Гришику. Но нет худа без добра — однажды произошел случай, конфликт, наконец изменивший мой печальный статус в классе.

Как-то сразу после занятий в коридоре подошел ко мне этот «карла злобный» Гришик Геворкян и, бессовестно глядя на меня своими мерзкими глазами, неожиданно сказал:

— Я твою Фаину трахал!

Несколько секунд я был в шоке. Я никак не мог даже представить себе имя «Фаина» — имя моей Лауры, моей Беатриче, моей Манон, наконец, в мерзких черных губах этого уroda. А смысл того, что он сказал, был просто вне моих сдерживающих возможностей. И я решился на революцию, пересмотр всех моих взаимоотношений в классе.

Я уперся спиной о стену и, поджав ногу, нанес сильнейший удар обидчику в живот. Геворкян отлетел и шмякнулся о противоположную стену коридора, осев на пол. Я схватил его за ворот и волоком затащил в класс, в котором еще находились ребята. Девочки с визгом выбежали в коридор, а мальчики окружили меня с моей ношей. Я спокойно поглядел на всех и внушительно спросил, указывая на Гришика:

— Видите это вонючее собачье дерьмо?

«Народ» согласно закивал: видим, дескать!

— Вот так будет впредь с каждым, кто чем-нибудь затронет меня! Я все эти годы хотел с вами обходиться по-культурному, но вы не достойны этого. Слышите вы, ослиные хвостики? (я сказал это по-армянски — «эшипоч»). Ты, слышишь, Гарибян, сука позорная? — и я отвесил затрещину Гарибяну, который часто без всякой причины давал мне таковые. Щека его покраснела, но он стоял, не пытаясь даже отойти.

— А ты Саркисян, дрочмейстер вонючий, помнишь, как ты онанировал мне в портфель? — удар коленом в пах, и мерзкий «дрочмейстер», корчась, прилег рядом с Геворкяном.

— Все слышали, что мне надоело вас терпеть! — я перешел на крик. — Не понравится мне что-нибудь — убью! — и я пнул ногой тело Гришика Геворкяна, которое начало было шевелиться. Шальная мысль пришла мне в голову.

— И называть меня впредь будете только «батано Нури» (господин Нури), как принято в Грузии. Мы в Грузии живем, вы понимаете это, дерьма собачьи?

Несколько человек из присутствующих согласно закивали — это были грузины по национальности. Неожиданно для себя я избрал правильную тактику: будучи в душе русским шовинистом, но, живя в Грузии и имея грузинскую фамилию, я взял на вооружение неслабый грузинский национализм. К слову, скажу, что «грузин» — это название собирательное. Грузинская нация состоит из огромного числа мелких народностей, нередко имеющих свой язык — сванов, мегрелов, гурийцев,

рачинцев, лечхумцев, месхов, кахетинцев, карталинцев, мохов, хевсуров, аджарцев... не надоело? Я мог бы перечислять еще. Только немногочисленные карталинцы могут считать себя этнически «чистыми» грузинами. А вот, например, многочисленные умные, а где-то и страшные, мегрелы иногда не причисляют себя к грузинам. У них свой язык. Как, собственно, и абхазы. Но в те годы, о которых я рассказываю, все эти народности назывались обобщенно — грузины.

— А кто не будет меня так называть — поплатится! — и с этими словами я вышел, спокойно пройдя сквозь раздвинувшийся круг.

На следующий день, придя в школу, я невозмутимо сел на свое место. До начала урока оставалось минут пять. Сосед мой по парте — Вазакашвили, по прозвищу Бидза (Дядя), никогда не обижал меня, даже защищал от назойливых приставаний одноклассников. «Дядей» его назвали потому, что он несколько раз оставался на второй год и был значительно старше других ребят. Я давал ему списывать, а он защищал меня — получался своеобразный «симбиоз».

— Привет, Бидза! — нарочито громко поздоровался я с ним.

— Салами, батано Нури! — вытаращив глаза, выученно отвечал он на приветствие.

Я встал со своей парты и начал обходить ряды, здороваясь со всеми мальчиками. Отвечали мне кто как. Кто называл меня Нурбей, кто Курдгел («Кролик» по-грузински — это была моя кличка, по-видимому, из-за моей былой беззащитности), а кто, как положено, — «батано Нури». Последним я кивал, а первым спокойно сообщал: «Запомню!»

Девочки испуганно смотрели на меня, не понимая, что происходит.

Напоследок я подошел к Геворкяну:

— Привет, Эшипоч! — громко поздоровался я с ним.

Серое лицо Геворкяна передернулось. Очень уж было обидно получить «ослиного члена» перед всем классом. И от кого — от вчерашнего робкого Курдгела! Но Гришик опустил глаза и ответил:

— Здравствуй, батано Нури!

На перемене я поочередно отзывал в сторону того, кому говорил «запомню», и, вывернув ему руку либо схватив за горло, спрашивал:

— Ну, как меня зовут?

Если получал нужный ответ, то отпускал его, а тем, кто отказывался называть меня господином, я быстрым движением шлепал левой рукой по лбу, приговаривая:

— Теперь твой номер — шестьсот три!

«Шлепнутые» шарахались от меня, смотрели как на чокнутого. Иногда даже пытались кинуться на меня. Но я все предвидел и применял к ним один из трех разученных мной приемов самбо.

Левую ногу я ставил сбоку от правой ноги противника и сильно бил правой рукой по его левой щеке. Ударенный тут же падал вправо. Если ноги у противника были расставлены, я протягивал в его сторону свою левую руку, как бы пытаюсь толкнуть его. Противник инстинктивно захватывал мою руку за запястье. Я только этого и ждал — прием, и противник с криком приседал, продолжая сидеть и кричать, пока я не отпускал его со словами:

— Запомни, теперь твой номер — шестьсот три!

На следующий день, придя в школу, я прямо в вестибюле увидел группу ребят из моего класса, большинство из которых были с родителями. Они о чем-то громко и возмущенно говорили с директором школы по фамилии Квилитая. Ребята стояли в надвинутых на лоб кепках. Директор Квилитая, по национальности мегрел, был человеком буйного нрава и очень крикливым. Про него Саша даже сочинил стишок:

Наш директор Квилитая,
С кабинета вылетая,
На всех накричав,
И обратно забегая!

Увидев меня, толпа подняла страшный гомон, родители указывали на меня пальцем директору:

— Вот он, это он!

Директор сделал такие страшные глаза, что будь поблизости зеркало, он сам бы их перепугался. По-русски директор говорил плохо, но зато громко.

— Гулиа, заходи ко мне в кабинет! А твоей маме я уже позвонил на работу! Сейчас ты получишь все, чего заслуживаешь! — и он затолкал меня в свой кабинет, который находился тут же, на первом этаже у вестибюля. — Чорохчян, заходи ты тоже, — позвал он одного из ребят с нахлобученной шапкой.

Директор сел в свое кресло, а я и Чорохчян стояли напротив него. Чорохчян снял кепку, и я увидел на его лбу большие цифры «603». Цифры были похожи на родимые пятна — такие же темно-коричневые и неровные.

— Что такое «603»? — завопил директор, дико вращая глазами.

— Трехзначное число! — невозмутимо ответил я.

Директор подскочил аж до потолка.

— Чорохчян, пошел отсюда! — приказал он и, когда тот вышел, стал вопить действительно не своим голосом. — Ты меня за кого считаешь, по-твоему, я не знаю, что число «603» читается как слово «боз», что по-армянски значит «сука, проститутка»? —

— Сулико Ефремович (так звали нашего директора), а почему я должен знать по-армянски? Я — мегрел! — с гордостью произнес я, — и армянского знать не обязан!

Квилитая знал, что фамилия у меня мегрельская, часто мегрелы, долго живущие в Абхазии, начинают считать себя абхазами. Фамилия Гулиа очень часто встречается в Мегрелии (Западная Грузия). Директор сам, по-видимому, недолюбливал армян и сейчас сидел, все еще тараща глаза и недоумевая, ругать меня или хвалить.

— Почему ты требовал, чтобы тебя называли батоно Нури? — спросил он сначала тихо, а потом опять переходя на крик. — Господ у нас с 17-го года нет!

— Прежде всего, Сулико Ефремович, «батона» — это общепринятое обращение у нас, грузин, а мы живем все-таки пока в Грузии. А кроме того, мое имя в переводе с турецкого означает «Господин Нур»; «бей» — это то же самое, что «батона» по-грузински — «господин». Я и хотел, чтобы они называли меня моим же именем, но на грузинский манер, — я смотрел на директора честными, наивными глазами.

— Чем ты писал цифры у них на лбу? — уже спокойно и даже с интересом спросил он.

— Да не писал я ничего, весь класс свидетель. Я шлепал их по лбу и называл цифру. А потом она уже сама появлялась у них на лбу. Я читал, что это может быть из-за внушения. Вот у Бехтерева...

— Тави даманебе («не морочь мне голову») со своим Бехтеревым, что я их родителям должен говорить?

— Правду, только правду, — поспешно ответил я, — что это бывает от внушения, просто у меня большие способности к внушению!

— Я это и сам вижу! — почти весело сказал директор и добавил: — Иди на урок и больше никому ничего не внушай!

Я вышел, а директор пригласил к себе столпившихся у дверей родителей. Думаю, что про Бехтерева они вспоминали не единожды...

А в действительности мне помогла химия. Купив в аптеке несколько ляписных карандашей — средства для прижигания бородавок, я их растолок и приготовил крепкий раствор. Этим-то раствором я незаметно смазывал печать — резиновую пластинку с наклеенными на нее матерчатými цифрами. И прихлопывал моих оппонентов по лбу этой печатью. Ляпис «проявлялся» через несколько часов, вероятнее всего ночью; держались эти цифры, или вернее буквы, недели две. Так что времени на то, чтобы выявить свою принадлежность, у носителей этих знаков было предостаточно!

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

Дома мне попало от мамы, которой директор успел позвонить на кафедру и сообщить все, что думал обо мне, еще до нашего разговора. Сулико Ефремович до директорства был доцентом института, где работала мама, и был знаком с ней.

— Тебя не приняли в комсомол, тебя выгонят из школы, у тебя все не так, как у людей, ты — ненормальный! — причитала мама. — Посмотри на Ваника, как он помогает маме...

Этого я не вытерпел. Это «посмотри на...» я слышал часто, и смотреть мне предлагалось на личности, подражать которым мне совсем не хотелось. И главное — стоило маме поставить кого-нибудь в пример, как образец для подражания тут же проявлял себя во всей красе.

— Посмотри на Вову... — и Вова вскоре попадает в тюрьму; посмотри на Гогу... — и Гога оказывается педерастом (случай, надо сказать, нередкий на Кавказе); посмотри на Кукури (есть и такое имя в Грузии!)... — и несчастный дебил Кукури остается на второй год.

Ванику это «посмотри на...» тоже даром не прошло. Вскоре он был скомпрометирован перед соседями тем же манером, что и Гога. Но об этом я скажу еще отдельно, так как история эта рикошетом, но очень чувствительным, задела и меня.

— Мама, — сказал я решительно, — из-за твоих советов меня били и надо мной издевались и в детском саду, и в школе; из-за твоих советов я казался ненормальным всем товарищам; своими постоянно мокрыми брюками я тоже обязан твоим советам. Хватит, теперь я попробую пожить своим умом: кого сочту нужным — буду бить, если надо — матюгаться прямо на улице, все буду делать и буду отвечать за свои поступки...

— Вот за это Фаина любит не тебя, а Томаса, и такого тебя никто не полюбит!

Это было запрещенным приемом; ударить маму я не мог, но и стерпеть этих слов — тоже. Все помутилось у меня в голове, и я рухнул в обморок.

Раньше со мной этого не случалось. Когда я пришел в себя, мама извинилась, чего тоже раньше не было.

Зато Саша воспринял мои школьные репрессии с восторгом. Сидя, как обычно, вечером со мной на завалинке во дворе, Саша восхищался тем, что я унизил, как сейчас говорят — «опустил», своих обидчиков: «За такой мужественный поступок мне даже расцеловать тебя хочется!» — восторженно закончил свой панегирик Саша.

Что-то незнакомое взыграло во мне, и я, притянув Сашу к себе за талию, сказал:

— Что ж, целуй тогда!

Саша вырвался, встал и, озорно глядя мне в лицо своими медового цвета глазами, прошептал:

— Чтобы ты после этого назвал меня «пидор Македонский»? Нетушки! — и он побежал к себе на «тот двор».

Обозленный своим положением брошенного Фаиной уха-жера, я вымещал свою злобу в классе. Так как там остались еще «непокорные», я применял к ним комплексную методику: то у них неожиданно загорался портфель, то их одежда начинала невыносимо вонять — это от сернистого натрия, вылитого на сиденье парты. Очень успешным оказалось использование серной кислоты — даже следов ее на парте было достаточно, чтобы во время глажки на одежде появлялись сотни дырок.

Но самым устрашающим оказался взрыв в туалете. Как я уже рассказывал про это самое замечательное помещение в школе, оно было построено на азиатский манер — дырка и два кирпича по сторонам. Упомянутая дырка оканчивалась таким раструбом наверху, видимо, чтобы не промахнуться при пользовании. Эти раструбы на нашем первом этаже были заполнены вонючей жижей почти доверху.

Я набил порохом четыре пузырька из-под лекарств, завел в пробку по бикфордову шнуру. К каждому из пузырьков, по числу «очков» в туалете, я привязал тяжелый груз — большую гайку или камень. Дождавшись, когда в туалете не было посетителей, я быстро «прикурил» от сигареты все четыре шнура и бросил по пузырьку в каждый раструб. После чего спокойно вышел из туалета. Секунд через двадцать раздались четыре взрыва, вернее даже не взрыва, а всплеска огромной силы, после чего последовали странные звуки сильного дождя или даже града.

Я заглянул в туалет уже тогда, когда раздались крики удивления и ужаса забежавших туда учеников. Картинка была еще та — весь потолок был в дерьме и жижа продолжала капать оттуда крупными фрагментами. Я представил себе, как взорвавшиеся пузырьки с порохом, развив огромное давление, вышибли жидкие «пробки» вверх мощными фонтанами, ударившими в потолок. Замечу, что если бы это был не порох, а обычная взрывчатка, то, скорее всего, разорвало бы трубопровод в месте взрыва. Как это бывает с пушкой, если снаряд взрывается, не успев вылететь из ствола. А порох превратил канализационную трубу в подобие пушки, выстрелившей своим биологическим снарядом в потолок.

Все догадывались, что это моя затея, но доказательств не было. Сейчас бы, в эпоху терроризма, исследовали все дерьмо, но нашли бы обрывки бикфордовых шнуров и осколки пузырьков. Назвали бы это «самодельным взрывным устрой-

ством» или «биологическим оружием» и непременно разыскали бы автора. А тогда просто вымыли туалет шлангом и посчитали, что это из-за засора в канализации.

К слову, туалеты прочистились замечательно! Взрывом, как мощным вантузом, их прочистило так, что до окончания школы я уже засоров не замечал. Безусловно, в классе этот случай среди учеников обсуждался. Все невольно посматривали на меня. Но я, не принимая намеков на свой счет, заметил просто, что если бы во время взрыва кто-нибудь находился в туалете, а тем более пользовался им, то уже не отмылся бы никогда.

Надо сказать, что я был перепуган масштабами этого взрыва и решил свои безобразия прекратить. К тому же в классе не осталось ни одного смельчака, который бы решился теперь обратиться ко мне иначе, как «батано». А я сделал вывод, что сила — это лучший способ борьбы с непокорным народом. Особенно, не успевшим вкусить демократии.

Но хватит о репрессиях и биологическом оружии, лучше поговорим о любви — ведь наступила весна!

Весна в Тбилиси, доложу я вам, кого угодно сведет с ума. В конце апреля — начале мая зацветают сразу все кусты, все деревья. Запах на улицах и во дворах — прямо «Ахе effect», как сейчас скажут. У всех, кто еще на это способен, наступает непрерывное, непрекращающееся либидо. У меня — по отношению к Фаине, а оказалось, что у моего младшего товарища, я бы сказал, болельщика — красивого мальчика Владика — ко мне. Хотя, строго говоря, этот термин характеризует сексуальное влечение только к лицу противоположного пола. Но на Кавказе все постоянно путают!

Обнаружилось это во время изготовления «криминального» фотомонтажа, где я смонтировал себя с Фаиной в откровенных позах.

Владик буквально со слезами на глазах упросил меня взять его с собой и показать мою домашнюю фотостудию. Меня смущала только конспиративность в отношении «криминальных» фотографий. Владик знал, что я люблю Фаину, и я задумал испытать на нем впечатление от монтажа.

Итак, мы с Владиком в запертой и затемненной кухне; перед нами ванночки с проявителем, ведро с водой для промывания фотографий. На столе — увеличитель и красный фонарь. Сейчас, когда фотографии заказывают в ателье, эта картина кажется диким атавизмом, но именно так и изготовлялись фотографии в то время. Особенно «криминальные».

Я подложил под красное изображение бумагу и откинул светофильтр. Утопил бумагу в проявителе, придвинул красный фонарь и с замиранием сердца стал ждать результата. Обняв меня за спину, Владик тоже напряженно смотрел в ванночку.

И наконец появилось, на глазах темнея, заветное изображение: обнаженная Фаина, стоящая по колено в ванной, а сзади я обнимаю ее руками за талию, высовываясь сбоку. Лица у нас окаленные — то ли в улыбке, то ли в экстазе.

Владик аж рот раскрыл от неожиданности:

— Так ты с ней спал? — страшным шепотом спросил он меня, отпустив мою спину и заглядывая прямо в глаза.

— А что, не видно, что ли? — уклончиво ответил я, отводя глаза от пристального взгляда Владика.

— Что ж она, сучка, говорила мне, что у нее с тобой ничего не было! Все девчонки — суки! И на что она тебе нужна? — горячо говорил Владик, — во-первых, она еврейка, а они все хитрые и продажные; во-вторых — она бессовестно увивается за Томасом, а он плевать на нее хотел! Да она — лихорадка болютная! — употребил он в сердцах термин, вероятно, заимствованный от матери-медсестры.

— Ну а тебе, собственно, что за дело? — удивился я, — ну, может, она и сука, может, и лихорадка, а тебе-то что?

Даже при свете красного фонаря я увидел, что Владик побледнел.

— Мне — что за дело? Мне — что за дело? — дважды повторил он и вдруг решительно произнес тем же страшным шепотом: — А то, что я люблю тебя, ты что, не видишь? И я не отдам тебя всякой сучке! Ты женишься на мне, может, не открыто, не для всех — а тайно, только для нас!

Владик стал хватать меня за плечи, пытаюсь поцеловать. Я был выбит из колеи — ничего не понимая, я таранился на Владика, увертываясь от его поцелуев.

— А ну-ка, дай себя поцеловать! И сам поцелуй меня! — так властно потребовал Владик, что я невольно пригнулся, подставив ему свое лицо. До сих пор не знаю, целовала ли меня за всю жизнь, жизнь долгую и отнюдь не монашескую, какая-нибудь женщина так искренне, так страстно и с таким страхом, что все вот-вот кончится!

За этими внезапными поцелуями я и не сразу заметил, как руки Владика стали шарить меня совсем не там, где положено. Это меня тут же отрезвило — мальчик-то несовершеннолетний! В нашем дворе ничего не скроешь (хорошо, что я тогда понял эту очевидную истину!). Все дойдет до Фаины, и тогда вообще конец всему! Голова у меня уже кружилась, но я нашел силы оттолкнуть Владика, успокоить его и даже отпечатать несколько фотографий. Чтобы никто посторонний не увидел, я их тут же отглянцевал и спрятал. Владика просил об этом никому не рассказывать. Совершенно обескураженный, я проводил его до дверей кухни и, поцеловав, отпустил домой. Сам же остался прибираться на кухне.

А на следующий день после школы Фаина встретила меня у лестницы, преградив путь домой. Она с улыбкой пригласила меня погулять во дворе. Надежда уже стала просыпаться в моей душе, как вдруг Фаина повернула ко мне свое искаженное злобой лицо и, кривя рот, спросила:

— Так мы с тобой голые купались в ванной? И даже фотографировались при этом? — Она достала экземпляр злосчастной фотографии и разорвала у меня перед носом. — Да кто с тобой, уродом, вообще станет связываться, может, только педик какой-нибудь! Ко мне не подходи больше и не разговаривай, а покажешь кому-нибудь эту гадкую фотографию — все скажу отцу, тогда ты пропал!

И скривив лицо, Фаина, прямо глядя мне в глаза, прошептала: «Сазизгаро!», добавив по-русски: «Подонок!» В продолжение этого разговора я краем глаза заметил, что Владик крутился где-то рядом. Как только Фаина отошла в сторону, он занял ее место.

— Нурик, прости, я стянул у тебя фотографию и проговорился, прости меня, если можешь! Я не хотел, так получилось! — канючил Владик.

В моей душе с ним было покончено. Как нелепо, что в результате страдает тот, кто любит, а человек, которого любят, швыряется этой любовью, как будто ему тут же предложат что-то еще получше. Но тогда это был первый (но не последний!) подобный случай в моей жизни, и я злым шепотом ответил Владиду:

— Фаина сказала, что со мной может связаться только педик! Ты, наверное, и есть этот педик! Не смей больше подходить ко мне, подонок!

И я ушел от Владика, который остался стоять с поникшей головой.

Недели две я был, как говорят, в прострации. Спасали только тренировки и разговоры с Сашей. Во всей этой истории он больше всех сочувствовал Владиду, Саше вообще очень нравился этот мальчик. Я стал осознавать, что зря его обидел, мне было очень совестно, но как нужно было поступить, Саша не сказал.

— Что, мне нужно было пойти у него на поводу? — прямо спросил я у Саши.

— Да нет, — неохотно ответил он, — тогда тебя тоже назвали бы «пидором Македонским»!

Мне так захотелось возобновить отношения с Владиком, что я стал подумывать, как бы «подкатить» к нему и обернуть все шуткой.

Но жизнь, как любил говорить «отец народов» — товарищ Сталин, оказалась «богаче всяческих планов». Как-то, возвращаясь со школы, я увидел во дворе толпу соседей, в центре которой стояли: наш сосед дядя Минас, его жена Мануш и мама Владика — Люба. Люба что-то кричала Минасу, соседи гомонили, а затем она, размахивая руками, быстро ушла к себе на «тот двор».

— А твой друг Владик педерастом оказался! — почти радостно сообщила мне мама. — Застукали их во дворе в туалете с Ваником — сыном Минаса! Подумать только — Ваник, такой хороший мальчик, и — на тебе! Это, наверное, Владик сам его соблазнил! Кстати, у тебя, случайно, ничего с ним не было? А то он так липнул к тебе!

Я тихо покачал головой, давая понять, что ничего у меня с Владиком не было, может, и к сожалению! Потом зашел на кухню, заперся, сел на табурет. Перед глазами стоял только грязный, в луже дерьма, дворový туалет, ненавистный Ваник и несчастный, брошенный мной Владик. Чистый, красивый ребенок, не виноватый в том, что в его душе проснулось чувство именно ко мне. И как раз тогда, когда моя собственная душа была закрыта к чувству от кого бы то ни было, кроме Фаины! Я ненавижу, ненавижу этот двор, этого Ваника, наконец, этот грязный, мерзкий туалет, где светлое, наивное чувство ребенка было втоптанно в дерьмо!

Я бы мог поджечь или взорвать туалет, но за это могли серьезно наказать. Поэтому я избрал другой путь — я решил затопить ненавистное мне место дерьмом. Жарким тбилисским вечером я вылил в выгребную яму туалета два ведра свежайших дрожжей, купленных на пивзаводе. Через пару дней полдвора было уже залито пенящимся дерьмом, а яма все продолжала и продолжала бродить...

А после этого я сделал первую, к счастью, неудачную, как и последующие две, попытку суицида. Я выпил всю приготовленную в свое время настойку шпанских мушек. Но меня успели спасти, и в том немалая заслуга «вахтера» Тамары Ивановны, поставившей «на уши» всю больницу скорой помощи. Презрение Фаины, грехопадение Владика — все это надломило мою психику. Да еще и Саша с родителями после окончания учебного года уехал в Киев — они пытались снова переселиться на Украину. Я решил, что Саша уехал навсегда, жизнь кончена — и отравился. Но оказалось, что она только начинается!

Все эти мои перипетии с суицидами я описал в моей книжке «Русский Декамерон...» и не буду повторяться.

А Владик и его мама Люба вскоре переехали из своей халупы на «том дворе» неизвестно куда. Они об этом никому не сказали. Так я потерял Владика — любящую душу — из своей жизни.

Наконец подошла к концу школа, оставив во мне противоречивые чувства. Хотя я «свой позор сумел искупить», но, как говорят, «осадок остался». Нет тех слез умиления, которые проступают у некоторых при воспоминании о школе. В 11 классе я кроме Саши общался в основном только с вновь пришедшими к нам из других школ Зурабом Асатиани и Женей Фрайбергом. Учились они посредственно, но зато не были свидетелями мо-

его позорного прошлого. Для них я был штангистом-перворазрядником и отличником учебы, то есть человеком уважаемым.

Я сам первый подошел к Зурабу и сказал:

— Приветствую, князь! — я знал, что его фамилия — княжеская.

— Приветствую вас! — напыщенно ответил мне князь и продолжил: — Я знаю, что вы потомок великого Дмитрия Гулиа, вы — уважаемый человек!

Я намекнул ему, что дедушка мой по материнской линии был графом и после этого Зураб называл меня только графом. К нам присоединился «новенький» Женя Фрайберг, которого мы, не сговариваясь, назвали «бароном». Так мы и встречались обычно втроем, разговаривая на «вы» и с произнесением титулов, как в каком-нибудь рыцарском романе:

— Приветствую вас, граф!

— Мое почтение, князь!

— Мы рады вас видеть, барон!

Надо сказать, что в Грузии всегда с почтением относились ко всякого рода званиям и титулам. Существовала даже такая притча, имевшая после войны широкое хождение в Грузии. Будто бы еще в 1939 году, при подписании «акта Молотова — Риббентропа», в состав советской делегации входил фотограф Трифон Лордкипанидзе — человек с очень распространенными в Грузии именем и фамилией. И когда его знакомили с Риббентропом, последний высокомерно представился: «барон фон Риббентроп!» Но «наш» грузин буквально «убил» его своими званиями и титулами: «фото-Граф три-Фон Лорд Кипанидзе!» И Риббентроп, якобы пребывая в шоке, «дал маху» при подписании акта. А мы, советские, благодаря грузину-фотографу, остались в выигрыше!

Вот мы и выпячивали свои липовые «титулы», а к остальным одноклассникам относились снисходительно и высокомерно. От них мы требовали неременного «батона», а желательно и произнесения титула. И Зураб, и Женя были рослыми ребятами, крепкими телом и духом. Мы могли дать отпор любому непослушанию. Между собой мы называли других одноклассников «глехи», что переводится как «простонародье», «крестьяне».

Учителя чувствовали такую дискриминацию, знали наши «титулы», но тушевались и не вмешивались. Только Шуандер как-то издевательски произнес:

— А ну-ка, вызовем мы к доске нашего графа, пусть он расскажет нам про подвиги грузинских князей! — но тут же осекся, заметив мой вызывающий прямой взгляд ему в глаза.

Он понял, что я могу отказаться от роли его помощника и у него появятся проблемы с запутанной и непонятной ему «Историей Грузии». А может, он вспомнил про йодистый азот и звуки «бах!» и «трах-тах-тах!», которые могут повторить-

ся. И если он впоследствии и называл меня графом, то звучало это совершенно серьезно.

Может, мой «титул» оказал свое влияние на тройку по конституции, которую он мне поставил при пересдаче; но скорее тут был другой расчетец...

Вспоминается еще случай с учительницей-словесницей — Викторией Сергеевной. Как-то она читала нам из хрестоматии про поступок советского машиниста, которого фашисты силой заставили вести поезд с их солдатами и танками куда им надо было. Так вот, желая устроить аварию, машинист выбросился на ходу поезда. Это был эпизод из какого-то патриотического произведения, которое мы проходили. Виктория Сергеевна спрашивает класс:

— Машинист выбросился, что же должно случиться с поездом? — и не услышав ответа, пояснила: — поезд после этого сойдет с рельсов и будет крушение. Ведь машинист должен постоянно «рулить» поезд, чтобы его колеса шли по рельсам!

Класс замер — ведь даже двоечники понимали, что «рулить» колесами паровоза, да и всего поезда не под силу никакому машинисту. Колеса поезда просто не поворачиваются. Но как же тогда поезд действительно удерживается на рельсах и не сходит вбок на поворотах? И я поднял руку. Встав, я пояснил словеснице, что поезд без машиниста не сойдет с рельсов, потому что у колес по бокам есть реборды, которые их там удерживают. И не «рулит» машинист поездом, потому что, во-первых, там нет руля, а во-вторых, колеса не могут повернуться — они закреплены на осях жестко.

— Все наш граф знает! — презрительно сказала на весь класс Виктория Сергеевна, — даже паровозы. Лучше бы вел себя поскромнее!

А вскоре после этого была контрольная — сочинение на свободную тему. Я выбрал тему по своему любимому «Фаусту» Гете. Изучал снова это произведение по подстрочному переводу, который имелся в нашей домашней библиотеке, чтобы не упустить какую-нибудь «тонкость» в немецком языке. В результате — четверка, несмотря на отсутствие грамматических ошибок.

— Тема эта неактуальна, — пояснила Виктория Сергеевна, — «Фауст» устарел для советского человека, это тебе не «Как закалялась сталь»! Молодцы ребята и девочки, которые выбрали эту тему!

Учителя, будьте же принципиальны, ведь ученики вырастут и все вспомнят о вас!

На экзаменах я не стал «выпендриваться» и сдал все на пятерки.

Наступил выпускной вечер. Это был не бал, что теперь вошло в традицию, а ужин с обильной выпивкой, больше для учи-

телей, чем для учеников. Активисты-родители собрали с нас деньги и устроили ужин специально для нашего класса в доме, принадлежащем вместе с садом одному из родителей наших одноклассников. Саши, к сожалению, не могло быть с нами вместе. Большой стол был поставлен в саду под виноградником, на котором закрепили электролампочки.

Бочка с вином стояла в сарае, и вино приносили на стол, набирая его в кувшины — «чури». Пригласили учителей, которые вели у нас занятия последние годы, конечно же, классного руководителя, активистов-родителей и одного из завучей, который оказался уже достаточно пьян.

Первый тост предоставили завучу Баграту Сократовичу как начальнику. Завуч был огромен, толст, со зверским выражением лица, и прозвище ему было — Геринг. Глаза его постоянно были налиты кровью, особенно когда выпьет, то есть и сейчас. Он поднялся, чуть не опрокинув стол, и медленно, значительным голосом произнес тост, но совсем не тот, что от него ждали:

— Сегодня вы получили эту грязную бумажку, — сказал он с таким презрительным выражением лица, что в мимике ему бы позавидовал сам Станиславский, — но не думайте, что вы с этой бумажкой умнее, чем были без нее. Какими дураками вы были, такими и останетесь! За исключением, может, трех-четырех, — исправился завуч, поняв, что перегнул палку. — Главное, как вы себя покажете в жизни, чего добьетесь. И не надейтесь, что эта грязная бумажка (он, видимо, имел в виду аттестат) вам поможет стать достойными людьми!

И Геринг, испив огромный бокал, грузно сел на свой табурет. За столом установилась гробовая тишина. Только классный руководитель, учительница английского языка Эсфирь Давыдовна, робко высказала мнение, что уважаемого батона Баграта надо понимать иносказательно, что он хотел сказать совсем другое...

Тут я почувствовал, что наступило время моего высказывания о школе, больше я этого не сумею сделать публично при всех действующих лицах. Я поднялся с бокалом и громким, авторитетным голосом («граф» все-таки!) произнес:

— Я уже не ученик, и от уважаемых учителей и завуча больше не завишу. И поэтому не считите за лесть то, что я скажу!

Разволновавшиеся было учителя успокоились, услышав слова о лести. «Не дождетесь!» — подумал про себя я.

— Я считаю, что уважаемый Баграт Сократович, как всегда, прав. Недаром он поставлен начальником и лучше других знает и людей, и учебный процесс. — Геринг поважнел так, что стал похож на потолстевшего Гитлера. — Я расскажу про мою грязную бумажку, то есть аттестат. У меня все пятерки, кроме тройки по Конституции СССР. — Шуандер опустил глаза, утопив

свой взгляд в вино. — Может ли такой ученик иметь почти все пятерки, справедливо ли это? Как можно, не зная Конституции СССР, даже не сумев ее пересдать в одиннадцатом классе, получить пятерки по всем остальным предметам? Это аполитично, тем более все знали, что мои предки были графами — эксплуататорами народа! Я считаю, что аттестат мой — это несправедливая грязная бумажка. Но, как пожелал наш батона Баграт, я постараюсь и с ней стать достойным человеком. Спасибо ему за теплые напутственные слова! — и я, стоя, выпил свой бокал.

Нектаром показалось мне это кислое вино «Саперави»: я сумел высказать то, что я думаю о своих наставниках. Могу считать себя отмытым, как граф (надо же — и он граф, хотя и «липовый»!) Монте-Кристо.

Тосты, которые следовали после моего, показались мне жалким блекотаньем, я их слушать не стал, и мы — князь Асатиани, барон Фрайберг и я, — захватив с собой закуски, отправились в сарай, поближе к бочке с вином. Препятствовать этому никто не стал, более того, как мне показалось, — за столом облегченно вздохнули.

— Что с этими «глехами» сидеть, недостойно нас это, — заметил князь, и мы одобрительно закивали, — тем более здесь ближе к первоисточнику! — и он указал на бочку.

Скоро к нам присоединился и Геринг, настоящей фамилией которого была Мегвинет-ухуцеси, что означает должность царского виночерпия, это известная грузинская княжеская фамилия. Геринг вполне соответствовал своей фамилии — мне кажется, что он один мог бы выпить целую бочку.

— Ребята, я вам так скажу, — продолжил он в сарае, — я хоть и грузин, и предки мои для Грузии немало сделали, не оставайтесь здесь, уезжайте лучше в Россию, там воздух чище, там дышать легче. А лучше — бегите, если сможете, за границу — в Европу, Америку, Австралию — там настоящая жизнь. У нас в Грузии сейчас гниение, а не жизнь! — И Геринг, могучий Геринг, заплакал...

Тогда я подумал, что он преувеличивает. Но наступит время, когда я пойму, насколько он был прав, и буду благодарен за совет — бежать в Россию. За границу я не ушел — но туда уехали почти все мои ученики, даже вторая жена, даже... но пока рано об этом! Я «прирос» к России — «отечества и дым мне сладок и приятен»!

Под утро я, шатаясь, пошел домой. Меня проводили князь и барон, более устойчивые к вину. Геринг так и заснул в обнимку с бочкой, и поднять его не было никаких сил.

«Все, — подумал я дома, — со школой покончено, нужно срочно стряхивать с себя старую кожу, как это делают змеи». Сейчас говорят — «изменить имидж». Чтобы со всем старым было покончено, чтобы начать новую свежую жизнь!

КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ



МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Я выбросил свои стилижки «тряпки», подстригся под «полубокс», сбрил idiotские тонкие усики. Без волос, усиков и глупой, уродующей одежды я стал наконец похож на спортсмена-силовика.

— Фу, — брезгливо заметила мама, — у тебя шея толще, чем голова!

— Ничего, — ответил я, — не шея на голове держится, а голова на шее!

Я надел трикотажную рубашку — «бобочку», черные стандартные брюки, спортивные ботинки-штангетки. Часы надел, как люди, на левую руку. В таком виде я и пошел на собеседование к проректору Политехнического института Сехниашвили, который поставил тогда галочку напротив моей фамилии.

Вступительных экзаменов было целых пять. Я получил по первым четырем пятерки и без страха пошел на последний экзамен по математике (устно). Всегда имея пятерки по математике, я не очень ее боялся, тем более по физике получил пять с двумя плюсами.

Но молодой преподаватель, который потом вел у нас математику и всегда ставил мне «отлично», на сей раз почему-то «заартачился», стал говорить, что я не понимаю мною же написанного, и уже ставил «удовлетворительно». Тогда я, как меня учили бывалые люди, громко и серьезно потребовал:

— Я требую проэкзаменовать меня на комиссии, я имею право на это!

Преподаватель стушевался, стал перебирать какие-то бумаги и заглядывать в них. Затем неожиданно пошел на попятную и спросил:

— А какую же оценку вы хотите?

— Только «отлично», как по всем остальным предметам! — твердо и глядя в глаза преподавателю, ответил я.

— Хорошо, хорошо, будет вам «отлично», — и преподаватель проставил мне в лист эту оценку.

Что сыграло свою роль в такой метаморфозе математика, не знаю. Может быть, мои отличные оценки по предыдущим экзаменам или уверенность, с которой я потребовал комиссию.

А может быть, и тот значок, что проставил проректор около моей фамилии на собеседовании...

Саша закончил школу, как и я, без медали. Но вступительные экзамены сдал тоже хорошо — кажется, на 23 балла, и поступил на ту же специальность, что и я. Мы подсуетились и оказались в одной группе.

Когда я силюсь вспомнить, чем же примечательны были мои первые годы в Политехническом, то прежде всего на ум приходит спорт, потом женитьба и только после всего этого — учеба.

Учеба не требовала от меня никаких усилий. Почти все предметы я изучал с интересом и поэтому легко, а «Историю КПСС», которая не вызывала ни малейшего интереса, просто вы зубрил наизусть. Память в молодые годы была «еще та».

Я мог получить стипендию, только если буду учиться на круглые пятерки, поэтому именно их я и получал. Дело в том, что обычную стипендию у нас давали только в том случае, если доход на каждого члена семьи получался менее 300 рублей. Мама моя — ассистент вуза, получала 1050 рублей, бабушка — 360 рублей пенсии, и на каждого получалось аж под пятьсот рублей. Только в случае одних пятерок в сессию мне полагалась стипендия, причем повышенная. Мои шикарно одетые и разъезжающие на своих машинах сокурсники приносили справки о нищенских доходах родителей-артельщиков и «забронировали» себе стипендию при любых оценках. Ну, кто дал бы справку о доходах подпольному цеховику, спекулянту, мошеннику? А работать тогда должны были все — иначе ты тунеядец. Вот и приносили справки о работе на полставки сторожем или, например, дворником.

За всю учебу в вузе я не получил ни одной четверки, еще бы — без стипендии мне пришлось бы переходить на вечернее отделение, что было нежелательно. А повышенная стипендия (550 рублей) тогда была примерно равна 60 долларам, и при тогдашних ценах (красная икра — 35 рублей за килограмм, столичная водка — 25 рублей за бутылку, проезд на трамвае — 20 копеек) на нее вполне можно было прожить. Тем более икру я не ел — она мне опротивела еще в детстве, водку готовил сам, а за трамвай платил не 20 копеек, а 3 копейки. Поясню последнее.

Дело в том, что монеты достоинством в двадцать копеек и в три копейки имели точно одинаковые диаметры и реверс (то, что всю жизнь называлось «орлом»). И только аверс (где написано достоинство монеты) и цвет были разными.

Я достал немного ртути (в то время ее можно было похитить даже в вузовской химлаборатории) и амальгамировал трехкопеечные монеты. То есть я натирал их тряпочкой с ртутью, и медные монеты приобретали серебристый цвет. Если такую монету показать «орлом», то никакого отличия от двадцатико-

печной не было. В трамвае я показывал народу такую монетку орлом и бросал ее в кассу, а потом уж отрывал билет.

О вреде ртути тогда не говорили — это сейчас поднимают страшный шум, если вдруг в еде находят хоть капельку. Авторитетно заявляю всем, что при приеме внутрь ртуть не токсична! Дышать ее парами не стоит, а глотать — пожалуйста, сколько влезет!

У нас на «том дворе» жил бывший зек — Рафик, который на зоне работал на ртутных приисках. Так вот эту ртуть на работе он каждый день пил килограммами, а возвращаясь в свой барак, переворачивался вверх ногами и выливал содержимое в таз. Потом он продавал ртуть скупщикам, которые перепродавали ее частным зубным врачам. В те годы были очень распространены медные и серебряные пломбы, материал (амальгама) для которых готовится на ртути. Две медные пломбы, поставленные мне более полувека назад, прекрасно держатся у меня в зубах и сейчас, а каков век пломб нынешних — вы сами прекрасно знаете.

Монета, натертая ртутью, недолго оставалась серебристой — ртуть выдыхалась и золотистый цвет возвращался. Поэтому у меня в комнате стояло блюдце со ртутью и монетами, плавающими в ней, как кусочки дерева или пробки. Я их время от времени переворачивал, чтобы амальгамировать обе стороны. Как мы все не поумирали от этого — сам не понимаю! Наверное, на Кавказе даже ртуть была поддельной!

А если серьезно — то не повторяйте этого опыта сами. Я думаю, изобретатель ртутного барометра Торричелли умер молодым как раз из-за целых корыт с ртутью, которые стояли открытыми у него в лаборатории. Это видно хотя бы из рисунков, изображавших этого ученого в своей лаборатории. Да и пить ртуть, как зек Рафик, не стоит. Мало ли чего!

Так вот, возвращаясь к начальным годам в вузе, я первым делом вспоминаю тренировки. У нас в Политехническом был хороший зал штанги, где мы с Сашей тренировались три-четыре раза в неделю. Но первое время продолжали ходить в прежний зал на стадионе «Динамо», к которому привыкли, да и с товарищами не хотелось расставаться. У нас образовалась теплая компания, шуточным девизом которой был: «Поднимем штангу на должную высоту!»

Иосиф Шивц почему-то ушел с тренерской работы, и у нас появился молодой симпатичный тренер Роберт, которого мы все очень полюбили. Мы с Сашей даже стихотворение такое придумали в подражание Маяковскому:

Да будь слабаком я преклонных годов,
И то без сомнений и ропота,
Я штангу бы поднял только за то,
Чтобы порадовать Роберта!

А Роберту очень нравился мой жим — я «выдавливал» штангу несмотря ни на что, даже если она была непомерно тяжела для меня.

— Венацвале ам спортсменс! («Благословляю этого спортсмена!» по-грузински) — восхищенно говорил Роберт, видя мой жим.

Он был уверен, что я побью мировой рекорд в жиме, а он был тогда в моем полулегком весе равен 115 килограммам. В 1958 году весной я на тренировке жал, конечно, не очень «чисто», штангу в 115 килограммов, а на соревнованиях поднял всего 105 килограммов — не хотел рисковать, мне нужно было выполнить норматив мастера, что я успешно и сделал. Кстати, норма мастера спорта в жиме тогда была всего 95 килограммов.

Но я, нимало не сомневался в том, что осенью 1958 года побью мировой рекорд. Даже сам экс-рекордсмен мира в жиме, Хайм Ханукашвили — приятель моего соседа дяди Федула, — говорил мне, что я вполне могу осенью побить этот рекорд. Рекордсмен тренировался в том же зале, что и я, только в другое время. И чемпион мира — Рафаэль Чимишкян — также тренировался в нашем зале. Мне «повезло» — только в моем полулегком весе в Грузии были штангисты мирового класса — чемпион и рекордсмен мира. «Рыпаться» мне вроде было некуда, но именно в жиме была «брешь» — 115 килограммов — вес, который никак нельзя было считать очень большим. У чемпиона мира Чимишкяна жим был слабый — 105 килограммов, но в рывке и толчке он был недотягиваем (в то время соревнования по штанге проводились по классическому троеборью — жим, рывок и толчок двумя руками). Вот и поуходили мало-мальски сильные спортсмены в другие весовые категории — легчайший и легкий веса, боясь конкуренции с Чимишкяном. А Ханукашвили был уже «в возрасте» и установить новый рекорд не мог. Так и держались эти 115 килограммов, как будто специально дожидаясь меня.

В начале лета я уже на тренировке жал 115 килограммов, нужны были только соревнования соответствующего уровня, которые должны были состояться осенью. За многие ошибки в жизни я крепко ругал себя, но самыми последними словами я обзываю себя за то, что «прозевал» этот рекорд, который, казалось бы, сам шел в руки.

Летом наш курс уезжал по комсомольским путевкам убирать урожай на целину, и я принял идиотское решение ехать вместе со своей группой. Эта поездка представлялась мне чем-то вроде летнего отдыха, где заодно можно позаниматься моими любимыми эспандерами, а осенью — побить мировой рекорд. Как ни убеждал меня тренер не ехать, но я был непреклонен и стоял на своем, как известное вьючное упрямое животное.

Саша не имел таких достижений в спорте, да он и тренировался, пожалуй, только для удовольствия. А может, за компанию со мной. Саша был в легком весе, или на семь килограммов тяжелее меня, но поднимал значительно меньше, особенно в жиме. Его мечтой было получение первого разряда, но он не очень сильно стремился к этому. А когда узнал, что я еду на целину, решил ехать со мной, хотя мог бы и отказаться. Как, собственно, и я.

И что же — поездка затянулась до октября, еще в поезде я заболел кишечным заболеванием, от которого чуть не отдал концы, и в результате прибавил в весе 25 килограммов, перейдя сразу через четыре весовые категории в полутяжелый вес. Да еще, слава Богу, что приехал живым — двое с нашего курса погибли, замерзнув в снежной буре... в сентябре!

И пока я гонял эти 25 килограммов и приходил хоть в какую-нибудь спортивную форму, прошел год, и Виктор Корж улучшил рекорд в жиме аж до 118,5 килограммов! Близок был локоток, но так и не удалось мне его укусить!

На первом курсе учились в нашей группе две девушки — спортсменки и отличницы. Одна — Лиля, была гимнасткой, другая — Ира — теннисисткой. Мне нравились они обе, и как оказалось, взаимно. Лилия похитила со спортивного стенда мою фотографию со штангой, и это послужило поводом для встречи. Она опоздала на свидание на полтора часа, а я педантично ждал ее. Не нашлось тогда участливого человека, который научил бы меня уму-разуму: если девушка опаздывает, тем более настолько, то ненадежный она человек!

Ира никогда не опаздывала, она была умной, начитанной и веселой брюнеткой с черными глазами. Лилия была сильна в математике, но не начитанна — она воспитывалась в очень простой и бедной семье. Но она была блондинкой — и это сыграло свою роль. Я как «лицо кавказской национальности» сильнее увлекся ею. Но не забывал и Иру.

В конце года между девушками произошел конфликт из-за меня. Победила Лилия. Ира даже ушла из Политеха в университет, поссорившись с Лилей, но не со мной. Несмотря на ссору между собой, они принимали горячее участие в моей спортивной жизни, не пропуская ни одного соревнования с моим участием.

Узнав откуда-то, что я летом решил ехать на целину, Ира специально встретилась со мной, чтобы отговорить от этого глупого, с ее точки зрения, шага:

— Ты что, ненормальный, что ли? — горячо убеждала Ира, — тебе же к мировому рекорду надо готовиться — режим, диета, отдых! А ты неизвестно куда собрался!

Лилия и, что самое главное, мама были противоположного мнения. Лилия, правда, потом говорила, что так она поступала только в пику Ире, но слова мамы убедили меня:

— Все товарищи, комсомольцы, едут на целину, а ты хочешь показать им, что ты особый? Некрасиво будет!

Оказавшись в вагоне, я понял, кто из группы считал себя особым. Все, кто имел хоть какую-то зацепку, не поехали. А кто не имел — опоздали, сославшись на поломавшийся автобус. Поехали только простодушные идиоты (к которым я охотно причисляю и себя!) и те, кто, имея специальность каменщика или плотника, хотели на целине подзаработать. Последних оказалось только трое, это были взрослые люди, прошедшие армию, а одному — «старикуну» Калашяну — вообще было за тридцать.

Умные и хитрые с нами не поехали, и они были тысячу раз правы. Сколько я ругаю себя за непростительные ошибки и промахи в прошлой жизни, но продолжаю их делать даже сейчас. Неглупый вроде человек (это я мнение окружающих высказываю!), а промахи — достойны ребенка из дикого островного племени.

Вывод, который я сделал для себя (может, слишком поздно!): научные, технические и прочие специальные знания и знания жизни — совершенно разные, порой взаимоисключающие вещи!

ЦЕЛИНА

В июле 1958 года, в страшную сорокаградусную тбилисскую жару, закинув за плечи рюкзаки с банками тушенки и сгущенки, с полотенцем, сменой белья и свитером на всякий случай, мы с Сашей в назначенное время пошли на вокзал пешком. Благо от дома до вокзала — десять минут хода. С собой взяли немного денег (остальные надеялись там заработать), паспорта и «комсомольские путевки».

Нашли свой товарный поезд и пульмановский вагон с нарами для перевозки комсомольцев-целинников. Намека на туалет в вагоне не было — обращаю на это внимание, так как вопрос туалета в поездке окажется для меня очень актуальным! На нары были набросаны грязные матрацы, по которым нагло ползали клопы, не скрываясь даже днем.

В вагоне размещались четыре группы студентов — две русские в одном конце и две грузинские — в другом. Всего было человек около семидесяти. Путь в Северный Казахстан — Кустанайскую область, лежал через Азербайджан — печально известный в дальнейшем Сумгаит, Дагестан — Махачкалу, и страшную, но уже позже, Чечню — Гудермес, а далее — через Астрахань, Оренбург на станцию Тобол, где нас и высадили. Переезд занял почти неделю. До Оренбурга наш поезд часами

стоял на разных полустанках, пропуская более важные поезда, ехал он не торопясь, а после Оренбурга двигался, хотя и медленно, но безостановочно, днем и ночью.

Лиля провожать меня не пришла — она отдыхала на море. Поезд отошел под «Прощание славянки» и браваурные грузинские марши. Мы поделили свои нары и матрацы, постелили на них выданные нам пятнистые простыни с ужасными черными штампами величиной с тетрадную страницу, разложили плоские жесткие подушки. Занозы из нар свободно проходили через тощие матрацы и помогали голодным клопам жалить нас.

До Сумгаита ехали весь первый день, изнывая от жары. Оказывается, есть жара хуже тбилисской — это жара азербайджанская. Мы выскакивали на каждой остановке, чтобы выпить воды и намочить полотенца, которыми постоянно обтирались, спасаясь от жары и отпугивая клопов.

Убедительно прошу вас, не ездите, пожалуйста, на нарах в товарных вагонах! Вот рассказываю — и сам чешусь от воспоминаний!

Проезжая по Чечне на следующий день, мы по инициативе опытного студента — «старика» Калашяна, созвали общее собрание и решили собрать всю еду в общий котел и назначить дежурных на ночь. Мы с Сашей с удовольствием отдали в общий котел свои банки тушенки и сгущенки, но заметили, что многие рылись в своих торбах довольно долго, явно утаивая ценные продукты. Увидели, что Калашян положил в общий котел только батон хлеба, весело заметив, что он — комсомолец, а не куркуль, чтобы брать с собой запасы.

Ночью мы проезжали по Чечне. Думали ли мы, что через срок с лишним лет здесь будет твориться такое! Чеченцев в ту пору там не было, я встречал их уже на целине, как и ингушей. Они мирно работали в колхозах и никакой воинственности не выказывали.

Утром следующего дня поезд подошел к Махачкале. Нас высадили, повезли в военную часть и накормили солдатским обедом из полевой кухни. Каша и чай — это тоже неплохо! Днем купались в Каспийском море, а потом часть ребят поехала на вокзал, а мы с Сашей пошли туда пешком. Когда мы добрались до вокзала, то увидели только хвост нашего поезда — он медленно уходил.

Никогда не забуду наш с Сашей бег вдогонку уходящему товарняку, наверное, с полчаса. Еле-еле мы запрыгнули на площадку заднего вагона, подхватываемые такими же опоздавшими, и пробыли там до ближайшей стоянки. Потом нашли свой вагон и встретились с товарищами, которые весело сообщили, что они нас уже не ждали. Господи, зачем мы за ними бежали?!

От Махачкалы мы бы за день добрались до Тбилиси на попутных машинах или зайцами на пассажирских поездах, но целинная чаша нас бы миновала!

Беда случилась в эту ночь и на следующий день, когда мы проезжали по Калмыцким степям, Астраханской дельте и Западному Казахстану.

Этой ночью дежурными по вагону были мы с Сашей. И пришла мне в голову шальная мысль — а не пошарить ли нам по торбам сокурсников и не поискать ли там чего-нибудь вкусно-го. Ведь все продукты мы должны были сдать в общий котел, а утаивать от товарищей — не по-комсомольски! Стало быть, жаловаться не будут.

Обшарив вещи, мы обнаружили фляжку коньяка, несколько банок икры и много шоколада. Выпили на двоих фляжку, а икры я больше банки съест не смог, по известной причине. Зато шоколаду я «уговорил» до десятка плиток, запивая водой; давился, но ел. Осторожный Саша много шоколада не стал есть. Заснуть после этого я даже утром не смог.

Наутро ребята, конечно же, обнаружили пропажу, но открыто сказать об этом не могли. Зато я на каждой остановке выбегал и пил воду, где мог — из кранов, фонтанчиков, даже лед сосал. А хуже всего то, что на одной из станций мы похитили у мороженщицы бочонок со льдом. Лед был обычный, не сухой, и я сперва сосал его, утоляя мучительную жажду после ночного шоколада. Шоколадный кофеин вызвал сильный жар и приливы крови к голове, и я стал класть на голову лед. Замотал голову полотенцем, как чалмой, а под него, по мере таяния, подкладывал все новые и новые куски льда. Мне казалось, что голова даже покрылась инеем, но я все подкладывал и подкладывал лед.

По Оренбургу я еще, пошатываясь, гулял, а вечером слег с сильным жаром — видимо, простудился. Жар вызвал такую жажду, что я пил любую воду, не разбирая ее происхождения. Под утро к жару прибавился понос, а поезд, как я уже упоминал, шел не останавливаясь. Дверной проем вагона был перегороден доской, чтобы люди при качке не выпадали. И я, зацепившись руками за эту доску, приседал наружу и давал волю поносу. Почти все два дня до Тобола я провисел в такой позе с температурой почти в сорок градусов.

Сорок снаружи и сорок в организме — я чувствовал себя на все восемьдесят градусов. В этом жару и бреде мне запомнилась одна, буквально сюрреалистическая, картина. Мы проезжали в степи мимо двух женщин в юбках до земли и с лицами, густо напудренными мелом или побелкой. Потом уже я узнал, что это делалось для того, чтобы не обгореть на солнце. На этом белом фоне по-клоунски выделялись щедро накрашенные ярко-красные губы. Ребята уже с первых вагонов начали кричать им пош-

лости и делать неприличные жесты. И вдруг, прямо перед нашим вагоном, обе женщины резко повернулись к нам спиной, нагнулись и задрали вверх юбки. Поезд шел очень медленно, и я, несмотря на жар и понос, разобрал все анатомические подробности женского таза сзади, неведомые мне доселе. Позже, в кошмарно-сексуальных сновидениях, я почему-то совмещал ярко-красные губы на мелово-белом лице и эти анатомические подробности в одну картину. Получалось жутковато!

Вечером, уже не помню какого дня пути, мы прибыли на маленькую станцию Тобол, где нас и высадили. Я чувствовал себя все хуже и хуже, лекарств никаких не было, и на ум приходил анекдот, который я раньше считал очень смешным, а в тот момент крайне грустным и страшным.

Вот этот анекдот: «Умирает в больнице человек от дизентерии. Врачи сказали ему, что он безнадежен, и спросили, что передать родным и друзьям.

— Передайте, что я умер от сифилиса! — просит больной.

— Помилуйте, — удивляются врачи, — зачем такая дезинформация?

— А чтобы думали, что я умер как настоящий мужчина, а не как засранец!»

Я, в отличие от того больного, обмануть никого уже не смог бы. Диагноз мой был ясен всем.

Нам велели погрузиться навалом в кузова автомобилей ГАЗ-51 и повезли куда-то. Трясло так, что из одного кузова выпал на дорогу какой-то студент. Его подобрали и поехали дальше. По дороге мы сделали две-три остановки и стояли примерно по часу. Мне эти стоянки были уже ни к чему, и я даже не вылезал из кузова — меня бил озноб и вылезти наружу не было сил.

К утру приехали на какой-то распределитель — барак с нарами, но без матрасов, нам велели ждать, пока подыщут жилье. Я, весь дрожа, еле добрал до нар и лег прямо на доски. До этого, побывав в туалете, я обнаружил, что уже хожу с кровью.

— А ведь ты подохнешь, наверное! — внимательно посмотрев на меня, сказал мой приятель Витька Полушкин, — хоть ты и падала приличная, хорони потом тебя тут! Так и быть, дам тебе лекарства, может, пригодишься еще!

Витька был сыном какого-то союзного военного представителя в Грузии в ранге замминистра. Он мог бы спокойно увильнуть от целины, но не стал этого делать. Отец обеспечил его классными лекарствами, чтобы обезопасить сына. Я забыл название этого лекарства, но помню, что это был импортный антибиотик, целенаправленно от кишечных болезней.

Витька дал мне пакетик с таблетками и аннотацию, где были рекомендации по применению. Днем прекратился понос, а к вечеру я чувствовал себя уже сносно. Я поблагодарил Вить-

ку за спасение и извинился за «чистку» его вещей. Помню, что именно в его рюкзаке мы нашли больше всего деликатесов и фляжку коньяка.

— Если не подохнешь — за тобой ящик водки! — объявил Витька.

Но я не успел поставить ему ящик на целине — он вскоре заболел и был отправлен в Тбилиси. Дома же мы с ним выпили не один ящик водки. Витька, к сожалению, много пил, он постепенно спился и умер еще молодым, причем прямо на улице. Но это было лет через пятнадцать, а пока я понял, что выжил благодаря Витькиному лекарству.

На ночь нас определили в пустующий амбар под номером 628, где уже были нары. Дали по тоненькому байковому одеялу, матрасу, соответствующее белье и подушки. Амбар № 628 принадлежал Чендакскому зерносовхозу, и мы поступили в распоряжение отделения этого совхоза.

Все было бы ничего — я выздоровел, погода была хорошая, только из-за «запасов» зерна под полом в амбаре водились крысы с кролика величиной. Они были здесь хозяевами, мы — гостями. Крысы вынужденно мирились с нами, по-видимому, понимая, что если мы уйдем из амбара, придут местные, которые еще хуже. Но замахиваться, а тем более бить себя — не позволяли: по-звериному скалились и угрожающе пищали. Часто они ночевали в наших постелях, правда, поверх одеяла, внутри почему-то не лезли. Крысы очень любили сало, а мы иногда покупали его у местных. Приходилось подвешивать его к потолочным балкам на проволоке, иначе крысы в момент съели бы это лакомство.

Рядом с амбаром была кухня в виде вагончика, а также туалет, правда без дверей, но со входом, обращенным в поле. Дня через два-три после выздоровления ко мне вернулись прежние сила и наглость. Я подобрал где-то пилу-ножовку, заточил ее на круге с двух сторон кинжалом и сшил из кирзы чехол. Еще я сшил себе широкий пояс из сыромятной кожи, а потом надеялся изготовить с помощью Саши, тоже как-никак штангиста, и самодельную штангу. А пока прицепил к поясу чехол с импровизированным кинжалом.

Штангу мы с Сашей сделали из длинной стальной оси, с посаженными на нее катками от тракторной ходовой части, где катки эти катятся изнутри по гусеницам. Штангу мы поставили посреди амбара и стали регулярно тренироваться.

Витька, спасший мне жизнь, как-то снисходительно отозвался о штанге, назвав ее «жестянкой». Я обиделся и предложил поспорить на две бутылки водки: если она меньше 100 килограммов — выигрывает Витька, а больше — я. Тут же нашлись помощники, погрузили штангу на телегу и гурьбой отправились

в магазин — взвешивать. Выиграл я — штанга оказалась весом 105 килограммов. Витька купил две бутылки водки (уборочная еще не началась и водка пока продавалась), которые тут же и выпили: первый стакан — я, второй — Витька, а остальное выпили помощники.

Витька быстро захмелел, кричал, что зря дал мне дорогие лекарства, что лучше бы я подох, и тому подобное. А когда он заболел (уже не помню, чем) и его отправили домой, оставшиеся матрас, одеяло и подушку я забрал себе, сказав, что Витька «завещал» это добро мне. Матрасы я положил друг на друга, а байковые одеяла сшил по периметру, набив между ними сухое сено. И я оказался прав, что сделал это — грядущие холода я перенес сравнительно легко, по крайней мере, не спал в телогрейке и сапогах, как другие. Саша, как и остальные ребята, спал в телогрейке, критикуя меня за «буржуазную изнеженность».

По праву сильнейшего я вел себя в группе по-хозяйски, но у меня обнаружился конкурент. Это был староста группы — Володя Прийменко, прошедший армию и знавший некоторые приемы самбо. Володя был худ, белоглаз, похож на Иудушку Головлева по рисункам Кукрыниксов, зол и достаточно силен. Мы с ним периодически цеплялись друг к другу, но пока по мелочи. Володя был очень нудным парнем и все доносил нашему куратору — члену парткома факультета Тоточава. Последний был добрым и неплохим человеком, но как партиец должен был реагировать. А как мегрел (Тоточава — мегрельская фамилия), наверное, симпатизировал мне, если это вообще можно было сделать при моем поведении.

Причина моего раздора с Володей была одна — кухня. Не знаю медицинского обоснования этого явления, но после кишечного заболевания неизвестной мне этиологии у меня проснулся бешеный аппетит. Я ел все, что попадет под руку — зерно молочно-восковой спелости, кашу, остающуюся в котле, несъеденные яйца, которых было так много, что и съесть их все оказалось невозможным. Иногда я по ночам вставал, будто в туалет, а сам шел на кухню, вскрывал дверь ножом и быстро поедал оставленные там припасы. Я вынужден был поедать быстро потому, что минут через десять Прийменко, убедившись, что меня нет в туалете, бежал на кухню и мешал мне утолять голод. Какое ему было дело до этого — не понимаю, нудный и вредный был он, и все тут!

А время от времени мы схватывались. Я старался захватить его в свои смертельные объятия, он же предпочитал удары. В конце концов мы сваливались на землю и, как два зверя, катались, пытаясь укусить друг друга. Услышав мат и рычание, ребята вставали и отдирали нас друг от друга. Особенно старался Саша, все еще злой на меня за «буржуазную изнеженность».

Я знал, что Володька «обхаживал» нашу повариху — немку Марту, он постоянно просиживал с ней на кухне. Ребятам это не очень нравилось. И когда Тоточава объявил, что надо назначить ответственного по кухне, то я и Прийменко одновременно выставили свои кандидатуры. Вопрос решался голосованием.

— Он же обожрет вас, вам это надо? — приводил свой довод Прийменко.

— А он будет на кухне трахаться с Мартой, это вам понравится? — приводил я свой довод.

— Пусть подерутся, и кто выиграет, тот и будет командовать кухней! — предложил Гога Тертерян.

Меня ребята не очень любили, но Володю за его доносительство и нудность просто ненавидели. Наша драка была бы для них неплохим шоу. Возражал только Саша, ссылаясь на жестокость такого боя.

Уговаривать нас не надо было. Мы вскочили на нары — а они были вроде площадки 5×2 метра и покрыты матрасами — и сцепились. Мне удалось ухватить противника за шею согнутой правой рукой, которую я дополнительно догibal левой. Прийменко, пользуясь тем, что руки у меня заняты, стал пальцами выдавливает мне глаза. Я пытался укунуть его, бил его коленом в пах, но не помогало. Только когда он стал хрипеть от удушья, а у меня пошла кровь, как показалось, из глаз (на самом деле кровь пошла из носа), нас растащили, как двух питбулей.

Вопрос о «командире» кухни оставался открытым, пока его не разрешил сам Тоточава.

— У вас есть староста, пусть он будет и ответственным за кухню, причем здесь Гулия? — провозгласил Тоточава, и ребята неохотно, но согласились.

Я грозился поджечь кухню, но потом понял, что первым пострадаю от этого сам. К тому же мы стали менять зерно у местных жителей на самогон, сало и другие съестные продукты, и с едой стало легче.

Делалось это так. В то время хлебá убирали раздельным способом — сперва косили и укладывали в валки, а потом, когда зерно недели через две дозревало в валках, подборщиками подбирали и молотили это зерно. Этот метод, пригодный для высоких, крепких колосьев, например, на Кубани, плохо подходил для целины 1958 года.

Колосья были слабые, часто шли дожди, и подбирать жиденькие, прибитые к земле валки было очень трудно. Все комбайнеры понимали это, но было указание партийного руководства то ли области, то ли Казахстана, то ли самого Хрущева — косить враздельную. Мы же с моим комбайнером Толиком на нашей самоходке косили впрямую по диагонали поля — «напрямки»

к какой-нибудь деревне. Там медленно ехали вдоль домов и громко предлагали: «Кому пшеницы?»

Покупатель находился тут же. Мы высыпали ему за забор наш бункер — 11 центнеров, а он давал за это четверть самогона, огромный кусок сала, засоленного мяса, маринованных огурцов и другой снеди. Так что водкой и закуской мы были обеспечены! В свое слабое оправдание могу только, забегаая вперед, сказать, что к середине августа пошли частые дожди, когда подбирать валки было нельзя, а к концу месяца повалил снег, засыпав всю скошенную пшеницу толстым слоем. Только весной такой хлеб частично подобрали и отправили на спиртзаводы. А мы косили «по уму» — напрямую, спасали зерно, отдавая его труженикам деревни, а спирт получали тут же, минуя спиртзаводы. И быстро, и экономично!

Мне постоянно приходила на ум крамольная мысль — а нужно ли было вообще «поднимать» целину? Окупятся ли такие колоссальные финансовые затраты, переброска людских ресурсов, сломанные судьбы людей? Кормила же Россия в 1913 году полмира и без всякой целины. В частных беседах с «бывальными» людьми — и на целине, и в Москве, я получал однозначный ответ: «Не нужно!» Правда, ответ произносился тет-а-тет и шепотом.

А вот на другой, менее глобальный, но более близкий мне вопрос — нужно ли было посылать на целину неопытных студентов со всей страны — я однозначно отвечаю: «Нет!» Не самый худший был наш «призыв» — все идейные, готовые к труду ребята. И что же мы сделали полезного? Скосили малую часть хлебов, которые все равно пропали. Причем за счет совхоза съели столько, что все остались должны не менее чем по тысяче рублей. Кроме того, израсходовали государственные деньги на проезд (будь он неладен!) и обмундирование — телогрейки, сапоги, матрасы, одеяла и пр. Вместо летнего отдыха чуть ли не половина ребят заболела, и на два месяца все опоздали на занятия. А два парня с нашего вагона вообще погибли нелепой смертью. Доходили слухи, что в соседних отделениях совхоза тоже были погибшие — кто от электроточка, но больше всего было убийств со стороны местных и драк с ними. Мы были очень невыгодны местным жителям — работали почти бесплатно, отбивая их хлеб. Да и подворовывать так или иначе им мешали.

Местные несколько раз стреляли дробью по фанерному туалету близ нашего амбара-общезития. Они появлялись со стороны деревеньки, обычно поздно вечером, дожидались, когда кто-нибудь пойдет с фонарем в туалет, а потом стреляли крупной дробью. Дробь легко пробивала фанеру, и несчастный студент мчался обратно в амбар, отправляя свою нужду по дороге.

В амбаре мы заливали ему ранки йодом и выковыривали дробины иголкой или шилом. Жаловаться было некому, да и лечиться было не у кого. Хорошо еще, что ранки были неопасные. После двух-трех случаев я нашел лист железа и прибил его к стенке туалета изнутри. Договорились, что когда прозвучит выстрел, сидящий в туалете должен истошно орать, имитируя ранение. Довольный снайпер шел домой и не придумывал новых способов борьбы с нами.

Как-то «старик» Калашян, двухметровый богатырь Чуцик, Саша и я пошли в засаду в кусты. Дождались, когда местный вышел с ружьем, выбрал позицию и стал ждать свою жертву. «Жертва», с которым мы, конечно же, договорились, надев сапоги, телогрейку и обмотав голову одеялом, несколько раз перебежал с фонарем, привязанным к швабре, до туалета и обратно. Наконец раздался выстрел и тут же — другой. Стало быть, оба ствола — пусты. Мы бросились наперерез стрелку, отгородив его от деревни. Мы ногами свалили его на землю, потоптали прилично, избili прикладом его же ружья, которое потом сломали ударами о пень и бросили рядом. Напоследок я вынул свой кинжал-ножовку, порезал им на «снайпере» куртку и сделал несколько неглубоких проколов в мягкие области — ягодицы, бедра, икры. Стрельба по «бронированному» туалету прекратилась.

Снегопад в конце августа сделал наше присутствие на целине более не нужным, но и вывезти нас по снежному бездорожью было не на чем. Но в конце сентября нашли-таки возможность отправить домой небольшую группу студентов с нашего амбара, а именно шесть человек. Решили кинуть жребий, кому ехать. «Актив» группы — староста и комсорг, подготовили бумажки по числу ребят, написали там шесть раз «да», а остальные — «нет» («да» — едет; «нет» — понятно), скрутили бумажки в трубочки и положили в шапку.

Я, зная честность и принципиальность нашего «актива», не стал участвовать в жеребьевке. Первыми кинулись к шапке друзья «актива», я почувствовал подвох, но, не зная, где его ожидать, вышел к шапке и потребовал высыпать жребии на стол. «Актив» и его приближенные начали возмущаться. Тогда я спокойно вынул свою ножовку из чехла и как можно свирепее процедил: «Всех порешу и скажу — так и было!»

Группе тоже показалось подозрительным поведение «актива» и приближенных, число которых почему-то тоже оказалось равным шести. Я отнял шапку у «держателя» и высыпал бумажки на стол. В глаза бросилось то, что некоторые бумажки были скатаны в ровные трубочки, а некоторые — а именно шесть штук — были согнуты пополам. Развернув согнутые жребии, мы прочли «да», а прямые — «нет».



— Падды! — закричал я, поддерживаемый большинством группы, — своих же ребят кидаете! Сейчас, — и я схватился за ножовку...

«Старик» Калашян (он тоже был в «активе») вдруг выскочил вперед и предложил:

— Нурбей раскрыл подлог наших нечестных товарищей, он молодец! Пусть сам и предлагает — кому ехать, мы согласимся!

«Старик» был хитрым армянином — все согласно закивали. Я почувствовал огромную ответственность, но отказываться было нельзя — ведь я сам хотел ехать во что бы то ни стало.

— Ну, если вы мне доверяете, то, во-первых, поеду я сам. Доводы нужны? — на всякий случай спросил я, обводя всех глазами.

— Нет, нет, продолжай быстрее! — перебил меня Калашян.

— Гога и Руслан поедут — им еще домой на родину нужно заехать, а это не близко. Миша сильно болеет, у него ревматизм, сами знаете, он может помереть в этой стуже. У Саши отец участник войны, он раненый, больной, за ним уход нужен... Я продолжал обводить глазами ребят и натолкнулся на пронзительный взгляд «старика».

«Тьфу, черт, чуть не забыл!» — подумал я и закончил: — Ну и «старик» наш — Калашян, трудно ему в его возрасте. Вот и шесть кандидатур на отъезд! — попытожил я.

Я заметил, как многозначительно обменялся взглядами «старик» и пять его «активных подельщиков». Словесно это можно было выразить так:

Подельщики: «Что, старый козел, продал нас за поездку?»

«Старик»: «Сами вы засранцы, что все так грязно сделали! Если бы не я — морду вам набили бы!»

Наутро нам выделили двух быков Цоба и Цобэ с санями, на которые мы вшестером сели, свесив ноги вниз. Если нужно было свернуть в одну сторону, погонщик кричал «Цоб!», бил палкой одного быка, и тот тянул в свою сторону сильнее. Сани сворачивали. Чтобы свернуть в другую сторону, кричали «Цобэ!» и били другого быка. Дороги до нашего отделения не было, ехать нужно было по полю по глубокому снегу. Опытный погонщик должен был довезти нас до центрального отделения, откуда уже грузовиком — некое подобие дороги там уже было — до железнодорожной станции Джаркуль. А там — куда и как сами хотим — без денег, но с комсомольскими путевками, дающими сомнительное право на бесплатный проезд.

К вечеру мы доехали до центральной, почти отморозив ноги. Там устроились на ночлег в здании конторы, которая на ночь была свободна от сотрудников. Договорились, что утром за нами подъедет грузовик, который должен был остановиться на главной площади центрального отделения. На этой площади

находились сельсовет, магазин, наша контора и большой выгребной деревянный туалет на четыре очка.

Я не зря упомянул о туалете — он, как то ружье, которое висело на стене в первом акте, а в четвертом должно выстрелить. Итак, вечер — это акт первый: туалет стоит на площади между магазином и нашей конторой. А до утра, или акта четвертого, осталась ночь, за которую я совершил свой последний подвиг на целине. Какая-то мистическая ненависть к выгребным, да и вообще азиатским туалетам непроизвольно толкала меня на их истребление.

Спать мы легли в конторе — кто на столе, кто на полу — диванов там не было. Вечером я поинтересовался у «конторщика», размещавшего нас на ночлег, где в конторе туалет. Тот сначала не понял, а потом с улыбкой сообщил, что как выйдешь из конторы — тут тебе везде и туалет.

— Ну а если хочешь с «шиком» — то иди на площадь вон в те хоромы, — и конторщик указал на уже упомянутый, как оказалось, обреченный туалет. — Только туда еще отродясь, кажись, никто не ходил. Для понту его поставили и только!

А ночью мне, как обычно, захотелось по малой нужде. Я взял с собой спички и газеты из конторы, которые свернул в факел для освещения. До туалета я добрался без огня — ярко светила луна. А внутри, сами понимаете, чтобы не свалиться в очко, я запалил факел. Все прошло планоно, и, уходя, я кинул факел вниз, где, по моему разумению, должно было находиться негорючее вещество сметанной консистенции.

Утром, выйдя из конторы, мы обнаружили на площади дымящиеся останки памятника деревянного зодчества эпохи освоения целины. Как оказалось, в выгребной яме вместо, простите, дерьма был мусор, который загорелся от моего факела. Клянусь, я тогда не хотел этого! Хотя я так ненавижу эти уродливые символы неуважительного отношения к современному человеку, что с удовольствием сжег бы их все до одного! В германских туалетах мне хочется пить шампанское, а в наших — особенно в южной и восточной глубинке — заложить фугас!

Мы сели на грузовик и к вечеру были уже в Джаркуле на железнодорожной станции. Ожидался поезд на Челябинск, и мы подобрались поближе к путям, чтобы брать его на абордаж.

От Челябинска, опять же поездом, мы с товарищами благополучно доехали до Сталинграда, денек погуляли там, добрались до Сочи, понежились там на пляже. При этом я попросил товарищей изрисовать мое тело химическим карандашом на манер наколок-татуировок: «Целина», «Не забуду целину», «Привет комбайнерам!», снабдив эти надписи рисунками солнца, восходящего над целиной, комбайна и копны сена в сто-

роне. Так, изрисованный, и прибыл я в свой родной Тбилиси, который встретил нас как героев.

А вскоре прибыли и именные благодарственные грамоты от ЦК Комсомола Казахстана за самоотверженную помощь в уборке богатого целинного урожая! Какую помощь, в какой уборке, какого урожая? Ведь не было ни того, ни другого, ни третьего!

Прощай, целина! Прощай, школа лицемерия, обмана, опасностей, лжи, ханжества, вражды, жестокости, выживания и взаимопомощи! Спасибо за науку, но больше я туда не хочу!

В ДЕРЬМОВОМ КОЛЬЦЕ

Зрелость сразу не наступает. У нормальных людей сначала бывает младенчество, затем детство, за ним — отрочество, а потом и юность, которую энциклопедический словарь трактует как период жизни между отрочеством и зрелостью.

Так вот, обдумав вопрос моего перехода от юности к зрелости, я решил, что этот переход состоялся в конце декабря 1965 года. Таким образом, новый 1966 год я встретил уже не юношей, а зрелым мужем.

«Созреть» мне позволили такие жизненные события, как учеба в институте, спорт, «поднятие» целины, а вскоре после нее женитьба и рождение детей. Женился я, как и следовало ожидать, не на Ире, которая отговаривала меня ехать на целину, а на Лиле, которая советовала как раз противоположное. И которая опоздала на первое свидание на полтора часа. Это говорит о моем большом знании жизни и мудрости в тот период, сравнимыми с таковыми у небольшого, серого, любимого на Кавказе вьючного упрямого животного. И это несмотря на настоятельные возражения моего тренера, а главное, Саши против этого, с их точки зрения, необдуманного шага.

Окончательно «дозрел» я, когда переехал в Москву, поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Без жены, разумеется. И без любимого друга, который остался в Тбилиси.

Жизнь в общежитии, взаимоотношения с людьми различного возраста, общественного положения, мировоззрения и даже пола помогли мне, подобно швейцарскому сыру, получить соответствующую зрелую кондицию и даже символические дырочки в сердце, оставленные любимыми женщинами.

Одна из этих «дырочек» — крупная, еще живая и ноющая, оставлена была любовью к Тане, моей общежитийской подруге и бывшей жене моего лучшего московского приятеля. Но я, забыв, что любовь — не картошка, предпочел сохранить семью и бросил любимую женщину. Оставил я и любимую работу,

любимую Москву, позволив жене увезти себя на «малую родину» — в Тбилиси. Долг для меня — прежде всего! Перед «малой родиной», перед семьей, перед грузинской технической наукой, которая показалась мне несколько поотставшей и требующей моей помощи.

Вот с такими благородными намерениями, в глубине души не веря в их серьезность, я и прибыл в родной солнечный Тбилиси как раз к встрече Нового 1966 года.

«Солнечный» Тбилиси встретил меня морозящим холодным дождем, слякотью на улицах, сырым промозглым ветром, нетопленной коммунальной квартирой и протекающими потолками. Две керосинки, не столько согревающие, сколько «одоорирующие» (понятие, обратное «дезодорированию») квартиру, двое маленьких детей, бабушка, мама и жена в двух комнатах коммуналки, а также старая безногая соседка в крошечной третьей комнатке — все это несколько подрывало мой патриотический порыв.

Я уже не говорю о почти полном отсутствии «в кране» воды, которую, в нашем случае, неизвестно кто выпил. Речь идет о холодной воде, так как горячей в доме и отродясь не было.

Коксовые батареи лимонадного завода нещадно дымили, пачкая сохнувшее на многочисленных веревках белье, которое так проблематично было стирать. Злополучное белье проблематично было не только стирать, но и вывешивать. Чтобы дотянуться до веревок, нужно было перевешиваться через дощатые перила, которые давно сгнили и трещали под натиском бедер вешающих белье женщин. Да, да, именно бедер, а не животов, потому что такой «убийственно» малой высоты были эти проклятые перила.

Одним словом, энтузиазма у меня от приезда на малую родину изрядно поубавилось. Да еще и такая «мелочь» — уже в поезде я понял, что без Тани жить просто не могу. Кому-то это покажется смешным и несерьезным, но такая уж штука — любовь, и на одном усилии воли тут долго не продержишься. Любовь гони в дверь, а она влетит в окно! Но я тешил себя тем, что, дескать, я уже кандидат наук, у меня будет много денег и постепенно соберутся они на покупку кооперативной квартиры, а также на частые поездки в Москву к Тане.

А главное — наука! Я помогу институту, который пригласил меня на работу, и благодарные соотечественники осыплют меня почестями. Вскоре я защищу докторскую диссертацию, и поможет мне в этом мой новый «гросс-шеф» академик Тициан Трили, человек огромного влияния... А уж с жизненными проблемами мне поможет справиться, как он это и обещал, просто «шеф» — зав. отделом Геракл Маникашвили, который просил считать его другом и называть на «ты».

А рядом будет семья — крепкая кавказская семья, которая поможет в трудностях и согреет в беде! И друг мой Саша, который продолжал жить в Тбилиси и работал вместе с моей женой в институте, о котором пойдет речь ниже. И их общий начальник — вышеупомянутый Маникашвили, который, не без помощи моей жены, уговорил меня оставить Москву и приехать на малую родину выручать грузинскую науку.

— Ничего, перезимуем! — не очень-то веря себе, все-таки решил я.

И я, встретив Новый год в кругу семьи, уже 2 января, который тогда был рабочим днем, явился в институт со сложным названием НИИММПМ АН ГССР (Научно-исследовательский институт Механики Машин и Полимерных Материалов Академии наук Грузинской ССР). Или, как его называли сами сотрудники, Научно-исследовательский Институт Химических Удобрений и Ядохимикатов (простите, что из этических соображений не могу привести этой его аббревиатуры!). Явился, чтобы поступить туда на работу и начать выручать грузинскую науку.

Как-то в Москве, перед самым отъездом в Грузию, мне попала газета, кажется «Литературка», со стихотворением поэта Рюрика Ивнева «Я вспоминаю солнечный Тбилиси...». Я не знаю, с чем связаны эти ностальгические воспоминания поэта — то ли он жил когда-то в Тбилиси, то ли просто приезжал туда погостить и попить вина. Но я благородно прослезился, прочтя этот стишок, и уже твердо и бесповоротно решил: «Еду! Покидаю любимую, но не родную Москву, любимую, но не родную Таню, любимый, но расположенный не на родной земле мой институт!»

Спасибо тебе, Рюрик, спасибо! Большое кавказское спасибо за окончательное совративший меня стишок! Больше я стихам не верю — проза, особенно жизненная — как-то надежнее!

Но эти мудрые мысли зрелого человека придут ко мне «опосля». А пока мы с женой, поддерживая друг друга за руки, карабкаемся по скользкой слякоти на горку над Курой напротив здания Госцирка, где и располагался НИИММПМ.

Летом-то туда взбираться — одно удовольствие: кругом зелень, цветы, птички... А зимой — хорошо, если, как обычно, грязь. Но если снег или гололед — тогда хана! Нужно быть альпинистом, чтобы попасть в НИИММПМ по «сокращенке». В обход, по цивиличному пути, дорога туда километра на два длиннее.

Я хорошо знал эту горку — ведь там располагались бывшие казармы, где, начиная с поступления в Политехнический институт, жил мой друг Саша, к которому я часто ходил в гости. Семья Саши как раз в год его поступления в институт переселилась в одну комнату длинного двухэтажного здания казармы.

После поездки Саши с семьей в Киев, когда они поняли, что там им ничего не светит в плане жилья, отец Саши как фронтовик сумел выхлопотать себе жилье в здании бывших казарм. Это было получше, чем в бараке на «том дворе». Да и до Политеха, куда поступил Саша — рукой подать.

В каждой комнате — по офицерской семье. Таких зданий было три, и на все эти три здания — один туалет, правда, большой, как кинотеатр. И такой же интересный — десятки «очков» азиатских «раковин», с двумя кирпичами по бокам дыры. Никаких перегородок в туалете, тут все равны! И пусть молодой лейтенант смотрит прямо в глаза сидящему визави седому полковнику, и пусть бойцы вспоминают минувшие дни. За что боролись и гибли они! — добавлю я от себя.

Я наврал, конечно, что туалет был один. Это мужской — один, но был еще и женский. Говорят, что этот последний был почище — не знаю, не заживал! Но в мужской надо было ходить, надевая специальные «туалетные» резиновые сапоги, которые потом мыли под краном перед входом в казарму. И из этого же крана женщины — жены офицеров — набирали воду в ведра, которые потом заносили в дом.

Но отопление было, уже за это спасибо властям солнечной Грузии! Летом благовония из туалетов достигали зданий НИИМПИМ, благо располагались они рядом с казармами. Но основная «газовая» опасность для грузинской академической науки была не только и не столько в близости к казарменным туалетам. Вокруг академических зданий располагались жилища курдов, исторически избравших горку своим местожительством. Но это не курды потеснили академическую науку, а она — курдов, с доисторических (скажем — с довоенных) времен живших без прописки на этой горке без названия.

Что представляли собой жилища курдов, станет понятно из такого кавказского анекдота: «Армянское радио спрашивают, что это такое: "дом перевернулся"? Ответ: "Это семье курдов дали квартиру на верхнем этаже"». Курды (тогда, по крайней мере) жили либо в подвалах старых домов, либо строили этикие «бидонвили» из досок, жести и других подручных материалов на пустующих заброшенных территориях. Такой «бросовой» территорией была безымянная горка над Курой, напротив другой горки, на которой располагался Госцирк.

Жили курды большими полигамными семьями и внешне чем-то напоминали цыган. Из окна отдела Геракла Маникашвили «лоб в лоб» было видно жилище одной такой семьи, и мы часто снимали ее быт на фото пленку. Например, скандал в курдской семье: подрались две жены какого-то аксакала. На визг и крики жен вышел заспанный, солидного возраста муж в национальном кафтане, сапогах и с пышными усами. Жены давай

валяться перед ним в пыли и царапать себе лица, жалуясь, по-видимому, таким образом, каждая на свою обидчицу. Аксакал выслушал их внимательно, надавал обеим по шее, и те, рыдая и подвывая, разошлись. Мир в семье восстановлен.

Курды работали в большинстве своем дворниками, а также носильщиками на вокзалах или при магазинах. В частности, у нас в доме дворником работал курд Михо. Каждое утро он подметал асфальтированный участок двора внутри нашего дома (между северным и южным полюсами нашего дома, напоминающего по форме подковообразный магнит) и кричал дурным голосом:

— Кто дерьмо ел, шкурки бросал? (Это когда на дворе валялись выброшенные из окон шкурки от яблок, мандарин, гранатов и других фруктов.)

— Кто дерьмо ел, кости бросал? (Это, когда валялись рыбы, куриные, индюшачьи или бараньи кости.)

— Кто дерьмо курил, окурки бросал? (Это когда валялось слишком много окурков.)

Конечно же, вместо высококультурного слова «дерьмо» Михо употреблял его народный синоним. Параллельно Михо работал носильщиком, хотя имел большую нелеченую грыжу, которую он любил всем демонстрировать.

Пользоваться услугами курда-носильщика было очень рискованно. Купит, например, интеллигентная женщина в магазине пианино, а как его до дома дотащить? Автомобилей тогда было мало, все грузовые машины были государственными, воспользоваться ими было очень трудно. А тут подбегает курд и предлагает донести пианино до дома за три рубля (до реформы 1961 года за тридцать, соответственно). Хозяйка пианино соглашается, курд ловким приемом обхватывает пианино ремнем, взваливает его себе на «куртан» (особый жесткий мешочек на спине носильщика) и, переваливаясь на прямых ногах, легко тащит его по указанному маршруту. Но, оттащив всего на квартал, курд кладет свою ношу на землю и отказывается нести дальше:

— Не могу, хозяйка-джан, тяжело очень, добавляй еще три рубля, а то уйду! — и делает вид, что уходит, оставляя интеллигентную даму один на один с неподъемным пианино.

Магазин, где можно было найти еще носильщиков, — далеко, отойдешь от дорогой вещи — ее тут же сопрут и затащат в ближайший двор. Что делать, хозяйка соглашается добавить. Таких псевдоотказов за всю дорогу бывало обычно несколько, и курд «выставлял» хозяйку на сумму, соизмеримую со стоимостью пианино.

Занимались курды и спекуляцией. Не на биржах, конечно, которых тогда и в помине не было, а так, в бытовом и справед-

ливом смысле этого слова. Начнут «давать» в магазине какой-нибудь дефицит (а тогда все было дефицитом!), например, стулья. И тут же у магазина выстраивается очередь в километр. А в очередь обязательно встает какой-нибудь вездесущий курд. И тут же по своему «телеграфу» он вызывает целую ораву курдов, которые пристраиваются к нему. Вот и доставались все стулья курдам, а они тут же перепродавали их гражданам, которым этих стульев не хватило. Вот что такое настоящая спекуляция, а не то, что имеют в виду теперь, придавая этому слову позитивный, и даже несколько героический оттенок.

Поэтому и существовал на Кавказе анекдот, по аналогии с такими известными «перлами», как, например: «Один русский — это водка, два русских — драка, трое русских — партсобрание», и так про другие нации. А про курдов говорились: «Один курд — это ничего, два курда — совсем ничего, а три курда — очередь за стульями».

Одевались курды в те годы, а это почти полвека назад, в основном, на национальный манер. Особенно выделялись женщины, которые повязывали голову цветным платком, заплетая его наподобие тюрбана, кофточки носили цветные плюшевые. Множество юбок надевали друг на друга — брали цельные отрезы тканей, нанизывали на шнурок, как занавески, и затягивали на талии. Верхние юбки были самыми нарядными — из плюша и даже из панбархата. Русские женщины такие юбки называли «татьянками».

Обувь и у женщин, и у мужчин обычно изготовлялась из куска сыромятной кожи, стянутой шнурками, наподобие индейских мокасин; наиболее богатые курды носили мягкие обтянутые «азиатские» сапоги — желтые, коричневые и черные.

Сейчас, ориентируясь на телепередачи, можно заметить, что современные курды, проживающие в Европе, одеваются по-европейски; тогда же, а тем более в Грузии, было иначе.

Интересными были у курдов свадьбы. Где-нибудь в селах или маленьких городах они нанимали крупный грузовой автомобиль — «студебеккер» какой-нибудь или ЗИС-5, и молодые вместе с гостями устраивались в открытом кузове. Какой курд не любит быстрой езды? Грузовик мчит по проселочным дорогам, а в кузове курды отплясывают свой любимый «кочарик». Танцующие сцепляются друг с другом мизинцами, образуя вокруг новобрачных круг, и начинают вращаться туда-сюда под заунывные однообразные звуки зурны.

В Тбилиси же курды выбрали себе свадебным транспортом трамвай. Это куда удобнее грузовика — и ход плавней, и крыша от дождя есть! Одна беда — «кочарик» приходилось танцевать

не по кругу, а растянувшись цепочкой вдоль вагона — от площадки до площадки. На одной площадке располагались «зурначи» — музыканты, а на другой — молодожены. Вот и колесил свадебный трамвай по городу, а в вагоне во всю шумели свадебные песни и пляски, на наш взгляд, правда, весьма заунывные.

Надо сказать, что молодые курдянки (так рекомендует называть женщин этой национальности орфографический словарь) бывают весьма привлекательными, похожими на молодых цыганок.

У нас в школе работала уборщицей миловидная молодая курдянка лет восемнадцати — нередкий персонаж моих эротических сновидений. Мы же, жестокие кавказские школьники, дразнили ее «курдянскими» словечками, смысла которых сами же не понимали:

— Кúrэ вáрэ табикé! — кричали мы и корчили ей рожи, а юная уборщица с перекошенным от злости лицом бегала за нами со шваброй.

— Зоáрэ вáрэ, бóвэ тáго! — тогда заклинали мы, и бедная девушка, схватившись за сердце, падала в полуобморочном состоянии на стул.

Что означали эти слова, я так до сих пор и не знаю, но взяты они из лексикона самих курдов, часто устраивавших громкие перебранки между собой.

Но какая же связь между Институтом Академии наук Грузии, куда я шел устраиваться на работу, военными казармами и курдами, избравшими безымянную горку своим местожительством?

А связь простая — органолептическая (русский язык надо знать!), а конкретно — обонятельная. Туалетов в жилищах курдов предусмотрено не было, а ходить в казарменные туалеты было далековато, да и в сырмятных мокалинах туда не зайдешь, а резиновых сапог у курдов на этот случай не было. Вот и «ходили» они по нужде прямо на безымянной горке, отойдя немного от входа в свои жилища. То есть почти у стен высоконучного академического учреждения, так что институт со сложным названием оказывался в сложном положении, в этакое «дерьмовом кольце», через которое нашим сотрудникам приходилось каждый раз перепрыгивать, идучи на работу.

Сейчас, умудренный жизненным опытом, я подумываю: что, может, прозорливые курды таким своеобразным способом выказывали свое справедливое отношение к той науке, которая «творилась» в стенах института? Но тогда, по молодости, да и по глупости я не мог понять этой сермяжной правды мудрого народа!

КУР В ОЩИПЕ

Итак, попал я в родной город Тбилиси, ну прямо как «кур в ощип». Или «во щип», как тоже говорят. Но я «попал» еще сильнее!

Но до того, как говорить о «щях» или «ощипе», а также о «большой грузинской науке», раз уж я упомянул пресловутую «горку» и здания казарм на ней, расскажу о том, как я ходил в гости к Саше и его родителям. А также откуда брал самодельный, но «фирменный», известный на весь наш «микрорайон» напиток, который я приносил туда с собой в бутылочке.

История эта, как говорится, «родом с детства». Моего, разумеется.

Как-то бабушка принесла домой банку свежих дрожжей — пивзавод был рядом, и там почти бесплатно (пять копеек за ведро) отдавали эти дрожжи. Как я понял, они были побочным продуктом при производстве пива. Люди брали их для разных целей — кому-то в качестве средства от прыщей (в дрожжах много рибофлавина — витамина B₂), другим помогали пополнить. Не удивляйтесь, тогда для моды не худели, а полнели. Осенью, после летнего отдыха, люди спрашивали друг друга:

— Вы насколько поправились?

«Поправиться» — это сейчас означает «опохмелиться»; тогда это означало «пополнить». Люди были настолько истощены, что полнота, как сейчас у некоторых африканских племен, считалась признаком красоты.

— Мужчина полный, красивый... — часто слышал я в разговорах соседа.

Итак, литровая банка дрожжей была передо мной. Сверху образовался приличный слой прозрачного пива. Я попробовал и решил, что по вкусу — это почти настоящее пиво, только очень уж горькое. Из ведра дрожжей литра два такого пива можно нацедить. Два литра пива за 5 копеек — это уже неплохо. Чтобы сделать его вкус менее горьким, я насыпал в него немного сахарного песка. И — о чудо! — пиво «закипело», стало мутным, пошла пена вверх, переливаясь через край банки. Я оставил его отстаиваться на ночь, а утром, когда попробовал его, мне показалось, что я пью вино — настолько крепким оказалось это пиво. Оказывается, я «открыл для себя» древнейший биологический процесс — брожение. Теперь уже я сам пошел на пивзавод и взял целое ведро дрожжей. Я подсыпал в это ведро понемногу сахарного песка и дождался конца «кипения» жидкости. Наконец, настал такой момент, когда добавка сахара уже не приводила к брожению, а жидкость становилась сладковатой на вкус.

Заметил я и еще одну особенность этой жидкости — я быстро пьянел, если даже выпивал только один стакан. Слышал я, что из такой спиртосодержащей жидкости-браги получают чачу или самогон методом перегонки. Как химик-самоучка я быстро освоил этот процесс, и стал делать из браги весьма крепкие напитки. После второй-третьей перегонки водка получалась крепче чачи и без запаха дрожжей.

Так постепенно я пришел к получению спирта-сырца в полупромышленных количествах, с использованием в качестве емкости уже известного медного бака в ванной. Холодная вода по ночам начинала подниматься до нашего третьего этажа, что нужно было для охлаждения пара при перегонке. Неделю я сбраживал брагу, а в субботу, когда Рива сидела в комнате и не имела права ничего делать (как ортодоксальная иудаистка — тогда это было ее новым увлечением!), я с вечера начинал гнать водку. Из ста литров браги получалось до трех четвертных бутылей отличного восьмидесятиградусного спирта.

Ортодоксальный иудаизм Ривы, начавшийся с приобретения христианского имени «Римма», был мне весьма на руку. Всю субботу она почти не выходила из своей комнаты, а если уж выходила, то только бессильно повесив руки вдоль туловища и с печальным образом вековой еврейской тоски. «Нурик, зажги свет. Нурик, потуши свет. Нурик, подай воды», — только и произносила она умирающим голосом, и какое ей дело было до моей браги в медном баке. «Субботу отдай Богу!» — этот еврейский принцип Рива теперь соблюдала жестко, и плевать ей было на мою брагу и водку.

Я понемногу попивал этот спирт, но мысль моя была занята возможностью его сбыта. Своих денег у меня не было, а у мамы и бабушки если их и можно было выпросить, то очень немного.

И я начал экспериментировать. Настаивал на этом спирту все известные мне травы, делал из них смеси, пробовал и давал пробовать «людям». Из всего многообразия напитков особым успехом пользовались два: ром и ликер «Гархун». Ром я готовил таким способом: грел сахар на огне в половнике до плавления и последующего потемнения. Сахар превращался в карамель, я грел дальше, пока карамель не начинала кипеть с сильным бульканьем. Пары карамели чаще всего загорались, я гасил пламя и выливал темно-коричневую густую жидкость в спирт. Добавлял кипяченой воды и доводил крепость до пятидесяти градусов. В таком виде я и продавал ром.

Подбирал по дворам бутылки, мыл их, разливал туда ром, затыкал горлышко пробкой и заливал ее сургучом. Продавал я ром чуть подешевле чачи, и люди брали этот деликатесный напиток, который не стыдно было даже понести с собой в гости. Чача же считалась уделом алкашей. Помню, поллитра чачи стоила около

пятнадцати рублей, а я свой ром продавал по десяти. Сахарный песок в Тбилиси (продукты там были дешевле, чем, например, в Москве, — так называемый «ценовой пояс» был другим) неочищенный, желтого цвета, килограмм стоил 6 рублей, и 8 рублей — рафинированный. Из килограмма сахара получались две поллитры рома. Прибыль составляла более ста процентов.

Ликер «Тархун» получился уникально вкусным напитком. На 80-градусном спирту я настаивал траву тархун (эстрагон), в Грузии очень распространенную и дешевую. Затем разбавлял до 45 градусов и добавлял сахар по вкусу. Получался зеленый напиток дивного вкуса и запаха. Позже я встречал «фабричный» ликер «Тархун». Не могу понять, чем так можно было испортить напиток, чтобы превратить его в густую, маслянистую, пахнущую глицерином отвратительную жидкость, да еще за предельной стоимости!

«Будь проще, — говорил Лев Толстой, — и к тебе люди потянутся!»

Мой «Тархун» был проще фабричного, и к нему действительно тянулись люди, хотя продавал я его по 20 рублей за бутылку. Простая водка в Грузии тогда стоила 22 рубля («Хлебная»), и 25 рублей — «Столичная». Но разве можно было сравнивать мой деликатесный зеленый «Тархун» с «рабоче-крестьянской» водкой! В то время принести с собой водку в гости считалось оскорбительным для хозяев. А ром, ликер — пожалуйста!

И еще одно уникальное открытие сделал я в своих экспериментах по напиткам. Я попробовал приготовить мармелад, но не на воде, а на моем спирту. Желатин, агар-агар, восьмидесятиградусный спирт, любой сироп — все это нагревается на огне, но не до кипения, выдерживается, а затем разливается по формочкам и охлаждается. Потом готовые «конфеты» обсыпаятся сахарной пудрой, чтобы не слипались.

Назвал этот продукт я «гремучим студнем», как когда-то Нобель свой динамит. По вкусу это был обычный мармелад, только чуть более «острого» привкуса. Но после двух-трех конфет человек пьянел, как от стакана водки. Чем это было вызвано, я так и не понял — то ли компоненты мармелада усиливают действие алкоголя, то ли конфета рассасывалась медленно и лучше усваивалась.

«Гремучий студень» очень пригодился мне уже гораздо позже, во время Горбачевско-Лигачевского сухого закона. Я безбоязненно носил эти «конфеты» даже на кафедру, и с чаем они «врезали» не хуже, чем водка. Но наладить производство «гремучего студня» уже тогда, несмотря на многочисленные предложения открыть «гремучий» кооператив, я не решился. А то, глядишь, заделался бы вторым Абрамовичем (прости, Господи!), только по «гремучей» линии! Так вот, возвращаясь к детству, могу сказать, что в последних классах школы я в деньгах не нуждался.

Прозвище мое из Курдгела («Кролика») изменилось на Химика.

«Возьмем у Химика бутылку "коричневой" и бутылку "зеленой"!» — можно было услышать в определенных кругах населения нашего микрорайона. Так почему-то прозвали, соответственно, мой ром и мой тархун. Микрорайон, или по-местному «убан», наш назывался «Клароцеткинский», по названию известной улицы им. Клары Цеткин, бывшей Елизаветинской, где я жил.

Но занятие торговлей мне не понравилось, даже несмотря на доходы. Дело в том, что торговля портит людей, занимающихся ею. Я заметил, что, продавая напитки, готов был заработать даже на товарищах, что деньги начали становиться главным в жизни. И я бросил это «нечистое» занятие.

И вот я, преодолев крутизну (в общепринятом, а не сленговом смысле этого слова!) горки, на которой жил Саша, являлся к нему в гости, неся бутылочку рома или «Тархуна» за пазухой.

Кстати, как раз в один из таких заходов к Саше я поинтересовался наконец происхождением его фамилии. И Саша рассказал мне, что отец как-то затрагивал эту тему.

Какой-то предок его по мужской линии, проживавший в еврейском «местечке» в Белоруссии, поменял свою еврейскую фамилию на звонкую и похожую на русскую — Македонский. Ведь многие еврейские фамилии происходят от географических названий — Варшавский, Гомельский, Бердичевский. Это только фамилии известных людей, а сколько таких еще! Вот так, может, и возникла фамилия Македонский. Или, возможно, кто-то из предков бежал из Македонии, когда ее турки захватили. А может быть, какой-то их предок чем-то напоминал великого полководца — вот и получил прозвище, перешедшее потом в фамилию. Ведь не секрет, что именно таким путем известный советский военачальник Блюхер получил свою фамилию. Предок его, видите ли, на немецкого фельдмаршала — героя Ватерлоо — был похож. Вот и получил прозвище Блюхер. А прозвище перешло в фамилию — так на Руси часто случалось, примеров можно много привести!

Настоящие еврейские фамилии для нашего уха непривычны: Бен Моше, например, или Бен Гурион (сын Моисея и сына льва в переводе, соответственно). В Европе, они становились, наверное, Мозессом и Лайонсом. А в Белоруссии — Мовшовичем и Львовичем. Ну а в России — Моисеевым и Львовым. Вторая фамилия — даже княжеская! А сколько евреев носят фамилии Трубецких и Шереметевых! «Таковá селявá!» — как любят говорить в Тбилиси.

Так вот, Вениамину Яковлевичу Македонскому, или дяде Вене, как я его называл, очень пришелся по душе мой ром. Приходя к ним в гости, я первым делом вручал ему бутылочку.

Он, истошно кашляя, так как осколок военных времен все еще сидел у него в легком, долго смотрел на нее «на просвет» и каждый раз удовлетворенно спрашивал: «Это что, моча святого Давыда?» Я, конечно же, отвечал «да», и дядя Веня громко кричал своей жене: «Маруся, готовь закуску!» Тетя Маруся готовила очень вкусно, хотя и на керосинке, прямо в комнате.

Пока шло приготовление закуски, мы с Сашей говорили о своем, ну а потом все садились за стол. Дядя Веня наливал ром в стаканы — себе побольше, а остальным — поменьше, выпивал, кричал, закусывал чем-нибудь близлежащим и поднимал вверх палец. Это означало — «Чапай» говорить будет, всем замолчать! Если мы продолжали разговаривать, дядя Веня громко перебивал нас словами: «Аналогичный случай произошел в Жмэринке!» — после чего говорил уже сам.

Рассказывал он обычно эпизоды из военной жизни, и войну я представляю себе именно по его рассказам, а не из многочисленных книг и фильмов. И от этого война приобрела для меня отнюдь не героический, а скорее, отвратительный зловещий оттенок, что, видимо, больше соответствовало действительности. Привожу несколько этих эпизодов близко к дяди Вениному изложению.

Эпизод первый: уличные бои в Сталинграде.

«Стоим мы, значит, в Сталинграде, на танковом заводе. Вши, грязь, холод... А тут танк немецкий прорвался прямо в цех и застрелял. Тыркается вперед-назад, вертит башней — выбраться не может. Тут я приказываю моим ребятам: «Пакли мне и солярки!» Я прыгиваю с крановой фермы на танк, обкладываю башню и поближе к бакам паклей, поливаю соляркой и поджигаю. Тут же обратно на ферму — и за автомат. Танк, как раненый таракан, туда-сюда судорожно задергался. Вдруг люк раскрывается и из него выпрыгивают фрицы. Я их всех тут же из автомата и подсек. Считаю — одного не хватает, машиниста, наверное. И вот из танка выстрел раздаётся — люк-то раскрыт, слышно! Машинист, видать, застрелился... Кхе...кхе...кхе...»

Эпизод второй: первая рукопашная атака.

«Обедаем как-то в землянке, и вдруг крик: "Фрицы!" Хватаю винтовку, выскакиваю. Вижу — с десяток фрицев прорвались откуда-то. Стрельба, крики... И вдруг впереди меня высокий, рыжий фриц прицеливается из автомата в кого-то из наших. Я его тут же — штыком в спину! Еле пробил, это только в кино легко, а попробуй пробей такую тушу — кости, мясо...

Поворачивается он ко мне, падает, глаза светлые, а усы длинные, рыжие. Смотрит он на меня, а левый ус — дергается, дергается... Кхм...кххгм...кхге...хрр... Понял я, что это агония у него — и штыком, штыком в грудь, в грудь! Чтобы прекратить, значит, страдания. Закончился бой, спускаюсь в землянку и сдержаться не могу — блюю, блюю... Кхе...кхе... кхе...»

Эпизог третий: в Германии.

«Уже по Германии мы наступаем, остановились на привал у речки, отдыхаем. Вдруг крики слышим, как будто баба орет... Иду на звук, вижу — наш солдат фрица к лежащему дереву прикрутил, штаны спустил ему и хозяйство его, значит, на палку накручивает. Привязал к палке все это и крутит, выворачивает... А немец орет, как баба, благим матом, и газует, газует... Кх...х, хрр-кх, кхги...

— Ты что, под трибунал захотел? — говорю я солдату. — Прекрати сейчас же!

— Как прекратить, — говорит солдат, а сам плачет, — они же, гады, всю семью мою перестреляли и жену изнасиловали перед этим! А вдруг — это он?

— Все равно прекрати, приказываю, — застрели, закопай, как положено — об исполнении доложишь! Кхе...кхе...кхе...»

Эпизог четвертый: взрыв на спиртзаводе.

«Спиртзавод какой-то мы взяли в Германии. На складе — цистерна со спиртом-ректификатом. Что тут поднялось: все бегут — с ведрами, с кастрюлями, фляжками, кто в сапог набирает! А кран-то — один, на всех кранов не хватает! Стали стрелять в цистерну и из дырок набирать. На пол все льется, чуть ли не по щиколотки в спирту. Кхе, кхе, кхе... Чую — дело плохо!

— Отставить, — кричу, — всем назад!

Ноль внимания. Ну, я сам выскакиваю наружу, и деру — от склада. Отбежал метров на пятьдесят — смотрю, а крыша склада бесшумно так подымается в небо, а из-под нее — голубой огонь! Потом только звук взрыва дошел, повалило меня на землю. Вискакиваю — все голубым пламенем объято, никто не спасся из тех, что внутри были. Вот жадность до чего доводит! Кхрр-кхгм, кхе-кхе...»

И дядя Веня наливает из бутылки последнее, «выдавливает» капли, а потом символически «выкручивает» бутылку, как мокрое белье...

— Поехали! — и вышивает последнюю. — Вот она — война-то, а ты кричишь — ура, ура, за честь России! — почему-то говорит он мне. — Не кричи «ура», когда идешь на рать, а кричи «ура», когда идешь... обратно! — изрекал напоследок свою любимую поговорку дядя Веня и ложился отдохнуть на кушетку. Через минуту его страшный храп выгонял нас с Сашей на улицу.

Ну хорошо, попили, поговорили, а теперь о науке. Если вы не позабыли, я приехал в Тбилиси, бросив Москву и, выражаясь языком Козьмы Пруткова, «все приятное, что в ней было», именно из-за этой науки.

И вот мы с женой с разбега перепрыгиваем через упянутое выше дерьмовое кольцо и оказываемся на территории «большой науки».

Геракл Маникашвили встретил нас очень приветливо. Лию послал исполнять свои обязанности младшего научного сотрудника, а меня усадил за стол напротив себя. Предстояло оформление на работу, и я ожидал от Геракла «вводную» — как не продешевить при переговорах с руководством. Все-таки специалист из Москвы с защищенной диссертацией!

Но Геракл начал «гнуть» совсем другую линию.

— Вот ты, блестящий московский специалист, приехал на работу, как тебе кажется, в провинцию. Ты ожидаешь, что тебя осыпят благами — ну, дадут большую зарплату и так далее. Но здесь Кавказ, — и Геракл придвинулся к моему уху, — территория большой кавказской черной зависти! Ты отличаешь белую зависть от черной? Белая зависть — это когда тебе хорошо, а я стремлюсь, чтобы и мне было не хуже. А наша, кавказская, черная зависть — это если тебе хорошо, то я сделаю все возможное, даже в ущерб себе, но чтобы тебе стало как можно хуже! Вот где мы живем! — патетически завершил свой монолог Геракл.

Что-то совсем непохоже на те прелести, которые Геракл рисовал мне в Москве, когда уговаривал приехать сюда. И я впервые, с болью в сердце, пожалел, что выписался из Москвы. Ведь можно было не выписываться, а устроиться сюда на работу временно, как когда-то в Москву. А коли выписался, то кранты — обратно не пропишут — нет оснований! Кто не знает, что такое московская прописка в то время, тот не знает ничего про нашу великую Родину — СССР!

— Как же мне поступать? — с интересом спросил я Геракла.

— Молодец, ты просто молодец, что спрашиваешь меня об этом! Ты мог просто вообразить себя этаким заезжим витязем (Геракла потянуло на эпос!) и сказать руководству: «Дайте мне все по максимуму — иначе я не буду у вас работать!» И они оттолкнут тебя, — Геракл, легонько толкнув меня в грудь растопыренными коротенькими, но толстыми пальцами, показал, как «они» будут делать это, — и всем скажут: «Не имейте дела с этим гордым чужаком — он не отдавать приехал на родину, а забирать от нее!» Все отвернутся от тебя — ты останешься один, и даже я — твой друг, не смогу помочь тебе. Ведь Тбилиси — очень маленький город, здесь все уважаемые люди знакомы и доверяют друг другу! А московскую прописку ты уже потерял — назад тебе пути нет! — будто прочел мои мысли Геракл.

У меня внутри все похолодело — я понял, как стратегически я «лажанулся», а извечный русский вопрос: «Что делать?» пока не давал вразумительного ответа. Зато другой, не менее русский вопрос: «Кто виноват?» предполагал четкий и однозначный ответ: «Виноват только я — чужак на букву "М"!»

— Конечно, у тебя есть родовая вотчина — Абхазия, где, как ты думаешь, тебя всюду возьмут, и квартиру дадут, и деньги большие. Но помни, что если Тбилиси — провинция, то Сухуми — про-

винция в квадрате, и законы там еще более жестокие, чем здесь. Встретить и напоить тебя там могут, но места своего и денег своих никто тебе не отдаст! Да и нужно ли будет тебе это место — главного инженера чаеразвесочной фабрики, например? Академий наук и институтов механики там нет и не будет никогда!

Я вспомнил любимые слова моего московского друга Бориса Вайнштейна: «Все дерьмо, кроме мочи!» и понял, что внутри дерьмового кольца — тоже все дерьмо, но дерьмо в квадрате. Простите за множественную тавтологию!

Геракл продолжал забивать мне баки и дальше, он вошел в раж, на углах его красных мясистых губ появилась пенная слюна. Но я уже не слушал его, а, призвав все свое хладнокровие, констатировал: проигрывать тоже надо уметь! Собрав все мысли и волю в кулак, я решил получить из создавшейся ситуации все, что можно, по-максимуму, а потом уж «рвать когти» назад — в Россию! В Москву, конечно, уже не получится, но главное — в Россию, в любую точку этой любимой и доброй страны, которую я так глупо потерял!

Наш разговор с Гераклом кончился тем, что я написал заявление с просьбой принять меня на работу в отдел мобильных машин (машинистки почти всегда печатали «могильных машин», видно, интуиция подсказывала им истину!), на должность младшего научного сотрудника. Геракл завизировал заявление, и я пошел к руководству оформляться.

Директор института — «малахольный» Самсончик Блядзе — «бюлетенил», и я зашел к его заместителю по научной работе Авелю Габашвили. Замдиректора с библейским именем и княжеской фамилией был похож на недовольного и невыспавшегося льва. Когда я зашел к нему в кабинет, он приподнял гривастую голову от стола и вопросительно-грозно посмотрел на меня. Я представился ему и подал заявление. Авель закивал головой и пригласил меня присесть.

— Так ты и есть тот московский «гений», о котором здесь все болтают?

Без ложной скромности я кивнул головой.

— Я бы этого не сказал, — снова становясь похожим на недовольного льва, процедил Авель. — Оставить Москву, хороший институт, потерять прописку и поступить на работу к этому идиоту Маникашвили? Это о хорошем уме не свидетельствует, скорее, об его отсутствии!

«Где ты был раньше, Авель?» — хотелось возопить мне, но я только согласно закивал головой.

— К этому трепачу, сплетнику, пьянице, шантажисту, доносчику и дебилу, страдающему манией величия? — продолжил перечислять Авель достоинства Геракла. — Ну, это должно повезти, чтобы так опростолооситься...

— А зачем вы такого на работу взяли? — осмелев, спросил я, в свою очередь, Авеля.

Он улыбнулся страдальческой улыбкой и, немного помедлив, ответил:

— Ты все равно все сам узнаешь, но так и быть, я скажу. Мать этого дебила одно время занимала огромную, — и АVELЬ поднял указательный палец высоко вверх, — должность. Не здесь, а у вас — в Москве. Вот она и обеспечила квартирами всех, кого надо, — АVELЬ снова поднял палец кверху, только немного пониже, — здесь в Тбилиси, и сделали они ему диссертацию, и приняли на работу начальником отдела... Нас не спросили!

— А Тициан... — хотел было вставить я слово, зная, что Геракла устроил сюда на работу именно «великий» Тициан Трили, но АVELЬ перебил меня, рыча, как вконец рассерженный лев.

— Что «Тициан, Тициан»? Ты думаешь, Тициан — святой? Или он всегда был тем Тицианом, что сейчас? Ты полагаешь, на такую, как у него, должность из Тбилиси назначают? И это возможно без помощи из Москвы?

АVELЬ нахмурился и доверительно прошептал:

— Ты только пока не болтай, а через недельку тебе все расскажут, только другие люди. Тогда болтай, сколько влезет! Мы, грузины, добро помним, только всему есть предел!

И замдиректора, не меняя выражения лица, подмигнул мне:

— Гаиге? («Понял?») — по-грузински спросил он меня.

— Диах, батано Авел! («Да, господин АVELЬ!») — на высокопарном грузинском ответил я ему, чем тот, безусловно, был доволен.

АVELЬ подписал мне заявление.

Положили мне как младшему научному сотруднику без ученой степени (для получения ее требовалось еще утверждение ВАК — Высшей аттестационной комиссии, от которой я еще хлебну горя!) 98 рублей, столько же, сколько получали Лия и Саша.

Чтобы подчеркнуть смехотворность этой суммы приведу популярную тогда блатную песенку:

Получил получку я —
Топай, топай,
Девяносто два рубля —
Кверху попой!
Девяносто — на пропой —
Топай, топай,
Два жене принес домой —
Кверху попой!

И так далее...

Если учесть, что со времени написания этой песенки до моего оформления инфляция съела минимум треть суммы, и то, что выражение «попой» в песенке было представлено более жестким синонимом, можно понять, что сумма в 98 рублей была смешной. Килограмм мяса в Тбилиси на рынке стоил 10 рублей (в магазинах его просто не было), мужской костюм — 300—500 рублей. Это уже в магазинах, а на заказ — много дороже. Жизнь в Тбилиси была не менее, чем вдвое, дороже московской. Только разве чачу и местные фрукты-овощи можно было купить дешевле.

Таким образом, наша семья из шести человек с доходом 98 рублей (я) + 98 рублей (Лиля) + 105 рублей (мама) + 36 рублей (пенсия бабушки) была обречена на голод. Мы спасались, продавая то, что осталось после войны и голода 45—47-х годов. Ковры, gobелены, паласы, ценные книги, уцелевший антиквариат — вот наши кормильцы. Помню, маме как-то удалось продать фарфоровый барельеф Рихарда Вагнера, изготовленный еще при жизни композитора, за 150 рублей и мы были просто счастливы. Потом, консультируясь у специалиста, я узнал, что стоимость этой вещи была на порядок больше.

Возвращаясь из института домой и проходя через казармы, я встретил дядю Веню, моющего под краном свои резиновые сапоги после очередного похода в туалет. Мы поздоровались. Дядя Веня долго кашлял, все пытаясь, видимо, «выкашлять» осколок, засевший у него в легких. Но этого у него опять не получилось.

Мне не оставалось ничего другого, как рассказать ему, что я сегодня оформился на работу в НИИММПМ и буду его соседом.

— А сколько положили? — пытливо поинтересовался старый еврей.

— 98 рублей! — уныло ответил я. — Но есть перспективы, — неуверенно добавил при этом.

Дядя Веня некоторое время постоял в задумчивости, покашлял еще, а потом жестко сказал:

— Ты стоишь ровно столько, сколько тебе платят! И сколько мне ни пытались внушить обратное, весь опыт жизни убедил меня в правоте моих слов!

Через несколько лет внезапно умрет сравнительно молодая еще Мария Тихоновна, а старик Вениамин переедет к родственникам в Израиль. Там он овладеет новой профессией — плетением корзин — и станет зарабатывать столько, сколько ему не снилось в бытность майором. Наконец-то израненный героический старец, прошедший с победой от Сталинграда до Берлина, стал стоить столько, сколько заслужил. И, что удивительно, коммунист «дядя Веня» тут же «перековался» в завязатого сио-

ниста. Он стал требовать, по неофициальным, конечно, каналам, чтобы Саша переехал к нему.

Перед Сашей стала дилемма — ехать ли к отцу в Израиль или оставаться в Тбилиси. Дядя Веня был непреклонен — сам он хотел умереть именно на исторической родине. Родина советская, которую он отстаивал, не жалея «живота своего» (да и других частей тела!), видите ли, его уже не устраивала. Тбилиси был для него чужим городом, кавказский менталитет раздражал пожилого еврея-коммуниста. Единственным, кто удерживал дядю Веню в СССР, была его жена Маруся. Но ее не стало, и он уехал.

Но тогда я отговорил Сашу от Израиля и предложил ему уехать из Тбилиси вместе. Но точно в противоположном Израилю направлении. И, как оказалось, там, куда мы с Сашей все-таки уехали, процент еврейского населения был уж никак не меньше, чем в Израиле.

ПРОЩАНИЕ С ТБИЛИСИ

Лето в Тбилиси ужасное! В Ашхабаде из-за сухого воздуха жара в 50 градусов воспринимается легче, чем тбилисские «влажные» 35 градусов. Жена с детьми отдыхала в горном Коджори, я же, сидя на работе, писал докторскую. Кандидатом наук меня уже утвердили, надо было двигаться дальше.

Я сидел перед вентилятором, периодически поливая его лопасти водой из бутылки, и когда шквал брызг прекращался, снова доставал рукопись и писал. За время пребывания в Тбилиси я проделал много теоретической работы — домой идти не хотелось, нередко я оставался в институте и на ночь. Договаривался со сторожем, забегал в магазин, брал бутылку портвейна, два плавленых сырка «Дружба» и «французскую» булку.

Часов до 11 вечера я работал, а потом надувал резиновый матрац, такую же подушку, которые хранил у себя в столе, и гасил свет.

В сумерках, нарушаемых только фарами проезжающих мимо редких автомобилей и загадочным сиянием луны, столь яркой на юге, я пил портвейн и закусывал. Налив стакан, я символически чокался с Таней, улыбающееся лицо которой вырисовывалось передо мной в лунном свете. И только проезжающий подчас автомобиль светом своих фар давал мне понять, что передо мной — пустота.

Выпив вино и порядком захмелев (0,75 л портвейна градусов по 18 — 19), я, улыбаясь, ложился на матрац и засыпал, прижимая к груди упругую надувную подушку, шепотом повторяя: «Таня, Таня!»

К 9 часам утра, когда теоретически должны были приходиться сотрудники (практически они прибывали часа через два-три), я уже был умыт и выбрит. С помощью кипятильника приготавливал себе чай и выпивал его с остатками сыра и французской булки. Ни Геракл, ни молодежь, работающая в отделе, не знала о моем ночном пребывании. Лиле и Саше я говорил правду — что пишу докторскую, а дома кавказские шум и гам мне мешают. Но про-сил об этом не распространяться среди сотрудников.

Иногда я после работы приходил домой и уж лучше бы это-го не делал, хотя чему быть — того не миновать. Ведь оставались еще субботы и воскресенья, когда я хоть и вынужденно, но должен был находиться дома. И вот в один из таких дней, когда я был дома, случилась беда.

В квартире (в наших двух комнатах) стоял непрерывный кавказский крик: то дети «воевали» друг с другом, то не хотели есть, а их заставляли. Понять не могу, почему детей насильно заставляют есть, ведь еда эта идет совсем не туда, куда надо. Неужели здоровый ребенок позволит себе умереть с голоду? Да он живьем съест все, что движется, но только если голоден. А если он сыт, а вокруг сырая, одурачивающая жара, то полезет ли ему в рот бутерброд с толстым слоем масла и жирный сладкий гоголь-моголь?

А у бабушки был свой метод принуждения детей к еде, кото-рый испытывался еще на мне. Она с криком бросалась к хлип-ким и низким перилам веранды и делала вид, что бросается из окна вниз.

— Кушай или я выкинусь из окна! — кричала она и, пере-гнувшись через перила, ждала, когда ребенок, давясь, заглотает последнюю ложку или кусок ненавистой еды, и только после этого слезала с перил.

Я в кошмарных снах видел эту имитацию прыжка в окно, и сейчас нет-нет да приснится такой сон. Я возненавидел ла-кейское слово «кушать», взятое как будто из лексикона персо-нажей зощенковских коммуналок.

— Спасибо, я уже «накушался»! — так и хочется ответить на случающееся иногда приглашение «покушать».

Так вот однажды бабушка, в очередной раз заставляя своих правнуков «покушать», слишком уж перевалилась через перила. Я с ужасом увидел, как ноги ее оторвались от пола и повисли в воздухе. Уж лучше бы меня не было дома или я замешкался, спасая ее от падения! Все случилось бы гораздо быстрее и без мучений! Но я мгновенно подскочил к перилам и втащил ба-бушку внутрь веранды. Разумеется, в ужасе от всего происхо-дящего, я сделал это довольно резко, и она, упав на пол рядом с перилами, стала кричать, не давая до себя дотронуться.

Скорая помощь забрала ее в больницу, а вскоре ее привезли обратно и сказали, что таких больных у них не держат. У нее оказался перелом шейки бедра на фоне сильнейшего остеопороза, о котором никто ничего не знал, и ей оставалось только лежать до конца жизни. А конец этот, как заявил врач, наступит уже через несколько месяцев. Вот и говорю — уж лучше бы я не успел схватить ее и затащить на веранду! Может, это был бы бóльший грех с моей стороны — не знаю, но мучений для всех нас и для нее самой было бы меньше, если бы я не успел.

Жить дома стало совсем невмоготу — ко всему имеющемуся добавилась эта неизлечимая болезнь бабушки. А к тому же еще долго болела, а потом и умерла наша безногая соседка Вера Николаевна. Мама нашла где-то закон, что если освобождается комната в коммуналке и у проживающей там семьи есть право на улучшение жилищных условий (простите за эти мерзкие совдеповские термины!), то комната достается этой семье. Это подтвердил и адвокат, с которым мы посоветовались.

А вскоре к нам пришел в гости «гонец» из райисполкома — за взяткой. Он без обиняков заявил нам, что если мы заплатим ему тысячу рублей (всего-то тысячу — заработок заезжей проститутки за неделю, или мой за год!), то комната достанется нам. А если нет, то тогда вселят жильцов. Таких денег у нас, при всем желании, не было, и мы ответили отказом. «Гонец», паскудно улыбнувшись, ушел.

Мы, не теряя времени, подали в суд. Взяли адвоката, который гарантировал выигрыш, то есть присуждение спорной комнаты нам.

— Вас шесть человек, в том числе двое маленьких детей, один кандидат наук и еще лежачий больной, инвалид первой группы — это дело решится автоматически!

Но «народный» суд отклонил наш иск. Мы подали кассацию в Верховный Суд Грузии. И Верховный Суд признал нашу безусловную правоту. Судья сказал даже, что ему непонятно, почему районный суд отклонил иск — только один кандидат наук, по законам тех лет, имел право даже на неоплачиваемую дополнительную площадь в 20 квадратных метров.

— Поздравляем вас! — сказал мне судья, — приходите завтра утром за решением суда.

Вечером мы «отметили» наш выигрыш, а утром я пошел за решением. Но ни судья, ни делопроизводители не захотели даже видеть меня. Наконец, ко мне вышел прокурор, который был вчера на суде.

— Молодой человек, я вам сочувствую, но ничего не выходит! На суде был представитель исполкома, а сегодня утром позвонили из райкома партии и сказали судье, чтобы он их квар-

тирами не распоряжался. Если не хочет положить партбилет! Вот почему он к вам и не вышел — ему нечего сказать! Все утро он матюгался после этого звонка. Такие уж у нас права! — развел руками прокурор.

Я вышел из суда в мерзейшем настроении. Пришел домой и сообщил новость.

— Спасибо партии за это! — съязвил я маме, и она в первый раз мне ничего не ответила.

Тогда мы нашли «полувыход» из положения. После смерти моего деда Александра Тарасовича в 1963 году его вдова — «тетя» Нелли — осталась жить в их комнате. Так вот, эту комнату она сдала в исполком, чтобы ее переселили в освободившееся помещение в нашей квартире. И тетя Нелли до конца присматривала за бабушкой, до самой ее смерти в июле 1967 года. Вот судьба — бабушка сосватала тетю Нелли за своего бывшего мужа после развода его с богатой и влиятельной второй женой, и у нее на руках умерли и мой дед, и моя бабушка!

А весной 1967 года меня должны были избирать по конкурсу на старшего научного сотрудника, а я был оформлен лишь «по приказу». Я не придавал этому избранию никакого значения, полагая, что оно пройдет автоматически. Но нет — в отдел после Ученого совета пришел Геракл и сообщил мне, что моя кандидатура не прошла.

— Что это означает? — поинтересовался я.

— А то, что пока ты остаешься работать по приказу, но в любое время тебя могут приказом же уволить. А если бы избрали по конкурсу, то пять лет тебя тронуть не могли бы.

Но интересно то, что в конце декабря 1968 года избранного по конкурсу самого начальника отдела Геракла Маникашвили, как миленького, в одночасье уволили с работы «по собственному желанию»! Когда он основательно «достал» всесильного «гроссшефа» академика Трили.

И я горячо благодарю судьбу, которая отнеслась так благожелательно ко мне, что устроила все тридцать три несчастья именно в Тбилиси: «прокатили» с квартирой, не избрали по конкурсу и все прочее. Казалось, судьба сама выталкивала меня — уезжай, уезжай, тебе здесь не место! А я еще чего-то раздумывал!

Но решающий шаг в моем «изгнании» из Тбилиси сделал сам академик Трили. К лету 1967 года я завершил-таки написание моей докторской диссертации. Под видом отчета я оформил ее отпечатку на машинке, изготовление фотографий и переплет за счет института. Получилось около 600 страниц — это был перебор, но в любой момент можно было «лишние» страницы перевести в приложение.

Печатных трудов в это время у меня было около ста. Была и теория, а главное — был эксперимент — скрепер из кандидат-

ской диссертации и грузовик с гибридом. А кроме того, именно в период работы в Тбилиси мне удалось изготовить и успешно испытать в Москве в институте ЦНИИТмаш несколько супермаховиков. Заявку на это изобретение я подал еще в мае 1964 года, опередив на несколько месяцев первую зарубежную заявку на супермаховик.

Одним словом, это была полноценная законченная докторская диссертация, и я ее принес академику Трили в одно из его посещений института. Я положил этот толстенный фолиант перед академиком и в изысканных выражениях попросил «моего руководителя, столь много сделавшего для меня», найти время и посмотреть эту работу на предмет защиты ее на Ученом совете в Грузии. Я приоткрыл обложку и показал написанные на титуле слова «Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук» и далее «Научный консультант — академик Трили Т. Т.»

Батони Тициан не дотронулся до фолианта. Я заметил, что он даже спрятал руки подальше, чтобы ненароком не притронуться к нему. Слово фолиант, как криминальные деньги, был припудрен специальным красителем (кажется, родамином) для обнаружения лица, взявшего их.

— Зачем тебе докторская, ты ведь уже кандидат?! — наивно улыбаясь, спросил Трили.

Я захлопнул фолиант и положил его к себе в портфель. Все! Мне в Грузии делать нечего, надо «рвать когти», пока не поздно, пока не устроили какой-нибудь провокации, чтобы уволить по статье или сделать другую гадость.

Среди «гадостей», которые мне делали, уже была такая иезуитская штукавина, о которой сегодня молодежь и подозревать не может. И которая была одним из «шедевров» совдеповского давления на ученых, а в Грузии (подозреваю, что и в других местах с аналогичным менталитетом) этот «шедевр» применяли и для пополнения списка трудов тупых научных начальников.

Эта штукавина называлась «акт экспертизы-рецензии». Допустим, написал научный сотрудник книгу, статью, заявку на изобретение. Но чтобы их подать, соответственно, в издательство, журнал или Комитет по делам изобретений, нужен был упомянутый «акт» о том, что материал не содержит государственных тайн и действительно принадлежит автору, то есть не украден у другого лица. А подписывала этот акт комиссия во главе с кем-нибудь из руководства института, университета или другого предприятия, где работал автор.

Так вот, почти все мои статьи и изобретения эта комиссия «заворачивала», пока я не приписывал в авторы впереди меня кого-нибудь из руководства, как минимум, Геракла. Мне при-

ходилось изыскивать невероятные приемы, чтобы опубликовать свои материалы. Не буду их описывать, они не будут адекватно восприняты нормальными современными людьми, а людям из прошлого они сейчас не пригодятся. Так что каждая моя статья или заявка на изобретение, сделанная в НИИМ-МПП, давались мне не только умом, но и «кровью».

Поэтому в августе, когда похороны бабушки были уже позади и наступил отпуск, я, забрав с собой свой фолиант, необходимые документы, сел на самолет и полетел в город Тольятти — «прообраз города коммунистического будущего», как писали о нем в газетах.

Почему именно в Тольятти? Я нашел в газете «Молодежь Грузии» рекламку, где писалось, что молодой Тольяттинский политехнический институт, заинтересованный в привлечении научно-педагогических кадров, принимает на работу с предоставлением квартир лиц с учеными степенями и званиями.

Тольятти — это город молодых, Тольятти — это будущая автомобильная столица страны, Тольятти — это великая русская река Волга, наконец. А главное, Тольятти — это Россия, где перед тем, как тебя соберутся «давить», ты хоть успеешь пискнуть. А в Грузии — и пискнуть не успеешь!

Я рассказал Саше о моем «секретном» плане бегства из кавказского «плена», и он одобрил его. Более того, он сам, тоже будучи «кавказским пленником», готов был бежать со мной, если я ему там подготовлю «плацдарм». И мы, совсем как толстовские «кавказские пленники» Жилин и Костылин, начали готовиться к «побегу». Кстати, Саша уже в год окончания политеха, когда я уехал учиться в аспирантуру, поступил на заочное отделение Московского финансово-экономического института и успешно учился там.

Итак, я еду на разведку в Тольятти.

Из аэропорта Курумоч я на такси быстро добрался прямо до Тольяттинского политехнического института, который располагался рядом с автостанцией, на улице Белорусской, 14.

Институт был открыт, и я, разузнав, что где, поднялся в приемную ректора. На мое счастье, сам ректор оказался на месте. Я попросил секретаря доложить о посетителе — кандидате наук из Тбилиси, который хочет поступить в институт на работу. Ректор, грузинский мужчина лет пятидесяти, сам, широко расставляя ноги, вышел из кабинета мне навстречу и пригласил войти, постоянно повторяя:

— Милости прошу, милости прошу!

Я успел прочесть на табличке, что ректора зовут Абрам Семенович Рубинштейн. Это несколько озадачило меня: впервые мне встретился ректор российского вуза — явный и незака-

муфлированный еврей. Дело было при Брежнев, и еврей на такой высокой административной и педагогической должности — это что-то новое и необыкновенное.

Я показал Абраму Семеновичу мой фолиант, который он перелистал с большим интересом.

— Да это сплошная теоретическая механика! — заметил он. — Знаете, — он почему-то перешел почти на шепот, — сейчас у меня кафедрой теоретической механики заведует человек вообще без ученой степени, он оформлен по приказу (как мне это было знакомо!). Полгодика ознакомьтесь с педагогической работой на кафедре в должности доцента, — ведь вы никогда не работали в вузах, — а там — на заведующего! У нас в Тольятти — все быстро! — улыбнулся «дядя Абраша», как я его сразу прозвал про себя. — Квартиру дадим возле соснового бора, в километре — пляж на Волге, в десяти минутах хода — институт! Зарплата хорошая, по НИСу можете подрабатывать — четыреста рублей, как минимум! Милости прошу!

Ректор забронировал номер в гостинице, выделил мне автомобиль и приказал водителю показать мне город. Наутро была назначена новая встреча, где я должен был сделать окончательный выбор.

Водитель первым делом свозил меня на пляж. Прекрасный песчаный пляж на Жигулевском водохранилище (Жигулевском море). На той стороне живописные горы — Жигули. По пляжу бродят прекраснотелье загорелые блондинки-волжанки, от взгляда на которых вскипает кровь южанина. Затем стройплощадка нового автозавода. Огромная территория, где сотни копров забивают в песок железобетонные сваи. Здесь будет завод-гигант!

И напоследок — институтские жилые дома, белокаменные девятиэтажки на самой опушке соснового бора. Сосны — хоть сейчас на мачты — прямые и высокие!

Показав все эти прелести Тольятти, водитель завез меня в гостиницу, где я без волокиты оформился в забронированный прекрасный номер. Я выпил заготовленный заранее портвейн, закусил фруктами и принял горячую ванну. Из крана шла горячая вода — это тебе не Тбилиси, где и холодной-то не дождешься!

Утром я с удовольствием написал заявление с просьбой допустить меня к конкурсу на замещение вакантной должности доцента по кафедре теоретической механики. Представил копию диплома кандидата наук.

— С характеристикой заминка... — витиевато начал я, но «дядя Абраша» перебил меня. — Не беспокойтесь, я все понимаю! Ну кто захочет, чтобы от него уходил хороший сотруд-

ник — вот и не дают характеристику, поэтому мы принимаем документы и без этого.

Ректор с интересом рассмотрел мой паспорт, нашел место, где фигурировал знаменитый «пятый пункт», и облегченно вздохнул: «Слава богу!» Заметив мой интерес, он продолжил:

— Слава богу, что вы не еврей, а ведь внешне так похожи! За каждого нового еврея мне делают кровопускание в горкоме партии. Устроили здесь синагогу, говорят! Действительно, у нас перебор евреев, а ведь на все есть свои квоты. И чего они только сбегаются сюда — ума не приложу, может, потому что ректор — еврей?

И «дядя Абраша» хитро улыбнулся мне, даже подмигнув...

Но мне пришлось немного огорчить «дядю Абрашу». Я рассказал ему, что у меня есть близкий друг — инженер и вдобавок экономист, которого я очень хотел бы видеть рядом с собой в Тольятти. И вот этот друг как раз-то — еврей!

Ректор сделал озабоченное лицо, поглядел в потолок.

— Инженер-экономист, говорите, — повторил он, — очень нужная специальность! Особенно имея в виду связи со строящимся автозаводом. Что делать, придется взять грех на душу! Но только после вашего приезда. Вместе похлопочем — куда и как устроить вашего друга. Но квартиры без ученой степени не обещаю!

Мы расстались почти по-дружески. Ректор обещал немедленно сообщить телеграммой результаты конкурса.

— Милости прошу, милости прошу! — с этими словами он проводил меня до двери, энергично пожимая мне обе руки.

А в сентябре мне пришла телеграмма из Тольятти: «Вы избраны по конкурсу на вакантную должность доцента кафедры теоретической механики тчк сообщите приезд тчк ректор».

Надо было готовиться к отъезду. Ехать решил пока я один, а когда получу квартиру, «выпишу» семью. На работе сказал, что еду строить автозавод в Тольятти, чтобы не подбросили «подянки» в Политехнический.

Я подал заявление об увольнении с шестого октября — как раз в день моего рождения. На месяц меня имели право задержать на работе, но получилось все иначе. Видимо, директор или Абель сообщили Трили, так как он срочно вызвал меня к себе в Президиум Академии. Я никогда не видел его таким сердитым.

— Ты что дурака валяешь, корчишь из себя обиженного! — почти кричал на меня Трили. — Прикажу — как миленькие проведут тебя по конкурсу. Чего тебе здесь не хватает? Завод захотелось построить в этой России, на колбасе и водке жить?

Я не совсем понял эту последнюю фразу — «на колбасе и водке жить». А здесь я что, на икре паюсной и на шампанском

живу? Но я промолчал и, улыбаясь, заметил, что решил участвовать в стройке коммунизма и ему, Трили, как коммунисту должно быть близко это и понятно. Трили аж рот раскрыл от моего лицемерия, но сказать ничего не решился. Мы попрощались, и я ушел.

В последний рабочий день 6 октября я пришел на работу ровно в 9 утра, чтобы не было повода подловить меня за опоздание. Хотя это и был день моего рождения, тем не менее подянки я там ждал постоянно. Но я не узнал отдела. В большой комнате стоял празднично накрытый стол, на котором были расставлены грузинские яства и возвышался бочонок вина. Пораженный этим событием, я спросил, по какому это поводу.

— По твоему поводу! — был ответ сотрудников.

До сих пор не могу понять, что они отмечали — мой ли день рождения, радость или утрату в связи с моим отъездом? Восток — дело тонкое!

Одна из сотрудниц отдела — Аллочка Багдоева, много лет спустя рассказала мне, что я, посмотрев на этот стол, покачал головой и философски заметил:

— Эх, при жизни бы так!

Но я сам этой моей реплики не помню.

Я забрал трудовую книжку и другие документы в отделе кадров и снова, уже уволенным и «независимым», пришел в отдел. К тому времени туда прибыли не ведавшие о готовящемся торжестве и поэтому припоздавшие Лиля и Саша.

Были тосты за мой день рождения, за успех, за то, чтобы «обо мне было слышно», и все пожелали, чтобы в России мой «писк» был бы услышан, если там меня надумают-таки «давить».

По грузинскому обычаю после поедания вареной телячьей лопатки — «бечи», на этой плоской кости, как на доске, каждый ручкой написал свое пожелание. Я эту «бечи» возил с собой повсюду, где пришлось жить, и часто рассматривал пожелания. Особенно понравилось мне такое: «Помни Грузию — мать твою!» Кто писал, уже не помню, но делал это он, видимо, искренне. Хотя было понятно, что родной язык писавшего — отнюдь не русский!

Что ж, буду помнить Грузию, вовек не забуду — твою мать!

Глава 3

НА СВОБОДЕ



В ЖЕНСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

«Тольятти, Тольятти, в тайге и на Арбате — тебя я не забуду никогда!» — это слова из гимна городу, сочиненные, кажется, сыном ректора Левой, моим будущим студентом-отличником и хорошим парнем. Действительно, Тольятти я не забуду никогда — почти три года, проведенные в этом городе, были ярким этапом моей жизни. Я впервые столкнулся с совершенной самостоятельностью в жизни. В Тбилиси была семья, с ее мнением приходилось считаться, было много знакомых, родственников и товарищей. Мой ближайший друг Саша, наконец. В конце концов, я первые лет двадцать моей жизни непрерывно прожил там, худо-бедно, но знал законы тамошней жизни, местный менталитет. В Москве рядом были мои благодетели — научные руководители Федоров и Недорезов, уберегавшие меня от очень непродуманных поступков, была моя любимая Таня, наконец, там жил мой дядя.

А здесь — все ново! Начиная с самого города, который частично построен на территории бывшего Ставрополя на Волге, большей частью затопленного Жигулевским водохранилищем. Если переплывать водохранилище на катере, то под водой, как в сказочной Винетте, были видны затопленные дома и другие постройки. Мне казалось, что я видел даже затопленную церковь с крестами на маковках.

В Тольятти, как и в Ставрополе, постоянно дули ветры, часто несущие с собой пыль, и сторожилы шутили: «Раньше был Ставропыль, а теперь — Пыльятти!» Совершенно неожиданно может разразиться гроза с ураганными порывами ветра, страшными молниями и градом, а через полчаса — снова светит солнце.

Новым было и странное имя города — российского и не маленького, названного в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Может, из-за того, что завод большей частью был куплен у итальянцев? Но ведь у итальянцев-капиталистов, а не голодранцев-коммунистов! Вот и назвали бы, например, в честь основателя концерна «Фиат» — Аньели. А то — ни с того ни с сего — Тольятти! В Италии его почти никто не знает, а тут ог-

ромный город имени неизвестного дяди с трудновыговариваемой фамилией. Нет, пора переименовывать!

Новым, совершенно неожиданным оказалось у меня и местожительство — поселили в отдельной комнате, как ни странно, женского студенческого общежития. В других общежитиях, видите ли, свободных комнат не оказалось! Комната моя была на втором этаже двухэтажного деревянного дома, так называемого барака. В коридоре, на кухне, в холле у телевизора — одни девицы. Вроде бы и хорошо, но это — студентки, а на студентов — табу!

Заходил я на кафедру, познакомился с заведующим — пожилым человеком без ученой степени со странной фамилией — Стукачев. Звали его Михаилом Ильичом. Остальные преподаватели тоже были без ученых степеней, кроме одного, прибывшего прямо к началу занятий — в конце августа.

Прибыл он из Еревана и фамилию имел тоже странную — Поносян Григорий Арамович. Панасян, Полосян, Погосян — слышал, а вот Поносян — нет. Может быть, при регистрации рождения где-нибудь в армянской глубинке ошиблись буквой. В школе, наверное, «Поносом» дразнили. А может, по-армянски это очень благозвучная фамилия; «Серун», например (или «Серум»?) — по-армянски «любовь», а по-нашему — черт знает что!

Так этот Поносян имел степень кандидата наук, работал доцентом в каком-то вузе Еревана и, как он признался мне, приехал из-за квартиры. Григорий Арамович был лет на пять старше меня, полный, сутулый, с грустными черными глазами, в которых отражалась вековая скорбь вечно угнетенного армянского народа.

Он был очень обрадован, что я тоже с Кавказа: «Родная душа, — говорит, — будет с кем поговорить! — и тихо предупредил: — со Стукачевым не откровенничай, он оправдывает свою фамилию!»

Стукачев собрал лекторов кафедры и предложил поделиться со мной «нагрузкой». Лекторы мялись, не желая отдавать своих «потоков», а поручить вести за кем-то из неостепененных преподавателей семинары кандидату наук было неэтично. А Поносян предложил вообще не загружать меня до весны, дескать, пусть новенький освоится и подготовит свой курс лекций. На зарплате же это не отражалось — тогда все получали ставку, независимо от нагрузки.

На том и порешили, и я был очень рад этому — не надо было готовиться к занятиям. Так и «болтался» по общежитию, по городу, начал тренироваться в зале штанги при институте. Поносян жил в другом — преподавательском общежитии, расположенном далеко, а мое фактически было во дворе института.

Но день ото дня мне становилось все скучнее и скучнее. Ни одного приятеля, а главное — приятельницы! И начал я потихонечку попивать в одиночку, дальше — больше. Вот так, начиная с утра, наливал себе в стакан грамм сто водочки и шел на кухню жарить яичницу. В столовую или ресторан в Тольятти тех лет не пробьешься — километровые очереди. Сажу в своей келье, слушаю, как мимо моей комнаты ходят студентки, а шлепанцы их — «хлоп-хлоп» по голым пяткам. Я аж дверь запираю, чтобы ненароком не выскочить, не схватить какую-нибудь из тех «голопяток», да затащить в комнату и изнасиловать. А там — хоть трава не расти! И наливал новую «дозу» в стакан. Такой образ жизни до хорошего не доводит, и я совершил экстраординарный поступок.

Нет, я не изнасиловал студентку в тапочках на босу ногу, еще хуже — я повесился. Но в качестве веревки использовал кожаный пояс от пальто, сшитый, как оказалось, из кусочков кожи. Пояс порвался, и я с грохотом упал на пол. На этот шум пришел сосед снизу — Гена Абросимов, с которым я ранее знаком не был, и увел меня к себе в комнату. Там я и познакомился с Наташей Летуновой — доцентом с кафедры химии, которая в это время была в гостях у жены Геннадия — Лены. Наташа была женщиной молодой, красивой и пьющей — мы с ней быстро нашли общий язык. И спать я пошел в эту ночь не к себе на второй этаж, а к Наташе — на первый. Господь увидел, наверное, что я отчаялся, и помог мне.

При этом дав мне новое испытание: Наташа сильно пила, и я пил вместе с ней. Но время от времени я заходил-таки на кафедру, чтобы сотрудники меня не забывали. Кроме преподавателей на кафедре работали три лаборанта: секретарь — жена доцента с соседней кафедры, а также двое мужчин — безногий ветеран войны Менандр Евстратович Олеандров (Поносян постоянно путал и называл его «Олеандр Менандрович») и молодой, чрезвычайно мрачный и молчаливый парень — Коля Мокин, пришедший сразу после армии.

Когда на кафедре собиралось много сотрудников, я веселил их анекдотами, которых помнил множество. Народ хохотал, только один Коля Мокин сидел молчаливый и мрачный, даже не улыбался, хотя анекдоты внимательно выслушивал. Но вот я перешел к анекдотам на армейскую тематику. Рассказываю один из них: «Солдат, слушающий анекдот, смеется три раза: когда рассказывают, когда поясняют и когда доходит. Офицер смеется два раза: когда поясняют и когда доходит. Генерал смеется только один раз: когда поясняют — до него не доходит!»

Ну, все посмеялись, а Коля все сидит мрачный, сдвинув густые брови, о чем-то думает — шевелит губами. Прошло минут пять,

все уже забыли об анекдоте, как вдруг стены кафедры сотряс громopodobный смех Коли, чего раньше от него никто и не слышал.

— Ха-ха-ха! — громко смеялся Коля, а потом, закончив смеяться, отчетливо проговорил: — Да, Нурбей Владимирович, вы не лишены чувства юмора!

На этот раз стены кафедры сотряс коллективный гомерический смех всех сотрудников, дивившийся так долго, что к нам в дверь стали заглядывать из коридора. Когда я уходил, Григорий Арамович, провожая меня до vestibюля, сказал напоследок:

— Как весело с тобой, будто находишься в родном Ереване! Зашел бы в гости, так хочется выпить с кавказским человеком!

Мне и самому хотелось выпить с коллективом — Абрисимовы (это Гена и Лена) почти не пили, а вдвоем с Наташей пьянствовать скучно, хотя мы и делали это каждый день. И я спросил у Поносяна, можно ли мне прийти с подругой из нашего же вуза, на что получил резко положительный ответ. Когда я сообщил Наташе, что мы приглашены к Поносяну в гости, она отнеслась к этому настороженно.

— Ты хорошо его знаешь, ведь к выпивке у нас в институте особое отношение — почти сухой закон?

Я слышал, что «дядя Абраша» нетерпимо относится к пьянству, на партсобрании разбирали даже чье-то «персональное дело» за выпивку — об этом гласило объявление в vestibюле. Но мы ведь идем к кавказцу, почти к родственнику!

Заложив три поллитровки в карман кожаного пальто, подпоясавшись отремонтированным поясом и взяв под руку мою Наташу, я отправился в гости к Поносяну. Он жил, как я уже говорил, в преподавательском общежитии, но, как оказалось, в одной комнате с другим доцентом, молодым и общительным Гавриловым с кафедры философии.

Мы презнакомились друг с другом, я вытащил три бутылки из одного кармана, что поразило хозяев, и мы начали выпивать. Почему-то Поносян после первой же рюмки пить отказался — привык, говорит, к вину, да и вообще сегодня печень побаливает. Наташу это, опять же, насторожило, но я шепнул ей на ухо: «Больше останется!»

Пили в основном я с Гавриловым, да и Наташа — чуть-чуть. Как поется в песне, «выпили мы пива, а потом — по сто, а затем начали — про это и про то!» Коснулись мы того, что в институте — одни евреи. Поносян заметил, что все заведующие кафедрами — евреи, что нам здесь ничего не светит; он сам, например, собирается получить квартиру и снова тут же вернуться в Ереван, а квартиру обменять на ереванскую.

— Так что, если ты собираешься получить кафедру, забудь об этом, найдут какого-нибудь еврея! — доверительно сказал мне Поносян.

— А как же Абрам обещал мне через полгодика? — возмутился я.

— Да он всем обещает, и мне обещал то же самое! — признался Поносян.

И тут меня понесло — я и так, и этак поносил ректора, а за ним и всех институтских евреев. Даже затронул ректорскую маму, чего, правда, сам не помню.

— А какой он развратник — ты себе не представляешь! — добавил Поносян. — Был, понимаешь, в санатории в Кисловодске, да не один, а с молодой любовницей — вот с их кафедры, — и Гриша указал на Гаврилова.

Тот засмеялся:

— Ну и шутник же ты, Гриша, да ей еще и тридцати нет, не верю!

— У меня доказательства есть — фотографии! В том санатории мой двоюродный брат главным врачом работает, вот он их и сфотографировал на память. А потом фотки эти мне передал, узнав, где я работаю: «Если будут обижать — покажешь, — говорит!»

Но когда Гаврилов посерьезнел, Гриша рассмеялся и превратил все в шутку.

Выпил я у Поносяна сильно — Наташа еле довела меня домой и положила спать в моей комнате — в таком состоянии я был ей уже бесполезен. Студенток мы не стеснялись, все были в курсе наших дел. Я спал часов до одиннадцати, пока в комнату не постучала дежурная и не сообщила, что меня срочно вызывают к ректору. Не предполагая ничего плохого, я быстро оделся и через полчаса был уже в приемной. Ректору доложили, и я зашел.

— Разговор будет плохой, — сразу предупредил меня Абрам, — знайте, что у нас городок очень маленький, а институт еще меньше! Вчера вы при сотрудниках института ругали меня матерно и ругали всех евреев — что плохого я или другие евреи вам сделали? Ведете развратный образ жизни, пьянствуете — и это при студентах в общежитии. А нагрузки почему себе не взяли — так вы приобретаете преподавательский опыт? Я недоволен вами — немедленно исправляйтесь, если хотите вообще у нас работать! Друг ваш, которого вы вызываете сюда, тоже пьет? — вдруг вспомнил ректор.

Я поклялся, что это не так, и получил-таки разрешение на приезд Саши к весеннему семестру.

Вышел я от ректора так, как будто меня окатили — нет, не холодной водой, а ушатом дерьма. Кто донес? Наташе же это самой невыгодно. Поносяну — тоже, ведь мы ректора ругали вместе. «Гаврилов! — вдруг мелькнула мысль. — Он коммунист, на кафедре философии все коммунисты; он не ругал ни

ректора, ни евреев. Как бы он не сказал ректору про фотографии, что у Гриши!

Я немедленно разыскал Поносяна, для этого мне пришлось даже вызвать его с занятий, и рассказал ему о происшедшем.

— Точно — Гаврилов! — поддакнул мне Григорий, — ведь они на кафедре философии все «сексоты» — секретные сотрудники, — расшифровал он это слово, видя мое недоумение. — А с фотографиями — это я пошутил, ты сам смотри — никому про это!

Наташе я рассказал про визит к ректору уже после работы, она была очень раздосадована.

— Ну все, теперь мы оба у начальства на крючке! Не хотела туда идти, чего ты и меня потащил? Теперь тебе никогда не получить кафедру, а мне — должности замдекана по воспитательной работе. Хотела подработать немного! Уверена — донес Поносян! Морда у него отвратительная, не выпил ни капли, да и заинтересован он, чтобы ты кафедру не получил. Он на место завкафедрой метит!

Саша прибыл в Тольятти сразу после Нового года, когда отец его уже находился в Израиле. Я встретил его на автостанции Тольятти, что была в двух шагах от института, уже в конце рабочего дня, и мы тут же вместе зашли к ректору. Даже не «отмечаю» прибытия!

«Дядя Абраша» долго «прощупывал» его, в том числе и на предмет пьянства, и чувствовалось, что тестированием остался доволен. Договорились, что Саша будет работать на кафедре экономики, а жить — в том же женском общежитии, что и я. Ректор написал об этом записку коменданту общежития. Довольные, мы идем на выход из института.

Я инстинктивно пощупал себя за левый нагрудный карман — моя фляжка была при мне. Водка, правда, нагрелась, но для встречи — в самый раз! Взяв за руку покорного Сашу, я вывел его на лестницу. Мы поднялись на последний четвертый этаж и по пролету прошли к чердаку, подальше от народа. Вечерело, на лестнице было темно и безлюдно.

— Из горла будешь? — тоном, не терпящим возражений, спросил я Сашу, вынимая фляжку из кармана.

Саша удивленно рассмеялся, по привычке сощуриив глаза.

— Ты знаешь, не пробовал никогда. Да и опасно — ректор! Но запретный плод сладок — буду! — уверенно заявил он.

Я отвинтил крышку и попробовал сам. А то дам человеку гадость какую-нибудь. Нет — водка как водка — температуры человеческого тела. От такой — не простудишься, да и берет лучше, чем холодная. Меня невольно передернуло от теплой водки, но я успокоил Сашу.

— Это я по привычке, а так водка — ничего! Покупал как «Особую». Не отравишься!

Саша неумело обхватил горлышко фляжки своими полными губами и начал медленно пить, страдальчески поглядывая на меня. Нет, его не передернуло, он мужественно отхлебнул примерно треть фляжки, а она была точно на поллитру.

— Больше не могу, — взмолился он, — а то домой не дойду!

Я допил остальное и вытряс по привычке последние капли в рот, завинтил крышку и спрятал фляжку в карман.

— «Спутник агитатора» называется, — сообщил я Саше, — не думай, что это только название мерзкого журнала, на который нас здесь постоянно заставляют подписываться. Моя фляжка — лучший «спутник агитатора». Вот сагитировал же я тебя выпить из горла — первый раз в жизни! Это фляжка такая — особая!

Я привел Сашу в общежитие, нашли коменданта, выбрали комнату на втором этаже, недалеко от моей. Выдали белье, застелили постель. Потом «отметили» вселение, и я оставил Сашу отдыхать с дороги. Поцеловались на прощание — и я был удивлен такими мягкими и нежными губами у мужчины. Хотя вот так прямо в губы я раньше с мужчинами, даже с Сашей, не целовался. Может, и у меня тоже губы были такими мягкими и нежными. Все-таки нам было тогда по 27 лет — совсем еще юноши! А после поллитры с гаком и вообще все кажется нежным и пушистым!

Попрощавшись с Сашей, я пошел к своей Наташе, которая к тому времени уже вселилась в двухкомнатную квартиру неподалеку. И получил сюрприз — оказалось, что я подхватил «дурную» болезнь, называемую в переводе с английского «туристом». Несколько дней меня уже мучили подозрения, но это у меня случилось впервые, и не мог же я предположить, что подхватчу «туриста» от кандидата наук, доцента, без пяти минут замдекана по воспитательной работе? Моя ученая подруга, видите ли, по пьянке отдалась водителю, который перевез ее домой из аэропорта. А шоферюга к тому времени уже «напутешествовался» сам. И сегодня сообщила мне об этом. Вот так и стал я следующим «путешественником».

Если бы Саша подъехал в Тольятти чуть раньше, то я не получил бы нервного срыва от одиночества, не стал бы вешаться, а стало быть, и не познакомился бы с моей грешной любовью — Наташей с кафедры химии. И не подцепил бы дурной болезни, и не стали бы мы с ней заниматься самолечением, делая друг другу уколы кашей из бицилина, замешанной на кипятке в блюдечке. И не настаивал бы я Наташе фингалов под глазом за то, что она не «давалась» сделать себе укол.

Но все это уже случилось. А кроме того (беда не приходит одна!), внезапно приехал из Могилева, где он служил, муж Наташи — майор с пистолетом в кобуре. О существовании этого мужа Наташа просто «не успела» мне сообщить. И позвонил он в дверь как раз в то время, когда мы, два ученых доцента, мило и беззаботно плескались в ванной в Наташкиной квартире. Хорошо, Наташа успела захлопнуть дверь прямо перед его носом, и он ночевал у соседей.

Я сумел-таки уйти живым и прибежал поплакаться к моему другу Саше. Ускользнул я из Наташиной квартиры часов в шесть утра, а к семи уже был у Саши. Поплакался ему в жилетку, рассказал обо всем: о моей болезни, о самолечении, о фингале под Наташиным глазом и о ее грозном муже. Саша долго и весело смеялся, щуря свои медовые глаза, и отпаивал меня чаем. Водки у него не было, да и мне с утра и перепугу не хотелось. К тому же я еще с вечера толком и не протрезвел.

Узнав, что я всю ночь не спал, а спасался от майора, Саша уложил меня в свою постель и посоветовал поспать. Сам он уходил часов в девять на занятия, почти на весь день. У меня же этот день был свободным. Я очень удивился, когда он стал укладывать меня в свою постель, даже зная про мою болезнь. И высказал ему это свое удивление.

— Триппер передается только половым путем, — ласково улыбаясь, пояснил мне Саша. — Но мы же не собираемся этим с тобой заниматься, не так ли? Да или нет? — смеялся Саша, теребя меня за недавно отросшую бородку (я, приехав в Тольятти, отпустил себе бородку «а-ля Владимир Ильич»).

Весь вечер я провел снова с Сашей — муж Наташи уезжал в свою часть в город Могилев только на следующее утро. И я был, как говорится, не при деле. Выпили, как водится. Разговор зашел о бабах. Ну, я мою Наташку отmaterил за все — за измену, за триппер, за непредвиденный приезд мужа, за испуг, от которого запросто можно схватить импотенцию. Осложненную, к тому же, самолечением от триппера.

А Саша про своих баб все помалкивает. Только улыбается загадочно. Но на мой прямой вопрос ответил, что не было, дескать, бабы у него — и все тут. Девственник он в свои-то годы. Почему только раньше я об этом его не спрашивал?

— Постой, а как это у тебя там не взрывается? — забеспокоился я. — Ведь если нет выхода детородной жидкости, то давление возрастает и емкости могут полопаться. Одна или обе сразу. Как, к примеру, мочевого пузыря, если выход из него закупорить?

— Нет, что-то пока взрывов не было! — успокоил меня Саша.

— Понял, понял! — хлопнул я себя по лбу, — прости, не догадался. — Ты, небось, давление понемногу стравливаешь ручками-то. Ну, как все, да и я тоже, когда ничего не светит. Лев Толстой, говорят, высказывался, что, дескать, все мужики занимаются онанизмом и только один процент скрывает это.

— Ты знаешь, — задумчиво проговорил Саша, — можешь мне не верить, но я почти не занимаюсь этим. Почти! — добавил он. — А давление стравливаю я своим способом: засыпая вечером, я представляю себе в воображении целый сюжет с красивой женщиной. Ну, попадаем, допустим, мы с ней вдвоем на необитаемый остров. В теплом климате, разумеется. Еды вокруг — навалом, пальмы финиковые, кокосовые, банановые и тому подобное. Вода ключевая рядом, канистру со спиртом на берег кораблекрушение выбросило — во сне-то можно! Живем так неделю-другую как друзья-товарищи. Постепенно моя соседка начинает нервничать, ластится ко мне, как кошка в течке. Я — ноль внимания, не замечаю ее потуг — и все. И, наконец, она, как фурия, с горящими глазами нападает на меня, сшибает с ног, прыгает на меня сверху и... насилует! Я для проформы сопротивляюсь, отворачиваюсь от ее поцелуев, но вот она побеждает и торжествует в своем оргазме... А оргазм, причем настоящий, наступает-то во сне у меня! Просыпаюсь я в сладкой истоме, тело сводят оргастические судороги. И лужица махонькая образуется, которую я тут же заботливо вытираю полотенцем. А сон-то какой крепкий и сладкий после этого! И вот ты — со своим допотопным онанизмом! Грубо все это, неинтеллигентно! — хохочет Саша, замечая возникающее у меня, простите за нерусское ученое слово, либидо от его разговоров.

— Ну, ты даешь! — восхищаюсь я. — А я-то, если и вижу такие сны, редко, правда, то все больше сам кого-нибудь насилую. Без оргазма, конечно, — с сожалением признаюсь я.

— Да, дикарь ты, кавказец, тебе бы только насиловать все, что шевелится! Небось и козочки красивые снятся, и мужики женственные? — подначивал меня Саша.

— Козочки, мужики женственные? — мучительно вспоминаю я. — Нет, вроде бабы только. Лиц не помню, а вот, — я подыскиваю слово, так как Саша не переносит вульгаризмов, — «диссертации» — вот такие здоровые, метр в поперечнике!

Мы оба хохочем и наливаем очередную дозу.

— Саша, а как же любовь? Ведь тебе под тридцать, как это ты живешь без любви, одними снами? — заинтересовался я.

— Почему без любви? — задумчиво произнес Саша. — В данный отрезок времени, например, я тебя люблю, — и он посмотрел мне в глаза, уже не прищуриваясь. — Я постоянно думаю о тебе, жду, когда мы встретимся, выпьем, поговорим. Мне очень хорошо с тобой, интереснее, чем с бабой. О чем с ба-

бой говорить-то можно, они же глуповатые, мысли только об одном. Ну, о чем ты со своей пьянчужкой Натахой разговариваешь? Врежете, небось, по стакану, другому, поматюгаетесь всласть, и в койку — триппера́ друг другу передавать! — вдруг рассердился Саша. — Не пойму, что тебя с ней связывает?

А я и сам не очень-то понимал, что. Все это, наверное, либидо проклятое, все по старику Фрейду!

— Послушай, Саша, — задаю я наконец беспокоящий меня провокационный вопрос, — а не ждешь ли ты, когда это я тебя возьму и изнасилую? Чтобы не во сне, а взаправду все? Сам же говоришь, что любишь. Ты знаешь, — вдруг перешел я на воспоминания, — в детстве в меня влюбился один мальчик — Владик. Ему лет двенадцать было, а мне шестнадцать. Так он, когда мы уединялись, целовал меня с жаром, требовал ответных поцелуев. Даже просил обещаний жениться на нем, но не официально, а так — для нас двоих. Хватать пытался за причинные, так сказать, места... Еле от греха ушел, ведь оба тогда несовершеннолетними были! Да ведь ты обо всем этом должен знать, небось я рассказывал еще тогда?

Саша задумчиво слушал меня, видимо, копясь в своих чувствах.

— Нет, — потом осторожно проговорил он, — не хочется мне насилия от тебя, сексуального, я имею в виду. Даже добровольного, без насилия, секса с тобой не хочется. А вот полежать рядом на диване, выпить, позубоскалить, пощекотать себе нервы — это за милую душу! Секс как-то может сразу разрушить всю эту идиллию, мне так кажется. Ты для меня бесполой, не мужик и не баба. Просто друг любимый — и все. Родителей ведь любим мы безотносительно к их половой принадлежности. Братьев, сестер тоже — за редким исключением, конечно. Да и Бога мы ведь тоже любим, причем сильнее всех, но он же для нас — бесполой! Говорят, и на самом деле Иисус Христос был бесполой! Так вот я и тебя люблю, пока, по крайней мере. Думаю, что так оно и останется, а я когда-нибудь и себе бабу найду для настоящего секса. Неужто всю жизнь так во снах и получать оргазмы! Обидно как-то! Вот и будет она меня взаправду насиловать, а я для виду — отбиваться! Конец-то все равно — один, но когда тебя насилуют — это возбуждает!

Я понял, что Саша по натуре был мазохистом. Отличные парни — эти мазохисты — культурные, добрые и нежные! Не то что изверги-садисты, пронеси Господи!

Как предвидел Саша со своей сексуальной жизнью, так оно и получилось. Как в воду глядел. Познакомился он на отдыхе со своей Розочкой, промурыжил ее недели две, пока она его не изнасиловала. Лишила-таки она его девственности под сорок лет! А потом они и поженились. Но это все случится намного позже!

Чем же жил мой друг Саша Македонский? Читал лекции, проводил занятия, занимался наукой. Какой наукой — для меня это было загадкой. Что за экономика может быть при социализме? Как мне говорили профессора-экономисты, вся она базировалась на брошюре Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».

Приведу пример, который может быть особенно понятен посетителям тренажерных залов. Есть так называемый свободный вес — штанга, гири, гантели. Этими снарядами можно делать бесконечное множество движений, они-то по-настоящему и развивают силу и координацию. А есть тренажеры с заданной траекторией движения: вверх-вниз или влево-вправо. Даже замысловатые траектории все равно одни и те же, запрограммированные направляющим аппаратом тренажера. Таким направляющим аппаратом была для нас наша компартия со своей руководящей и направляющей ролью. Наша экономика, опирающаяся на жесткий план таких монстров, как Госплан и Госснаб, могла выдать на-гора гигантское количество, например, никому не нужных, давно вышедших из моды брюк, но она не могла выдать настоящих джинсов.

Что только ни делали покупатели советской «джинсовой» ткани, наконец-то появившейся в продаже. И вываривали ее, и кислотой травили, и на солнце выдерживали, но ярко-синий цвет не менялся. Тип окраски — «прочный», по ГОСТу такому — и хоть расшибись! А джинсы ведь нужны были линючие!

Вот тут-то манипуляции со свободным весом не помешали бы, но не позволял строгий направляющий аппарат партии!

Но Саша находил что-то интересное и новое в экономике, его статьи публиковались, коллеги-экономисты его ценили. Так и защитил он кандидатскую диссертацию еще во время работы в политехе. После занятий Саша или просиживал в библиотеке, или лежал на кровати у себя в комнате и запоем читал книги. Я заметил у него на полу стопку толстых книг, высотой с тумбочку. «Лион Фейхтвангер» — прочел я тиснение золотом на их корешках. В период нашего знакомства он читал, вернее, изучал Фейхтвангера. Что ни говори, а родная кровь все-таки дает себя знать! Несмотря на крещение!

Кстати, о Фейхтвангере. Не могу удержаться, чтобы не сказать пару слов об этом удивительном писателе. Я, последовав примеру Саши, тоже практически «изучил» его произведения. Может, не все, но большинство. Так вот, если хотите знать все о евреях — читайте Фейхтвангера. Начинать лучше всего с «Иудейской войны». А если хотите понять мотивировку поведения, знать причины появления и будущее наших олигархов — читайте «Еврея Зюсса». Если выдержите, конечно, — роман этот очень затянут и нуден. Но призываю вас все-таки прочесть его!

Так вот, я почти каждый день заходил к Саше с непременной бутылкой, и мы, пригубив «нектар», начинали свои сексуально-философские рассуждения. Саша очень любил ликер, он и меня приучил к нему на какое-то время. У любителей ликера своя психология — они скрытны, загадочны и уходят от прямых ответов, но если уж откроют свою душу кому-то, то богатства этой души поразят своей эксцентричностью, какой-то скрытой эротикой. Таков, в принципе, был и Саша.

Когда я наконец-то расстался с Наташей, Саша был очень доволен. Видимо, он боялся, что я так и сопьюсь с ней. И новый мой роман с красавицей-Тамарой с кафедры иностранных языков он приветствовал. Мы вдвоем с Тамарой даже как-то заходили к нему в гости.

А потом мне, как на грех, дали квартиру, приехала жена и весь кайф испортила. Все пошло кувырком, я совершенно потерял голову. Да и Саша ничего путного не смог мне присоветовать.

— Ума не приложу, что тебе следует делать. И семья, конечно, дело святое, да уж Тамара больно хороша. Второй такой не найдешь. И красива, и умна, и деловита! А благородство-то какое — прямо принцесса крови!

Но я остался с женой, а Тамара уехала в Германию и нашла там мужа по имени Фриц. Как это ни удивительно, но именно благодаря жене я «приобрел» новую Тамару — ее подружку, которая так и жила вместе с нами. Жила-то с нами, а спала со мной, правда, в основном, утром, когда жена уходила на работу.

Мы с Сашей живо обсуждали эту тему, похохатывая, смакуя подробности и запивая их ликерчиком. Саша был как бы моей отдушиной, моим духовником в нашей странной с ним религии. А может, такое называется просто дружбой, искренней и бескорыстной. Ну, как у Пушкина, например, с Дельвигом там, или с Кюхельбекером.

СВАРА И ПРОЩАНИЕ С ТОЛЬЯТТИ

Но человек предполагает, а Господь располагает. Получилось так, что пришлось мне из Тольятти «делать ноги». Жаль, конечно, было расставаться с милым другом, но находиться там мне тоже больше нельзя было.

Поставили у нас в квартире телефон — по тем временам это было большой проблемой. Так вот, одним из первых часов в пять вечера позвонил (не поверите!) Михаил Ильич Стукачев и попросил у меня аудиенции. Мы с ним последнее время почти не общались, так как заведующим кафедрой стал Поносян.

И вдруг — просьба о встрече. При этом Михаил Ильич спросил, есть ли у нас магнитофон, потому что у него, по его словам, имеются интересные записи. Магнитофон у нас был, и я даже иногда разыгрывал с его помощью безобидные шуточки: записывал политические анекдоты, рассказанные гостями, и стирал их за бутылку. Но мы с Лилей решили, что Стукачев пьян, иначе для чего он упомянул о каких-то записях? Плясать камаринского, что ли, под эти записи решил? Мы ответили, что магнитофон имеется.

— О, это очень хорошо! — каким-то странным, задыхающимся голосом сказал Стукачев и повесил трубку.

Мы посмеялись, но когда пришел Стукачев, нам стало не до смеха. Время было холодное, что-то двадцатые числа декабря, он зашел в шубе, принес с собой целое облако пара. И прямо с порога упал на колени — как был в шубе, так и упал. Правда, снял шапку.

— Простите старого подлеца, старого стукача! — причитал он и бил лбом в пол.

Мы подняли Ильича (так покороче и поконкретнее!) с колен, сняли с него шубу и усадили в кресло. Он отдышался и, обещая быть правдивым, как на духу, начал свою исповедь, обращаясь ко мне.

— Когда вы пришли к нам на кафедру, все уже знали, что ректор обещал через полгода сделать вас заведующим. Мы совершенно вас не знали, слышали, что у вас готовая докторская и вы шибко грамотный. Помните, вы часто встречались и разговаривали с Поносяном? Вот он и сказал мне, что попытается выведать у вас о ваших планах на будущее — свое и кафедры. А как-то утром он забегает ко мне в кабинет, глаза черные вытаращил: «Дело, — говорит, — есть важное, выведать я у него, этого негодяя, все его планы!» И посоветовал запереть дверь в кабинет, чтобы случайные посетители не помешали. Я чувствую, что сообщит он мне что-то важное, а потом, думаю, от своих слов откажется, и решил: дай запишу его слова на пленку, чтобы потом не отпирался. А у меня настольная лампа в кабинете заблокирована с магнитофоном, уж простите старого стукача, жизнь такая!

«Надо же, почти как у меня — догадливый стукачок!» — подумал я.

— Вот включаю я эту лампу и слушаю его, переспрашивая, чтобы погромче говорил и повторял. Вы позволите поставить бобину с лентой?

Я подготовил магнитофон к работе на воспроизведение на низкой скорости, как и была записана бобина (тогда еще кассетные магнитофоны у нас были в редкость, преобладали магнитофоны с лентой на катушке или бобине, как в фильмах

про Штирлица). Поставил бобину и нажал на клавишу. Качество записи было, конечно, не студийное, но все слова были понятны. Несколько мешал сильный кавказский акцент Поносяна, усилившийся, видимо, от волнения. Реплики Ильича вообще были слышны отлично. Загробный тембр голоса Поносяна усиливал мрачное впечатление от прослушивания.

Вот, коротко, содержание записи:

«Гулиа пришел ко мне в гости с этой пьяницей Летуновой с химии, видимо, она его любовница. Он сильно выпил, язык его развязался; я же не пил совсем и все запомнил. "Мне, — говорит Гулиа, — не нравится, что здесь в институте еврейский притон. Тебе, как кавказцу, открою мой план, думаю, ты поддержишь меня. Я становлюсь заведующим кафедрой, срочно вступаю в партию, защищаю докторскую и получаю профессора. Кроме старого Абрама во всем институте ни одного доктора или профессора. У меня есть рука в министерстве, мы снимаем Абрама и ректором становлюсь я. Горком партии будет только доволен, что ректором станет не еврей. Ну а потом мы разгоним весь этот притон и заменим евреев на кавказцев — грузин, армян, осетин, абхазов, азербайджанцев. Ведь квоты существуют отдельно для евреев, для грузин, армян и так далее! То есть мы можем весь институт сделать нашим! Ну а прежде всего надо избавиться от неграмотных неотесанных преподавателей. Когда я стану завом, я тут же заменю их на моих друзей из Грузии — кандидатов наук, которые не могут там найти достойную работу и квартиру. А первым надо ликвидировать этого Стукачева — он слишком много знает обо всех. Думаю, что он ведет досье на преподавателей кафедры, этого нам не нужно!" И давай поливать матом и ректора, и его нацию, и вас, Михаил Ильич!

Я считаю, — продолжал гундосить магнитофон, — что я сделал вам устное сообщение, и прошу довести содержание моего сообщения до ректора. А через день-два я и сам доложу ему об этом же. Но вы — заведующий и должны оградить кафедру от такого проходимца! Когда буду докладывать ректору, скажу, что сперва доложил вам по субординации и просил вас довести все до руководства. И если вы не сделаете этого, то вы покроете проходимца, значит — и вы с ним заодно! А если ректор не примет мер, то у меня есть хороший компромат и на него!»

— Что я пережил тогда! — продолжил Ильич. — Но все же решил пойти и доложить ректору. Я ведь только сказал, что был у меня Поносян и рассказал то, что вы слышали, предложив донести это до руководства.

Ректор во время разговора не поднял глаз от стола. «Спасибо, идите!» — только и сказал он. А уже на завтра Поносян зашел с докладом к ректору сам, и тот рассказал ему, что я был у него.

— Иуда я, предатель, и поделом мне все! — вдруг запричитал Ильич.

— А что это — все? — переспросил я у Ильича.

— А то, что, сделавшись завкафедрой, он подал ректору докладную о моем служебном несоответствии должности доцента, так как я не имею ученой степени, научных трудов и веду занятия на недопустимо низком уровне. Он посещал мои занятия и сделал такой вывод. Теперь меня не переизберут по конкурсу, а срок избрания — в феврале. На мое место он уже подготовил кандидата наук из Еревана — по-русски почти не говорит, не преподавал ни дня! Так мне и надо, Иуде Искарйоту, предал я вас — и поделом мне! — снова запричитал Ильич, и на глазах его показались слезы раскаивающегося Иуды.

— Спасите старика, слугой верным, рабом буду вам! — и Ильич снова решил упасть на колени, но мы с Лилей удержали его.

— Вот сволочь! — единодушно высказались мы в адрес Поносяна.

— Так, — решительно сказал я, — пишем письмо запорожцев султану, то есть присутствующих — Абраму. Снимем гада Поносяна с должности и посадим туда вашего друга, то есть меня!

Все проголосовали «за».

Я достал пишущую машинку «Москва», вставил туда пять закладок бумаги и посадил Лилю печатать:

Ректору ТПИ тов. Рубинштейну А. С.
копия: в Партком ТПИ
копия: в Профком ТПИ

Заявление

Мы, нижеподписавшиеся, ...

Не буду приводить бюрократических мелочей заявления, скажу только, в чем мы обвиняли Поносяна:

— Принуждение к ложному доносительству М. И. Стукачева на доц. Н. В. Гулиа с непредоставлением конкретных доказательств обвинения (свидетельские показания, магнитофонные записи и пр.).

— Разжигание национальной розни и антисемитизма в ТПИ.

— Сбор компромата на ректора в виде порочащих его фотографий на отдыхе в Кисловодске.

— Попытка несправедливого увольнения опытного преподавателя М. И. Стукачева как невыгодного свидетеля.

Резюме: требование разобраться в ситуации и наказать провокатора — доц. Поносяна Г. А.

Подписались мы втроем.

Наутро Ильич подал в канцелярию заявление и получил расписку на своем экземпляре.

Днем я зашел к заведующему кафедрой «Теория машин и механизмов» Жоресу Самуиловичу Равве, как мне казалось, симпатизирующему мне. И «по секрету» рассказал об антисемитских выходках Поносяна, о его доносе ректору, о сборе им компромата и о том, что я не хочу работать с таким гадом, а хочу — с таким справедливым и хорошим человеком, как Жорес.

— Перейду к вам на работу со своей темой и деньгами по ней! — добавил я. — И еще. После защиты докторской обещаю не подсиживать вас, а претендовать на то место, которое ректор мне и обещал, — на теоретической механике.

Жорес матюгнулся в адрес Поносяна и сказал, чтобы я писал заявление «бикицер», что в переводе с идиш означает «по-быстрее», потому что лекции читать некому.

Саша отреагировал на наше заявление негативно.

— Спустят его на тормозах, а тебе придется отсюда уходить. И снова я останусь один! — уныло проговорил он.

Саша оказался провидцем.

Заявление наше, как и следовало ожидать, «спустили на тормозах». Мне оставалось только уходить из тольяттинского политеха. Мои друзья (Саша и Лида Войтенко) нашли для меня другое место работы — тоже в Политехе, но в курском, причем завкафедрой, и именно теоретической механики. Заручились там поддержкой ректора, и я подал туда заявление на конкурс.

Но мне не давало покоя то, что вся мерзость поступков Поносяна известна в институте только по слухам. Я не мог так покинуть институт, чтобы не заявить об этом громко, причем на каком-нибудь представительном собрании. Да и не только о Поносяне, но и о покрывании его руководством института, о коррупции в приемной комиссии. А председателем ее, кстати, всегда является ректор. Иначе как могли появиться у нас в студентах десятки смуглых «баранчиков», не говорящих по-русски, при таком высоком конкурсе, когда «отсеивались» местные тольяттинские ребята.

Но у меня не было на руках характеристики, необходимой для участия в конкурсе, и я решил эту характеристику получить. Написал прототип, так называемую «рыбу», и, зайдя на прием к ректору, оставил ее, сказав, что хочу попытать счастья в другом вузе. Ректор, не глядя мне в глаза, обещал выдать мне «объективную» характеристику.

— Писать там, что у вас гомосексуальные наклонности? — ядовито спросил меня «дядя Абраша». — Поговаривает народ про вас и вашего македонского приятеля!

— Да тот же «народ» поговаривает о том, чем вы в Кисловодске на отдыхе занимались и с кем! Даже компромат — фотографии этот «народ» мне показывал!

Ректор насупился, но смолчал. Посоветовал зайти к его референту за характеристикой.

И через несколько дней секретарь ректора, пряча глаза, выдает мне уже полностью подписанную характеристику — конечно же, отрицательную.

Сначала, правда, шел текст из моей «рыбы» о том, какие курсы я читаю, сколько у меня трудов, что я веду договорную научную работу и так далее. А в конце двумя строками добавлено, что я неуживчив в коллективе и склонен к кляузничеству, ложным обвинениям в адрес коллег. И опять возник передо мной русский вопрос: «Что делать?»

Я внимательно изучил характеристику — она была напечатана с несколькими орфографическими ошибками, не говоря уж о пунктуации, на рыхлой некачественной бумаге. Я поправил эти ошибки на первом экземпляре, «по-ленински» — фиолетовыми чернилами и перьевой ручкой. Чернила расплылись, и листок выглядел очень непрезентабельно. И тогда я на своей пишущей машинке, на специальной финской бумаге, которая могла выдержать даже стирку в стиральной машине, перепечатал слово в слово всю характеристику, но уже без ошибок.

Снова зайдя к ректору, я предъявил ему экземпляр с ошибками и пятнами правок и новый, перепечатанный слово в слово на белой качественной бумаге. Абрам Семенович тщательно сверил мой текст с предыдущим и, убедившись в его полной идентичности, подписал его. Дальнейшие подписи — парторга и профорга ставились под подписью ректора почти автоматически.

И вот у меня на руках текст, поскольку он отпечатан собственноручно на финской бумаге, его можно и водой стирать, не то что ластиком. Я аккуратно подтер две «лишние» строки и на их место вставил хвалебные отзывы, совпадавшие даже по числу букв: «инициативен, принципиален, склонен к творчеству и организаторской деятельности». Вставил бумагу поточнее в машинку и своим «родным» шрифтом допечатал две сакраментальные строки. После чего срочно отослал характеристику в Курск.

И вот я узнаю, что назначено итоговое открытое партсобрание в актовом зале института, где, между прочим, должны были принимать в партию самого Поносяна.

«Вот сволочь! — подумал я, — а меня-то как отговаривал от вступления туда!»

«Спасибо тебе, Поносян, спасибо!» — повторяю я про себя сейчас, но тогда я здорово окрысился на него за подлость и лицемерие.

Такого случая я не мог пропустить, и утром перед партсобранием, как обычно в последнее время, забежал на Главпочтамт — посмотреть, не прибыло ли мне чего-нибудь до востребования из Курска. Ожидаю автобус на остановке, сидя на деревянной

скамейке, а когда он подошел, встаю и почему-то оборачиваюсь на место, где сидел. И на скамейке ножом крупно вырезано слово «Курск». «Вот мистика!» — подумал я и решил, что сегодня уж точно будет известие из Курска. И действительно, из окошка «до востребования» мне подают телеграмму:

«Поздравляем избранием обнимаем тчк Войтенко»

«Вот что такое: “Радости скупые телеграммы” — теперь я знаю это!» — вспомнил я слова Добронравова из его известной песни на музыку Пахмутовой.

Теперь на открытом партсобрании они услышат от меня все, что я о них думаю!

Я, загадочно улыбаясь, зашел в актовыв зал, и сидящий в президиуме «дядя Абраша», увидев меня, сразу же помрачнел. Галантно раскланиваясь с ним и парторгом Володей — моим бывшим собутыльником, я уселся в первый ряд кресел, обычно никем не занимаемый.

Терпеливо выслушав скучный доклад Володи от итогах учебного года и роли партийной организации в наших успехах, я сосредоточился, когда речь зашла о приеме в партию Поносяна. Кратко выступил ректор, положительно охарактеризовав главного шаромыжника ТПИ, а затем спросил зал:

— Кто-нибудь хочет высказаться? Думаю, что все ясно и так!

— Нет, не ясно! — громко сказала я и, подойдя к президиуму, спросил в микрофон: — А беспартийному высказаться можно?

«Дядя Абраша» что-то заворчал, заворочавшись в своем кресле, но я, не отходя от микрофона, громко пояснил:

— Товарищ Леонид Ильич Брежнев в своем выступлении на (и я назвал где именно!) предупреждал нас, что прием в партию — это не формальный, а принципиальный вопрос, требующий всестороннего обсуждения!

— Пусть говорит! — тихо, но слышно для меня шепнул Абраму Володя.

И я, уже законно становясь на трибуну докладчика, начал говорить столь вожделенную для меня речь. Присутствующие сообщили мне потом, что она напомнила им речь Цицерона против Катилины, хотя откуда они могли ее слышать сами?

Я начал с моего желания честно трудиться на благо ТПИ и о провокации со стороны Поносяна, на что есть свидетели. Говорил о том, что Поносян отговаривал меня от вступления в ряды КПСС, чему тоже есть свидетели, а сам подал заявление при этом. Поносян добился избрания по конкурсу опытного преподавателя, бывшего завкафедрой Стукачева, которого он использовал для опорочивания меня перед ректором. На это имеется заявление, подписанное самим Стукачевым. Поносян, будучи ответственным секретарем приемной комиссии, добился

поступления по конкурсу, достаточно высокому, в наш институт десятков ребят, почти не знающих русский язык. На каком языке они сдавали вступительные экзамены и как они сдали экзамен по русскому языку? А ведь они из той же республики, откуда приехал Поносян. И последнее: Поносян говорил мне при свидетелях, что если ректор будет несговорчив, то у него имеется на него фотокомпромат, касающийся отдыха ректора в Кисловодске...

— Абрам Семенович, — обратился я к ректору, — рассказать, чего именно касался компромат из Кисловодска?

О романе ректора многие знали, и в зале раздался смех. Ректор сидел весь багровый, потупив голову. Поносян же сидел в зале с цветом лица, соответствующим его фамилии. Зал слушал меня с таким вниманием, как будто я открывал им государственную тайну. А ведь почти все этот секрет полишинеля знали...

— Я считаю, что такому человеку, как Поносян, не место в партии, да и в институте, а парторганизация должна сделать выводы и очистить институт от скверны, которая сегодня позорит, а завтра погубит наш институт! Не надо оваций! — в шутку добавил я и, раскланявшись с залом, сошел с трибуны.

Вопреки моей последней просьбе из зала раздались аплодисменты.

— Блеск! Чем не «Квоускве тандем, Катилина, абутере патриенция ностра!» («До каких же наконец пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!») — из знаменитой речи Цицерона против Катилины, — как потом мне заметят об этом присутствующие.

Не ожидая результатов голосования, я покинул зал. Мне с ними больше не по пути! «На Запад, на Запад!» — говорил я себе, имея в виду, конечно же, Курск. Потом я узнал, что Поносяна все-таки приняли в партию при трех голосах против. Один из тех, кто был против, стал потом секретарем парткома вместо Володи; другой — ректором, вместо Абрама Семеновича; третьей была дама, просто симпатизирующая мне.

А интереснее всего то, что спустя несколько лет министерская комиссия проверяла ТПИ и, найдя там массу злоупотреблений, в результате сместила руководство. И возглавлял эту комиссию именно ректор Курского политехнического института!

И как после этого не поверить в торжество справедливости, хотя бы и локальной?

Саша так и не получил квартиру в Тольятти. Жил в своей уютной комнатке в женском общежитии, почитывал Фейхтвангера, слушал хлопанье тапочек по голым пяткам проходящих мимо его комнаты студенток. И смотрел, наверное, каждую ночь свои сексуальные сновидения.

Пришел я к нему в последний вечер перед отъездом с бутылкой шампанского — обмыть отъезд. А он, по обыкновению, поставил бутылочку своего любимого ликера «Роза». Название-то какое! Оно, наверное, и сподвигнуло Сашу жениться именно на Розе. Точно, ликерчик любимый свой, припомнил!

Я был буквально в прострации от предстоящего расставания, а Саша оставался все таким же спокойным и улыбочивым. Он сказал, что Тольятти — это не оптимум для меня. Да и авторитет свой я здесь уже необратимо подпортил. Американцы, дескать, постоянно меняют свое местожительство и работу. А американцы — не дураки! Дураки такой экономики не имеют!

— Жаль только, — подытожил он, — что мы расстанемся! Но я постараюсь пережить утрату. К тому же, — как-то уверенно произнес Саша, — мне кажется, что мы еще встретимся и опять будем вместе. Я даже чувствую, где это будет. Я знаю, куда ты стремишься — ты мне говорил об этом и ты обязательно окажешься там. И ведь я тоже стремлюсь туда же, и обязательно туда попаду. Поэтому и не спешу получать здесь квартиру, чтобы совесть была спокойнее! Сказать тебе, где эта наша земля обетованная, или ты сам догадываешься? И мы в унисон выпалили, как имя любимой девушки, одно и то же, такое вожденное и такое манящее слово «Москва!»

На прощание мы поцеловались три раза, и все три — в губы. Я запомнил горьковатый вкус мягких, по-женски нежных губ Саши, взгляд его прищуренных медового цвета глаз. Тольяттинский, как и тбилисский, период дружбы был лишь прелюдией ко всему последующему, что имело место в нашей с Сашей общей жизни. Там, в далекой и призрачной пока еще для нас Москве!

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Итак, я уехал из Тольятти в Курск, где в Курском политехническом институте мне предложили возглавить кафедру теоретической механики. Инженеры, не забывайте механики, ведь ее почти никто из вас не помнит! Я был не последним из инженеров — кандидатом технических наук, рассчитывал и создавал работающие машины, испытывал их. Студентом всегда имел по механике «отлично». Но я понятия не имел о настоящей механике! Пока не стал заведующим кафедрой, пока не вынужден был снова засесть за учебники механики, причем университетские. Это как все мы в школе из-под палки изучали, правильнее сказать, зубрили, Толстого и других мудреных писателей — а толку-то! Потом, уже зрелыми людьми, мы перечитывали те же произведения и поражались — надо же такое написать и так знать жизнь и людей!

Инженеры, прочтите снова учебники механики, и вы увидите, в каком прекрасном и логичном мире мы живем! Но подозреваю, что мои призывы имеют чисто риторический характер. Продолжу прежнюю тему.

Какое-то время мы с Сашей переписывались длинными письмами; потом я «зашился» со своей докторской диссертацией, а защитив ее в 1973 году, запил и загулял на радостях. Запив и загуляв, я, как и следовало ожидать, развелся с первой женой, и некоторое время вел жизнь странствующего любовника без жилплощади. Был выписан из квартиры, которую мне когда-то выделил Курский политехнический институт, и стал почти бомжом. Бывшая жена, не подумав о последствиях, выписала меня, а уж потом, когда я стал «лицом без определенного места жительства», не могла прописать меня снова — нет оснований! Я и жениться-то «по-новой» не мог без этой прописки, слава советской власти!

А необходимость такая, кстати, назрела. Я «загулял» с молоденькой женщиной, москвичкой Олей, которая искренне и сильно меня полюбила. Любил ли я ее сам? Сказать трудно. Спросите у алкоголика — нравится ли ему шартрез, абсент или еще какой-нибудь «мудреный» напиток, и послушайте, что он вам ответит. К тому времени, когда я надумал, вернее, друзья подсказали, что мне бы неплохо жениться на Оле, я был уже в перманентной пьянке и загуле. Да, Оля мне нравилась, мы уже были с ней любовниками, но сам термин «любовь» в то время стал для меня малопонятным. Сейчас, спустя четверть века после развода, я часто вижу Олю во сне и с большой теплотой вспоминаю о ней. Стало быть, любил, наверное. А сама Оля уже давно отгорожена от меня всей толщей земного шара — ведь она теперь живет в Америке.

Но так или иначе, поженились мы с Олей, и я переехал жить к ней в Москву. А прописку «устроил» мне мой курский друг — проректор политехнического с музыкальной фамилией Алябьев. Он прописал меня в институтском общежитии, откуда я тут же выписался по причине переезда в Москву. И не теряя ни дня, я устроился на работу в Московский индустриальный университет, где по сей день и тружусь.

Жизнь у нас с Олей была современной. Сама она была театральной художницей, ну а я всегда был художником «вольным». Встречи с друзьями, постоянные выпивки. Ее любовники и мои любовницы были, в основном, хорошо знакомы друг с другом, мы все часто подолгу жили вместе в нашей с Олей просторной квартире на Таганке. Нередко наши сексуальные партнеры соединялись друг с другом, и «бросая» нас, и «по совместительству». Весело жили, всем бы так!

А потом Оля решила, что в Америке жить еще веселее. Разведясь со мной, сделала хитрый финт и оказалась в США через Израиль. Квартиру оставила мне, но и я, что называется, в долгу

перед ней не остался. В Америке весело, конечно, но как-то лет через пять Оля приехала погостить в Москву и я едва ее узнал. Нет, внешне она была той же, но поведение разительно отличалось от прежнего. Когда я, на радостях от ее визита, открыл бутылку шампанского, то Оля, ткнув в нее пальцем, на полном серьезе спросила:

— А это сколько у вас теперь стоит?

Я был поражен: Оля спрашивает, что сколько стоит! И я, в свою очередь, спросил ее, почему она вдруг стала интересоваться вопросами, которые ее никогда раньше не волновали. Чтобы Олю когда-нибудь беспокоил вопрос о стоимости того же вина, одежды, билетов на море?.. Вот она, Америка! Все-му научит! Оля ничего на это не ответила, а только вздохнула. И сказала почему-то, что если я надумаю эмигрировать, то смогу рассчитывать на нее...

Ну, мог ли я в этой круговерти писать философские письма в Тольятти к Саше Македонскому? Сам я от него писем не получал, потому что по старому адресу не было ни меня, ни моей бывшей семьи. Казалось, мы с Сашей потеряли друг друга. Выпивая, конечно, я всегда поднимал особый тост за друзей, которые сейчас далеко от нас, нередко пуская пьяную слезу при этом. Да я же думать не думал, что мой друг, который вроде бы должен был быть очень далеко, живет всего километрах в пяти от меня.

И вдруг на работе зовут меня к телефону и я... слышу родной, чуть грустивший голос «потомка» великого царя — моего дорогого друга Саши.

— Это ты, профессор? Рад, что нашел тебя!

— Как, как ты нашел мой телефон, где ты, откуда звонишь? — засыпал я его вопросами.

— Я в Москве, как и ты, — спокойно отвечал Саша, — помнишь, что я говорил тебе в Тольятти, прощаясь? Но по телефону — не разговор, давай встретимся.

Мы договорились встретиться вечером на Таганке у метро, а затем пойти ко мне домой. Я невероятно волновался, весь дергался в ожидании встречи. Как я выгляжу, не постарел ли, ведь десять лет прошло! А какой сейчас Саша — тот ли мой любимый «божок» с прищуренными медовыми глазами или важный сноб с толстым брюшком и большим портфелем?

Но вот на площади у метро я замечаю неизвестно откуда появившегося человека, который должен, обязательно должен быть Сашей! Он стоит ко мне спиной, но эта едва заметная сутулость, опора на одну ногу, с чуть согнутой в колене другой, какой-то сверток в левой руке — это он!

Я его зову, и вот он оборачивается. Конечно, это он, слегка «чужой», но все же он. Правда, меньше рыжих волос на голове,

но зато больше морщинок на висках. Чуть пополнел, как, наверное, и я. Но главное — это он, и я не во сне!

Мы радостно душим друг друга в объятьях.

— Бутылку не разбей, — предупреждает Саша, показывая на сверток в левой руке. — Ликер «Роза» — не забыл? Сумки не оказалось, завернул в газету, — оправдывается Саша.

— Что я слышу — «газету», это что, голос крови? — издеваюсь я.

— Да вот, связался с евреями! А с волками, вернее с Вульфами, жить — по-ихнему и выть! — загадочно ответил мне Саша и добавил: — сейчас все поймешь!

И мы бодро зашагали ко мне домой в Большой Дровяной переулок, дом был в минутах пяти от метро. И за эти пять минут Саша рассказал, что он живет теперь в Москве, у жены с тещей. Женился в 77-м (надо же, в один год со мной! — удивился я!), на женщине по имени... Роза.

— Любимый ликерчик! — поразился я. — И что же, она у тебя такая же сладкая?

— Такая же розовая! — парировал Саша. — Еврейка она, можешь смеяться надо мной, сколько хочешь. Девичья фамилия — Вульф, или Волк, по-нашему. Дочь раввина, правда, папани уже нет в живых, но сама — иудейка, по субботам ни хрена не делает, даже не выполняет своих супружеских обязанностей! Вот от Вульфов-то — вернее от тещи моей, мамы Блюмы — я и усвоил этот местечковый говорок: «газета», «инженэр», «я видела ее идти», «ай, да перестаньте сказать!» и тому подобное. Просто зараза какая-то! Английский почему-то так к языку не липнет!

Я тоже рассказал про себя и про то, что вторая жена, как и у него, тоже оказалась еврейкой.

— Только призналась мне в этом, когда уже стала американкой, — добавил я, — иначе, говорит, ты бы на мне не женился!

Мы дошли до дома, и я показал Саше мою (теперь уже мою!) квартиру, которой мой друг остался доволен. Сели на кухне, поставили на стол наш тольяттинский ассортимент — бутылку водки, бутылку ликера, две бутылки «Боржоми», засыпали варить пельмени.

— Ну, рассказывай, как дошел до жизни такой! — предложил я Саше. — Как телефон мой нашел?

— Нет ничего проще, — ответил Саша, — прочел твою статью в «Науке и жизни», позвонил в редакцию, там дали телефон. Написал бы раньше — раньше позвонил бы! Ты же не читаешь наши экономические журналы, как и я ваше «Машиноведение». А ведь уже почти пять лет в одном городе живем, по одной ветке метро ездим — ведь я в Кузьминках живу, прямо у лесопарка на улице Юных...

— Сталинцев, сталинцев! — перебил я его, чтобы не слышать слово «ленинцев» в названии улицы.

Ленина я терпеть не могу, а вот Сталина — люблю, таков уж я, и ничего тут не поделаешь! И Саша знал про это.

— Хорошо, хорошо, пусть — Юных сталинцев! — миролюбиво согласился Саша. — Так послушай же мою одиссею, как я это в юные ленинцы, тьфу ты, сталинцы, попал.

И он под водку с ликером и сибирские пельмени рассказал мне следующее.

После моего отъезда из Тольятти в 1971 году Саша продолжал работать там же, в Политехническом, аж до 1977 года. А летом 77-го он по профсоюзной путевке поехал на 24 дня в Прибалтику. Путевка была в Юрмалу в пансионат «Дзинтарс», что переводится с латышского как «Янтарь». Вшивенький такой пансионатик, но места вокруг красивые. Питейных точек много, хотя и очереди большие. Кормили три раза в день в столовой, причем столы были закреплены за постоянными посетителями.

И вот за Шашиным столом оказалась молодая дамочка — вылитая актриса Лайза Минелли. Такая же экспансивная и энергичная, такая же темпераментная и эмоциональная и с такими же огромными, горящими глазами. Так вот, эти огромные, горящие глаза она тут же положила на моего друга Сашу. Отчего тому было хоть и сладостно по ночам, но тяжеловато днем — когда надо было как-то реагировать на это внимание. Наконец, Розочка, а это была именно она, пригласила Сашу прогуляться и показать ей окрестности. Ибо она сама, как женщина скромная и даже трусиха (это все в ее «интертрепации»), боится гулять в одиночестве.

С тех пор отдыхающие видели нашу неразлучную парочку везде — и загорающими на пляже, и купающимися в море, которое там везде «по колено», а также в местных барах и ресторанах.

Саша жил в двухместном номере, Розочка — тоже, но договориться по существу вопроса со своими соседями им было неудобно. У Розочки соседкой оказалась старая фря, которая даже в мыслях не допускала подобных просьб. И хотя Розочка периодически уводила Сашу в заросли и целовала его страстно, но одними поцелуями ведь сыт не будешь. Саша-то, хитрец, имел свой способ спускать давление, а вот как быть экспансивной Розочке, которая уже начала терять терпение и постепенно звереть. И тогда она нашла очень толковый выход из создавшейся ситуации.

Близ пансионата была маленькая сауна — на четырех посетителей. Нет, если вас двое, тоже — пожалуйста, только нужно было купить все четыре билета. А стоил тогда билет три рубля на два часа пребывания в сауне. Нужно ли говорить, что компания из четырех, трех, а то и двух человек, могла быть как однополой, так и разнополой. В одиночку туда, правда, еще никто

не ходил, ну а компании из двух и более человек были обычно разнополыми. За исключением редких случаев, когда сауну посещали «розовые» или «голубые».

И вот наша Розочка, или, как ее уже стал называть Саша, — «золотце», покупает четыре билета на очередной сеанс в чудо-сауну и приглашает туда Сашу, а тот простодушно думает, что это обычная сауна с мужским и женским отделениями, ну как в Тольяти. А ведь Латвия — это Европа, почти Германия, и культура там высокая, среднеевропейская. Нет дискриминации людей по половому признаку.

И вот Саша ищет свою мужскую раздевалку, а тем временем хитрая Розочка, кровожадно улыбаясь, запирает на ключ входную дверь сауны, а ключ кладет себе в сумочку. И когда Саша не находит вожденной раздевалки и, недоуменно глядя на Розочку, лепечет: «Золотце, а где же мне раздеваться?» — тут наступает час, вернее почти два часа господства феминизма.

Розочка, она же Золотце, нежно берет Сашу за руку и ведет по коридору мимо парилки в комнату отдыха. Застеленная аккуратная кровать, клеенчатый диван, стол с баллоном газировки, холодильник. Золотце проводит потерявшего дар речи Сашу к дивану и нежно сажает его. А затем сама садится к нему на колени и награждает его таким засосом, что у Саши падает на пол авоська с чистым бельем и банными принадлежностями.

Описывать дальнейшее в подробностях — банально и вредно для здоровья, особенно для лиц, истощенных голодом, преимущественно сексуальным, или длительным воздержанием. Но в общих чертах замечу, что сценарий дальнейших действий влюбленной парочки мало чем отличался от оргастических снов Саши. Некоторые отличия, конечно же, были — сауна не на острове, лежать на спине (Саше) приходилось не на песке или камнях, а на мягкой и чистенькой постельке. Да и под конец не было никаких проблем с удалением махонькой лужицы — в этом просто не было необходимости.

Забегая несколько вперед, замечу, что наше Золотце-Розочка была бесплодной по каким-то органическим причинам. То ли первый аборт виноват, то ли спайки или закупорки какие-то — не будем вдаваться в медицинские подробности, отрицательно влияющие на либидо. Но можно констатировать, что это очень ценное качество женщины, желающей прожить жизнь в свое и своего партнера совместное удовольствие. И Розочка брала от жизни все, что, конечно же, компрометировало ее в глазах общественности и строгой мамы Блюмы. Но ведь в сауне ни мамы Блюмы, ни строгой советской общественности не было, почему бы и не расслабиться в меру возможностей?

После расслабления была парилка, после парилки — небольшой выпивон. Предусмотрительная Розочка взяла с собой

плитку шоколада, бутылку шампанского и две бутылки пива. Ну, скажите, разве не настоящее золотце — наша Розочка? Кто бы отказался от такой спутницы на отдыхе и даже в жизни?

Вот Саша и не отказался. Весь остаток отдыха наша парочка каждый день ходила в сауну, на радость женщине, продававшей билеты и, видимо, имевшей с этого свой процент.

— Какие вы молодцы, какие чистоплотные, как за здоровьем следите! — с латышским акцентом поощряла Сашу с Розой касирша. И обязательно провожала напутствием: «Удачи вам!»

От такой спутницы жизни Саша отказываться не стал. А то, вы бы разве отказались? Хотел бы я видеть мужика, который отказался от такого счастья!

Поэтому Саша и Розочка, не откладывая, сделали друг другу брачное предложение и осенью 1977 года, практически одновременно со мной, мой друг Саша оказался в Москве. И, как я, поселился на квартире у своей жены. Правда, не на Таганке, а Кузьминках, и не вдвоем с женой, а еще и с любимой тещей, которую Саша сразу же ласково назвал «мамой Блюмой».

МАКЕДОНСКИЙ В КУЗЬМИНКАХ

Итак, Македонский-полководец завоевал Персию и женился на дочери царя Дария, а наш Македонский-экономист завоевал Кузьминки, женившись на дочери витебского раввина реббе Баруха. На мой взгляд, достижение второго Македонского куда существеннее и полезнее. Ну кому и для чего нужна эта Персия? Нефть тогда там еще не добывали, а были постоянные смуты и восстания. Морока одна — я бы только в страшном сне мог представить себя властителем Персии. То ли дело — Кузьминки!

Да и женитьба на дочери царя Дария, убитого в боях, — что она дала Александру? Хотел породнить таким образом Македонию с Персией, а затем и народы всего мира. Выходит, президенту Америки следует обязательно жениться на дочери (если таковая имеется) террориста Бен Ладена, и с терроризмом будет покончено? Блажь все это, мечты, халоймес, как говорят евреи — земляки нашего Македонского и его супруги Розы Борисовны (да, да, именно Борисовны, а не Баруховны!) Вульф-Македонской!

А вот женитьба Саши Македонского куда практичнее. Во-первых, Розочка — сама по себе женщина видная и темпераментная. Не знаю, конечно, какой из себя была дочь царя Дария, но наша Розочка все равно лучше всех! Во-вторых, полководец Македонский так и не обосновался в Персии, а наш Саша поселился и прописался в доме своей Розочки. И даже бегал каждое утро в Кузьминский лесопарк на зарядку, так как жил рядом — на улице этих юных безобразников, то есть ленинцев. Так наш Македонский оказался гораздо практичнее их Македонского.

Квартира в Кузьминках была кооперативной трехкомнатной в пятиэтажном кирпичном доме, расположенном почти в самом лесопарке. Раньше здесь жил и сам глава семейства — витебский раввин Барух Вульф, переехавший в Москву под старость лет, а затем ушедший от нас к Аврааму, Исааку, Иакову и иже с ними. Жена раввина Баруха, по-нашему — попадья, Блюма Вениаминовна, пенсионерка, внешне напоминавшая актрису французского кино Анни Жирардо, была женщиной властной, но доброй. Она пыталась воспитать из своей Розочки девушку набожную, работающую, скромную — одним словом, настоящую «аидиш киндер», на зависть всем соседям.

Но замыслы мамы Блюмы оправдались лишь частично. Набожность Розочки выражалась лишь в том, что она носила на шее огромный золотой Магендóвид (шестиконечную звезду Давида) на золотой же цепочке. А также в том, что по субботам она ни черта не делала ни по учебе, ни по хозяйству — только сидела перед телевизором, попивала пиво и закусывала обычно орешками, а на Пасху (пардон — на Пейсах) — мацой. И не спрашивала, кошерное это пиво или нет.

— Всю неделю работай, а субботу отдай Богу! — закатывая свои огромные черные глаза кверху, отвечала библейским текстом Розочка на все попытки мамы Блюмы заставить ее сделать в этот день что-нибудь полезное.

Но тем не менее Розочка окончила тогда Библиотечный институт, что на Левобережной, и даже устроилась библиотекарем, часто меняя место работы.

Что же касается скромности Розочки, то, увы, недоработочка вышла. И в кого она только такой разбитной получилась? Может быть, в младшего брата своего отца — знаменитого витебского хулигана и покорителя дамских сердец Шлему, который таки сел в тюрьму и опозорил всю семью? Почему, собственно, и пришлось этой семье бежать, и не куда-нибудь, а в Москву. Или, может быть, в родственника самой мамы Блюмы — дядю Гади, чаще всего именуемого Гадом, пьяницу и развратника?

Розочка рано оформилась в довольно фигуристую девочку и времени даром не теряла, активно гуляя и со своими сверстниками, и с джентльменами постарше. И уже в одиннадцатом классе вынуждена была сделать аборт, чего не перенес ее папа — раввин Барух Вульф. Да и мама Блюма чуть умом не тронулась, но выдержала. Вот отсюда, наверное, и бесплодие Розочки, которым она активно пользовалась. Пользоваться-то пользовалась, а замуж никто не брал! Мужик-то ушлый пошел — гулять гуляли, а замуж брать красавицу-Розочку никто не решался. Жизнь-то ведь одна — жалко!

И готовилась уже Розочка к участи старой девы, вернее, к одинокой жизни, так как старой девой ее назвать никак было нельзя. И вот ей подфартило наконец-то. В двадцать три годика

повезло взять путевку в прибалтийский пансионат «Дзинтарс». В первый раз Розочка уже бывала в этом пансионате год назад, и он ей очень понравился. Особенно сауна, с которой Розочку тогда впервые ознакомили. Гидом был некий хлыщ из Риги, который опытным глазом сразу приметил готовую к сексуальным приключениям, пышущую женской красотой Розочку. И начались каждодневные заходы в сауну, сопровождаемые приветливым напутствием кассирши: «Удачи вам!»

Думаю, что кассирша не забыла Розочку после ее первого заезда (а нашу Розочку забыть — ну никак невозможно!), но просто из этических и моральных соображений не стала напоминать ей об их знакомстве. Поэтому-то Розочка так хорошо ориентировалась как в преимуществах чудо-сауны, так и в ее внутреннем устройстве.

Одним словом, как говорил какой-то древний мудрец, кажется, святой Августин — делай что должно, и будь что будет! И Розочка не ошиблась, исповедуя эту мудрость. Она постоянно делала что должно, и наконец-то ей повезло с Сашей. И какой замечательный жених-то попался — добрый, скромный, ученый, миловидный, да и еврей все-таки, хотя и «выкрест». Не москвич, правда, но это дело наживное! Квартира, слава богу, есть, на троих хватит.

Саша уволился из Политехнического в Тольятти и переехал к Розочке. Какой-то запас денег у него был на книжке, но с Розочкиными запросами он быстро исчерпался. А работы Саша все не мог найти: в то время доцент получал как министр и очередь за этими местами была лет на двадцать вперед. Сама Розочка получала мало, пенсия мамы Блюмы была и того меньше. А муж — кандидат наук, доцент, и не работает, а только читает свои ученые книги!

И начали жена с тещей «пилить» нашего Сашу. Он обегал и обзвонил все вузы и НИИ, имеющие хоть что-то общее с экономикой, но все тщетно. В те годы было перепроизводство экономистов, как, кстати, и химиков, — работы не найдешь. Устроился было могильщиком на Кузьминское кладбище — благо оно находилось поблизости. Но поступив на работу, Саша впал в ужас. Он никогда не сталкивался с подобным контингентом маргиналов — бичей, бомжей, алкоголиков и других людей, оказавшихся на обочине жизни. Он уволился с кладбища, пришел домой и снова засел за книги.

Розочка и мама Блюма возобновили свой домашний террор — ну не пойдет же Розочка, окончившая вуз, подрабатывать уборщицей! Или, может, маме Блюме, вдове раввина, пойти к синагоге и просить милостыню?

Не выдержав террора, Саша выскочил из квартиры, хлопнув дверь. Был конец августа, вечерело. Саша завернул в лесопарк и в смятении духа стал бродить по тропинкам. Это, наверное,

Господь наказывает его за грехи, что пошел «примаком» к жене, что не исключил «расчетца» при своей женитьбе. Но ведь Розочка сама чуть ли не силком затащила его в загс. Что же теперь, разводиться и снова ехать в Тольятти? Позор какой — и для Розочки, и для него! А он успел уже так привязаться к жене, даже, кажется, полюбил ее! Нет, из этой ситуации выхода не проглядывается! Он совершил грех и за него должен отвечать! Надо уйти из жизни, но как?

Пойти и утопиться в Кузьминском пруду? Но он хорошо плавает и утонуть добровольно не сможет. Стреляться? А где взять оружие? Резать вены — нет, только не это, ведь Саша не переносит вида крови! Вешаться, как пробовал его друг Нурбей? Нет с собой веревки, да и зрелище отвратительное. Вишишь, как Иуда Искариот, а язык на боку. К тому же, говорят, повешенные от удушения писаются — на брюках будет мокрое пятно. Каково Розочке будет смотреть на это?

И вдруг Саша прямо рядом с тропинкой видит целое семейство мухоморов, живописно устроившихся на полянке. Красные, с белыми пятнышками, вызывающе красивые, всем видом своим предлагающие себя — ну-ка, съешь меня, дружок, съешь и отравись! Саша оглянулся — вокруг никого нет. Он опустился на колени и стал лихорадочно рвать мухоморы, судорожно запихивая их себе в рот. Вкус неожиданно оказался даже приятным, грибы были слегка сладковатые, вроде сырого кабачка. Только шкурка красная неприятно липла к губам, Саша ее снимал и отбрасывал в сторону.

Съев этак штук пять мухоморов и насытившись ими, Саша зашел в кусты и прилег на траву, собираясь тихо умереть. Солнце садилось, и над холмами завис огромный красный круг. Саша смотрел на него и в смятении думал: «Все, больше я его не увижу, это конец!» Но вдруг с удивлением заметил, что солнечный диск уже не красного, а ярко-зеленого цвета. «Все — умираю», — подумал было Саша, но солнце вдруг раздвоилось и над холмами висело теперь аж два зеленых диска. Настроение было бодрое, признаков близкой смерти не наблюдалось. Саша вскочил на ноги и ощутил необычайный прилив сил. Ему захотелось ломать ветки, даже крушить деревья. Он начал с последнего, но деревья не поддавались. Зато толстую ветку он обломал-таки. Освободив ее от сучков, Саша изготовил из нее подобие паллицы Ильи Муромца и стал воинственно размахивать ею, как бы воюя с невидимым врагом.

— Нажрался и буянит теперь! — заворчали две старушки, гулявшие по тропинке. — А еще интеллигентный с виду!

Саша с палицей бросился за божьими одуванчиками, но тех как ветром сдуло. Резвые оказались старушонки!

Оба зеленых солнца зашли за розовые холмы; по сиренево-красному небу плыли фиолетовые облака.



— Красота-то какая! — восхищенно бормотал про себя Саша, но, вспомнив вдруг про Розочку и маму Блюму, быстро пошел домой.

Мощные удары палицей в дверь испугали женщин. Дверь была поспешно открыта, и Саша, кровожадно скаля зубы, вращая горящими глазами, грозным хозяином вошел в квартиру. Женщины в испуге выстроились перед ним навытяжку.

— Ну, которые тут недовольные — направо, довольные — налево! — командным голосом прогремел Саша, и обе женщины в момент оказались слева.

Зеленая люстра освещала двух женщин с фиолетовыми лицами и белыми глазами.

— Да вы что, кикиморы болотные, что ли? — проревел Саша и принялся гонять нечисть по квартире.

Те с куриным кудахтаньем спасались от него и заперлись, наконец, — одна в ванной, другая — в туалете. Саша подергал двери, зашел на кухню и снес палицей пару горшков с цветами. Потом, утомившись, отбросил палицу и, как был в одежде и обуви, так лег на постель и заснул.

Проснулся он только утром. Он лежал в постели один, причем раздетый и разутый. Память о вчерашнем вечере начисто отшибло, вспомнил только, что ел мухоморы. Над ним склонились две женские головы, и Саше показалось, что он видит фильм с участием Лайзы Минелли и Анни Жирардо.

— Я что, еще жив? — удивленно спросил Саша, и головы услужливо закивали. — Не может быть, я же вчера съел целую кучу мухоморов! Значит, если я не умер, то умру скоро! Мухоморы же ядовитые грибы!

Срочно вызвали скорую помощь, рассказав, что человек отравился грибами. Пожилой доктор, осмотрев Сашу и побеседовав с ним, спросил что-то про понос и стал собираться обратно.

— Мухоморы не ядовиты, не путайте их с поганками. Они вызывают цветные галлюцинации и прилив агрессии. Иногда — понос. А травиться грибами я больше не советую. Сколько есть других прекрасных способов расстаться с жизнью! — доктор вздохнул и вышел за дверь.

Саша, несмотря на свою ученость, думал, как и большинство людей, что мухоморы ядовиты. И, кроме того, не читал малоизвестного рассказа Герберта Уэллса «Бледная поганка», где описана аналогичная ситуация.

И правильно сделал Саша, что не читал этого рассказа. Да и другим я не советую этого делать, конечно, если его не переиздали в новом переводе. Дело в том, что и мухомор, и поганка по-английски называются одним и тем же словом «toadstool». По край-

ней мере, если верить словарям начала 20-го века, когда и был написан этот рассказ. Как это могло случиться с таким богатым языком, не понимаю. Ядовитый, безнадежно смертельный гриб и шутейный мухомор, вызывающий лишь забавные «глюки», называются одним и тем же словом. Безобразие! Ведь те, кто читал этот рассказ, могут подумать, что герой его, поедая бледные поганки, как буквально там и написано, остался жив и даже приобрел авторитет в семье. Не верьте переводной литературе — иначе можно легко умереть от ошибки переводчика!

Но так или иначе Розочка и мама Блюма, поняв, что Саша принимает близко к сердцу их нападки, стали щадить его. Подумать только, они чуть не потеряли любимого мужа и зятя — доброго, ученого, послушного, еврея, хотя и «выкреста»!

Вскоре Саша устроился на работу в один из банков, пока, как говорится в той же переводной литературе, «простым клерком». Но жить уже можно было!

ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА



НЕУГОМОННАЯ РОЗОЧКА

Итак, Саша побывал у меня на Таганке. Следующий визит я должен был нанести в Кузьминки, заодно и познакомиться с женой моего друга. К этому времени я уже разошелся с Олей и вел образ жизни, не очень отвечающий моральному облику советского ученого и педагога. Хорошо, что Москва большая, сплетни и слухи не так расходятся, как в Тольятти или Курске. У меня было несколько любимых дам, за каждой из которых был закреплен свой день, вернее, своя ночь недели, когда я ходил к ней в гости или приводил к себе на Таганку. Но пара деньков и ночек в неделю пока оставались свободными.

В один из моих свободных вечеров я посетил Сашу и его семью в Кузьминках. Саша встретил меня у метро и проводил домой. По дороге он, слегка смущаясь и щуря глаза сверх обычного, тихо предупредил меня:

— Ты знаешь, Нури́ (он называл меня так, как все друзья в Тольятти), если Розочка выпьет, то она ведет себя немного неадекватно, ты не обижайся на нее!

Я, еще не понимая, в чем состоит эта неадекватность, уже представлял себе выплескивание вина в лицо гостям или пощечины за спаивание мужа, но дело оказалось куда лучше. Оказывается, Розочка, подвыпив, начинает приставать к гостям-мужчинам со своими танцами, поцелуями и так далее. Поэтому Саша перестал водить в дом своих приятелей, а у Розочки приятелей, кроме бывших любовников, и не было. Но тех она в дом приводить не решалась, да и, по словам Саши, пока не изменяла ему. Слово «пока» Саша выделил интонацией, а на мой немой (простите за каламбур!) вопрос ответил, что Розочка — дама темпераментная и ей одного мужа, то есть Саши, уже маловато.

— Ты же знаешь, Нури, я женской лаской не избалован смолду, я немного по другой части, — и он лукаво улыбнулся, — поэтому и не сомневаюсь, что она изменит мне рано или поздно. Не то чтобы уйти к другому, замуж, например, а так — будет иметь мужиков на стороне. Не хотелось бы — разговоры пойдут, да и неизвестно, что за человек попадется, вдруг прохвост какой-нибудь! Ожидай потом от него любой пакости!

За такими разговорами мы поднялись на третий этаж дома, где жил Саша, и позвонили в дверь. Дверь тут же открылась, и передо мной предстала копия самой Лайзы Минелли, разумеется, когда той было около тридцати лет. Огромные горящие глаза, черные кудри, рот, полностью раскрытый в улыбке, минимум одежды на теле — голые плечи, декольте, мини-юбка. Золотой Магендовид на соблазнительной груди, золотой пояс-цепочка на тонкой талии. Кто помнит Лайзу Минелли, знает, наверное, что красавицей она не была, но сексуальной и заводной — на все сто процентов!

Затем появилась Анни Жирардо, с низким хрипловатым голосом и сигаретой в зубах. Мы поздоровались, а с Розочкой даже поцеловались.

— Аид (еврей)? — первым делом на ушко спросила меня мама Блюма, — похож на нашего — вылитый!

— Нет, я агой! — поспешно ответил я, и мама Блюма криво усмехнулась.

— Если не аид, откуда знаешь, что такое «агой»? — недоверчиво спросила она («агой» — это на идиш «не еврей», то есть кто угодно, но не еврей).

— Да друзья все айды, вот от них и учусь идишу! — оправдывался я, но мама Блюма недоверчиво качала головой.

— Забывают свою кровь, свою веру, — незлобно ворчала она, — крестятся в церквах под православных, а наша религия чем хуже? Бог-то, Создатель, все равно у нас один и тот же!

Меня пригласили сразу в столовую, где уже был накрыт стол. Конечно же, ликер «Роза», конечно же, водка и даже бутылка мадеры. Среди закусок я заметил фаршированную щуку и что-то похожее на рагу, но из рыбы.

— Это форшмак, или в переводе «предвкушение», — тихо пояснил мне Саша. — Гадость страшная, но если можешь, то похвали это блюдо — мама Блюма так старалась...

Я поднялся и провозгласил первый тост: «Лехаим!» — чем вызвал бурный восторг и даже аплодисменты женщин. «За жизнь! — перевел я этот тост, и добавил: — Лехаим, бояре! Так обычно говорят этот тост мои друзья айды!»

Опять восторг женщин: «Лехаим, бояре!» — это так необычно. А дальше был тост за любовь с пояснениями: в браке, — и я указал бокалом на Сашу с Розочкой; вне брака, — и я прикоснулся к своей груди; а также за любовь... к трем апельсинам! — и я указал бокалом на нас с Сашей.

Хохот, звон бокалов.

Я продолжал и дальше выдавать тосты, но Розочка вдруг сорвалась с места и, подбежав к проигрывателю (шел 1981 год!), включила его. Динамики завывали «Бесаме, бесаме мучо!», и Розочка за руку вытащила меня из-за стола танцевать. Саша, при-

встав с дивана, дернул за шнурок выключателя и погасил верхний свет. Комната освещалась только от проигрывателя и была полутьма. Я не большой любитель танцевать, вернее, я просто ненавижу это занятие, так как не умею, «как Спиноза какой-нибудь, кренделя ногами выделывать». Кстати, чеховский герой имел в виду не философа Спинозу, а танцора Эспинозу, в те годы гастролировавшего в России. Кроме того, мой кумир — великий механик Исаак Ньютон — нелестно отозвался о танцах как о «лучшем способе показать свою глупость».

Но танцы в исполнении Розочки оказались несколько другим занятием, нежели то, о чем писал Чехов и отзывался Ньютон. Когда мы с Розочкой встали в начальную позицию, я почувствовал, как два больших округлых булыжника сдавили мне грудь. Именно булыжника, потому что женских грудей такой твердости по законам физиологии и даже физики быть не должно. Орехи колоть можно! Розочка завела свои руки мне за плечи и придавила меня к себе с полной силой. Мне ничего не оставалось, как тоже обнять ее за плечи, ну и, чтобы не показаться невежливым, прижать ее к себе. Булыжники слегка деформировались, и это несказанно обрадовало меня, а то я уже стал подумывать, что у нее там протезы. «Бесаме мучо» — композиция медленная, и мы, как два топтуна, медленно переваливались с ноги на ногу и терлись грудями друг о друга. В довершение всего, Розочка стала касаться своими губами моих, и я, делая ужасные глаза, указывал ими на то Сашу, то на маму Блюму.

Наконец, к огромному моему облегчению, «бесаме мучения» закончились, и я, поцеловав Розочке руку, уже собирался было сесть на диван и продолжить разговор с Сашей. Верхний свет уже был включен, и все располагало к дружеским беседам. Но тут Розочка со словами «я хочу показать тебе нашу квартиру», не дав мне сесть, схватила за руку и утянула за дверь. Я умоляюще взглянул на Сашу, ожидая спасения, но он, улыбаясь, лишь замахал на меня руками: «иди, мол, и не возникай!»

Розочка затащила меня в спальню, прикрыла дверь и начала медленно, основательно, со вкусом, отвешивать поцелуи с засосами. Нет, я не сухарь и не лицемер, но надо же и меру знать! Первый визит в семью, и на тебе — картина Рыбкина «Приплыли!». Хозяйка в открытую, при муже начинает совращать гостя. А мне-то как вести себя? Отбрыкиваться — хозяйка обидится; поддерживать эти страстные поцелуи, поощряя хозяйку и на дальнейшее, — свинство по отношению к другу.

Положение спасла мама Блюма. Она приоткрыла дверь в спальню, включила свет и укоризненно проговорила:

— Розочка, амишуген киндер (сумасшедший ребенок), ты опять в своем амплау?

Откуда я понял, что Розочка поступает так не впервые, и успокоился. Вспомнил разговор с Сашей по дороге о ее неадекватности и подумал, что по-русски эта неадекватность все-таки называется несколько по-другому.

Розочка взвизгнула, топнула ножкой и умчалась в ванную, запершись там. Я вернулся к Саше, а смущенная мама Блюма зашла к себе в комнату. Саша довольно улыбался и щурился.

— А я тебе что говорил, — сказал он мне, — но ты человек закаленный — выдержишь!

Хотел было я спросить у Саши про феномен «булыжников», но вовремя опомнился. Жена же она ему все-таки, неэтично.

— Да, — поддакнул Саша, словно читая мои мысли, — грудь у нее, действительно, на Книгу рекордов Гиннеса тянет! Что твоя мышца, когда штангу поднимаешь! И это мышечная подложка не протез, не опухоль, не дай бог, а молочные железы такие. Наградил же Господь ее! Да и меня, — добавил Саша, и, подумав немного, присовокупил, — и других мужиков, конечно, которым повезло или повезет быть с ней...

Минут через десять Розочка, как ни в чем не бывало, зашла в столовую, неся на подносе чашки с чаем. Вина она больше не пила, уткнувшись в чашку с чаем.

Нет, не отвертеться мне, если, конечно, Саша не прекратит эти встречи. И тогда — скандал и ссора!

Но Саша встреч не прекратил, и договорились мы встретиться в следующую субботу у меня на Таганке.

— Тебе, Золотце, ничего не придется делать, можешь обещать эту субботу Богу! — пошутил Саша.

Розочка фыркнула, отвесила Саше шутливую затрецинку по шее, а меня на прощание снова чувственно поцеловала.

Саша проводил меня до метро.

— Чтобы наши кузьминские хулиганы друга не обидели! — пояснил он смеющейся во весь рот Розочке.

ГОРОД ЛЮБВИ

Но получилось так, что вместо визита на Таганку мы с Сашей вылетели недели на две-три в город Ашхабад. Нет, не только потому, что мы любили сауны и мечтали о пятидесятиградусной жаре. В Ашхабаде нас ждала интересная научная и инженерная работа, дающая новое направление использованию маховиков. Маховики — перспективные накопители энергии — мое научное направление. Да и Саша занимался ими, работая вместе со мной в Грузии. Одним словом, научная сторона вопроса была нам интересна. А кроме того, и это главное, встретится ли когда-нибудь еще возможность побывать в Средней Азии, в эк-

зотических краях, вдвоем и за «казенный счет»? Было начало июля, мы с Сашей вышли в отпуск, а Розочке из-за ее недавнего перехода в новую библиотеку отпуск был не положен. Все складывалось за нашу поездку в Ашхабад. А вот и подоплека этой поездки.

Ко мне в университет несколько раз приезжал сотрудник Ашхабадского сельскохозяйственного института по имени Худай-кули. Это в переводе с туркменского означает «раб Божий». Добрый, полный парень лет сорока, цветом лица и волосами похожий на негра. Он все убеждал меня заняться использованием маховиков для тракторов типа «Беларусь», очень широко используемых в Туркмении для хлопководства.

Дело в том, что из-за технологических особенностей при обработке хлопковых полей в орошаемой части пустыни Кара-Кум на трактор действовала резко меняющаяся нагрузка. Поэтому тракторист постоянно переключал передачи, а трактор для этого должен, в отличие от автомобиля, полностью остановиться. И вот этот бедный трактор всю дорогу только останавливался и трогался снова. Огромный перерасход топлива и времени!

Мы прикинули, что если этот трактор снабдить маховиком как накопителем энергии, изготовленным хотя бы из простого железнодорожного колеса, то расход топлива снизится почти вдвое, а производительность повысится в три с лишним раза. Трактор, снабженный таким маховиком, способен с ходу преодолевать резкие пики нагрузок и будет выполнять работу на высокой скорости без остановок. Экономия получается бешеная!

Сельхозинститут выделил трактор и деньги. Мы же с Сашей должны были на месте рассчитать маховик с приводом, дать экономическое обоснование и изготовить техдокументацию. Это работа зачлась бы Худай-кули как его диссертационная. Вот мы с Сашей и вылетели из Домодедово в Ашхабад.

— А жара? — опасливо интересовались мы у приглашающей стороны.

— Ай, нет! — отмахивался Худай-кули, — есть арык, есть кондиционер! А жары выше сорока не бывает, иначе народ на работу не выйдет!

Мы тогда не поняли лукавства этой фразы. Оказывается, есть закон, по которому при температуре воздуха в сорок градусов и выше граждане имеют право не выходить на работу, а зарплату при этом получают. Поэтому партия приказала туркменской службе погоды не «поднимать» температуру воздуха выше 39,9 градуса. И когда мы, уже будучи в Ашхабаде, видели на термометре 58 в тени, хотя по радио объявляли все те же 39,5 градуса, то мы были потрясены этим лицемерием. «Гиплер Ашхабад!» («Говорит Ашхабад!») — так начинало работу

туркменское радио. А туркмены ворчали: «Гитлер в Ашхабаде! Сейчас он объявит опять тридцать девять с половиной градусов, хотя на улице все пятьдесят!»

В самолете было свежо и прохладно. «За бортом плюс тридцать девять градусов!» — объявили в салоне, когда самолет остановился на аэродроме. Открыли двери... и я попятился назад. Нет, это была даже не сауна, это была паровозная топка! Но нас вытолкали, и мы среди встречающих сразу заметили улыбающегося толстячка Худай-кули.

— Учитель! — закричал Худай-кули и, взяв у меня портфель, заспешил к выходу из аэропорта. Саша, прикрывая голову газетой, семенил за нами. Мы сели в машину и поехали в город.

И тогда центр Ашхабада был красив, а сейчас, наверное, что и говорить! Чего стоит хотя бы статуя Туркмен-баши, автоматически поворачивающаяся навстречу солнцу! А еще говорят, что Туркмения — отсталая страна! Это у нас — отсталая страна. Здесь я еще не видел памятника Ленину с рукой, протянутой, например, на солнце днем или на луну ночью.

Зато в подмосковном Красногорске я видел у заводууправлений двух заводов, расположенных рядом, два памятника Ленину, указывающих руками друг на друга! Вот где отсталость-то, а еще спутники запускаем!

Худай-кули жил на самом краю Ашхабада. Перепрыгиваешь арык — и ты в пустыне! Пройдешь немного по пустыне — и не успеют у тебя расплавиться пластиковые подметки, как ты уже на границе с Ираном. Со страшным Ираном, где грозный аятолла Хомейни запретил все вообще, а вино и сексуальные излишества — в частности! Лежать бы нам с отрубленными головами, если бы самолет «промахнулся» и приземлился в Иране!

А в Туркмении тех лет все было разрешено — и в общем, и в частности! «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» — ведь тогда еще был СССР и на все советский человек имел право... Из одного права, конечно же, «шубу не сошьешь», но и это хорошо. В Иране-то и прав не было!

В квартиру Худай-кули, которая находилась на последнем этаже пятиэтажного дома, вода практически не поступала. Но вместо воды мы пили сухие вина — «Фетяску» и «Семиллон», которые в магазине близ дома были в избытке. Местный народ вино не покупал, все пили только водку.

Иногда мы пили сквашенное снятое верблюжье молоко — «чал», которое Худай-кули постоянно привозил с базара. Этот «чал» напоминал заварной крахмал, которым крахмалят белье. Так как в быту уже появились порнофильмы, а также слухи о том, что мужиков там «заправляют» этим крахмалом, чтобы из них «сперма» лилась литрами, пить этот чал нам стало противно.

Но полностью мы отrekliсь от этого напитка после похода на ашхабадский базар. Там мы увидели, как из одной и той же глиняной кружки пили чал какие-то «дервиши», больные трахомой, и заправляли бидон Худай-кули. Никакой воды для мытья кружки на базаре, разумеется, не было.

А вообще у Худай-кули нам жилось весело. Специально для нашего развлечения хозяин пригласил в квартиру гитариста Ахмеда и певца — красивого мальчика лет пятнадцати — Бекназара. Жену свою с детьми он отправил в кишлак к родне, а музыкантов — наоборот, пригласил к себе. Спали они с хозяином вместе в маленькой комнатке, а мы с Сашей — в прохладной и большой комнате с постоянно работающим днем и ночью кондиционером.

Несмотря на то, что мне как профессору — то есть учителю, стелили постель на единственной тахте, я, мучимый жарой, переползал к доценту-ученику на пол. Там мы с Сашей, сгрудившись в одну живую кучу, спали прямо под кондиционером. Благо ко времени сна мы были уже настолько пьяны, что забывали про все правила хорошего тона. А ведь комната-то наша была проходной!

Музыканты, проходя по утрам мимо нашей «живой» кучи, в силу своей восточной испорченности сделали ложный вывод о нашей сексуальной ориентации. Мы поняли это по перемене смысловой направленности песен юного херувимчика Бекназара.

Дело в том, что прямо с утра Худай-кули подносил нам с Сашей опохмелиться по пиалушке вина (каждая такая пиалушка — более пол-литра!). А музыканты тем временем садились, скрестив ноги, на пол и начинали свой концерт на целый день. Мы же полулежа (так как в квартире не было стульев, а стол был только для черчения) на циновке пили вино, закусывая фруктами и вареным мясом. Ахмед брэнчал на гитаре одну и ту же заунывную восточную мелодию, а гениальный мальчик Бекназар прямо с ходу экспромтом сочинял и тут же пел песни.

Сперва это были песни о том, как мудрый учитель (это я как профессор), поднаторевший в науках, не жалея сил, день и ночь учит своих учеников, и особенно самого первого из них (как доцента) — Сашу. Тот же любит своего учителя и науку, которую с удовольствием изучает... и так далее, и тому подобное на целый день.

Но после ложного вывода о нашей сексуальной ориентации, при той же мелодии, слова песен Бекназара изменились лишь чуть-чуть. Но смысл! Если в предыдущем тексте только одно слово — «учит», грубо говоря, заменить на слово «дрючит» или его сексуальный синоним, то будет ясен смысл новых песен Бекназара. Мы слушали-слушали, а потом с интересом спросили нашего хозяина Худай-кули, о чем это поет наш юный певец любви?

На что Худай-кули с восточной вежливостью пояснил нам, что любовь учителя к своему ученику, и обратно, обычно бывает столь велика и столь многогранна, что границ не знает. И стоит ли придавать значение метафоризированным словам поэта? Тем более что на Востоке «это самое» пороком и не считается...

— Ни хрена себе! — сказали мы с Сашей, но спорить и доказывать что-либо было бесполезно.

Мы выпили по лишней пиалушке и договорились спать поочередно, один — на полу, а другой — на тахте, чтобы не возбуждать у восточных джигитов нездоровых мыслей. Но к утру, когда джигиты начинали проходить через нашу комнату в туалет, мы все равно уже лежали кучей под кондиционером. Джигиты добродушно посмеивались: еще бы — мы в «городе любви», как переводится название «Ашхабад» с туркменского! Да какая там любовь в такую жару, разве только платоническая или «к трем апельсинам», охлажденным, разумеется!

Мы в средней полосе плохо представляем себе все неудобства, связанные с постоянной жарой. Приведу пример. Как-то Саша приболел — может, простудился, если это возможно себе представить в такую жару. С трудом Худай-кули нашел в квартире градусник, чтобы измерить ему температуру. Но как это сделать, если в комнате уже сорок градусов? Оказывается, нужно охладить градусник в холодильнике, затем сбить его и быстро сунуть под мышку, а температуру смотреть, не вынимая градусника, иначе она тут же снова поднимется до сорока. Так мы и не справились с этой задачей.

Особый разговор про курение. Мы с Сашей не курили и отрицательно относились к этому пороку. Но попробовать «травки» не отказались, тем более она там открыто продавалась на базаре. Конопля, план, марихуана — все это там называлось «бен». Его смешивали с табаком и курили из «козьих ножек». На меня этот «бен» не действовал, только в горле першило.

Но продавалась и другая штука под названием «тряк». Его обычно путают с опиумом, но это не так. Этот «тряк», который стоит намного дороже «бена», получают хитро. Раздетый и потный (а иного и быть не может!) человек бежит по полю цветущей конопли. Тело его покрывается слоем пыльцы этого растения. Потом ее вместе с потом соскребают тупым ножом и подсушивают. Получается масса, похожая на темный пластилин. Но как ее использовать? А вот как.

В Туркмении не зря говорят, что лучший подарок в семью — это электропаяльник и воронка. Приляжет аксакал с кунаками вечерком на маленький коврик, положат посреди него дощечку с кусочком пластилина-«тряка», возьмут в рот концы воронок. Аксакал включает паяльник и, прогрев его как следует, готовится к священнодействию. Наконец, аксакал тычет раскаленным

концом паяльника в кусочек «пластилина», от чего тот, шипя, выпускает клубы дыма. Страждущие захватывают эти клубы раструбами воронок и жадно всасывают в себя. Кайф!

Такая примерно картина наблюдалась у нас вечерами, когда вина и водки казалось уже мало. Роль аксакала играл «учитель», то есть я. Паяльник и воронки имелись у хозяина. Зная, куда и куда должна «брызнуть» струйка дыма, я первым совал туда свою воронку и жадно вдыхал дым. Но жадность моя была наказана — «тряк», как и «бен», не вызывали у меня ничего, кроме кашля. То ли дело — водка! И вместо кусочка этого, замешанного на поту трудящихся, простите, «тряка», сколько бутылок водки можно было бы купить!

Но моим кунакам нравилась экзотика, и, кроме кашля, они получали от этого дыма еще кое-что поприятней. Поэтому я, продолжая на правах старшего тыкать паяльником в этот «тряк», сам воронки в рот не брал, а запивал каждый выброс дыма глотком вина.

Хозяин наш любезно показывал нам достопримечательности Туркмении. Сам он автомобиль не водил, но у него всегда был «на подхвате» кунак с машиной. Повезли как-то меня с Сашей на Физкультурное озеро близ Ашхабада. Большая лужа серой воды посреди пустыни. По берегам жиденькие заросли тростника. Нас высадили, чтобы мы могли окунуться, а сами поехали за большим зонтом, чтобы посидеть в тени.

Солнце палило сквозь какую-то белую дымку, отчего казалось, что оно светит отовсюду. Мы окунулись в горячую, градусов в тридцать пять, воду и тут же выбежали на берег.

По берегу озера шел гигантский двугорбый верблюд-бактриан. На голых бежево-серых боках верблюда под кожей видны были толстенные, как садовые шланги, кровеносные сосуды. Верблюд с презрением посмотрел на жалких белых людей, чуть не плюнул на нас и, захватив губами куст пустынной колючки, смачно зажевал. Эти колючки свободно проходили сквозь наши кроссовки, больно жала ноги. Как верблюд ухитрился лакомиться этой «колючей проволокой» пустыни, оставалось загадкой.

Автомобиль с зонтом задерживался. Мы шалели от беспощадного излучения. Казалось, что кванты горячего света били нас по головам, как дробь из дробеструйного аппарата. Но укрыться было негде, мы даже наших шляп не захватили! Положение становилось невыносимым. И мы, срезав валявшейся крышкой от консервной банки две тростниковые трубочки, присели под воду, дыша воздухом через них.

Какое-то спасение от беспощадных квантов было найдено — они уже не так сильно били через воду. Но если кто-нибудь думает, что дышать через тростниковую трубку легко — пусть попробует сделать это сам. Вода сжимает грудь, помогая

выдохнуть, но не дает сделать вдох. Это вам не дыхательная трубка для плавания — там при дыхании легкие остаются примерно на уровне поверхности. А мы сидели под водой, держась за стебли тростника, так что губы наши были сантиметров на двадцать под водой, ну а легкие — глубже чем на полметра. Но пять сотых атмосферы, которые при этом давили нам на грудь, были мучительны. Если площадь поверхности нашего тела в зоне легких грубо считать равной всего четверти квадратного метра, то эти пять сотых атмосферы сдавливали нам легкие как 125 килограммов груза. Груз этот, правда, давил на грудь равномерно — спереди, сзади и с боков, но приятным это назвать было никак нельзя.

Приехавший с зонтом Худай-кули не увидел нас на озере и решил было, что мы утонули, но в результате все закончилось счастливо. Мы воткнули в землю зонт, поставили бутылки с водкой, разрезали огромный арбуз и начали «по пиалушке». Сперва нам показалось, что водка в такую жару неуместна, но потом мы поняли, что «огненная вода» в холод согревает, а в жару — холодит. Она универсально притупляет температурные центры в мозгу и обеспечивает комфортное состояние. На первое время, конечно. Нам с Сашей надо было просто «врезать по пиалушке», и не пришлось бы лезть под воду. Умерли бы от солнечного удара, но при полном комфорте!

Надо сказать, что наибольшее впечатление в Туркмении произвело на нас посещение Бахарденской пещеры и подземного озера. На самой границе с Ираном в горе зияет провал в десятки метров глубиной. На дне провала расположено небольшое, весьма экзотическое озеро, теплая, почти горячая вода которого резко пахнет туалетом, и в этой воде почему-то не тонешь, как в Мертвом море. Нахождение в этом озере, как точно подмечено в путеводителе, «доставляет неизъяснимое блаженство». Из озера торчат рифы-скалы, а над ним на скальном куполе гроздьями висят миллионы летучих мышей-«вампиров».

Вначале я решил, что такой запах озеро издает из-за испражнений этих милых животных, но меня переубедил путеводитель. Там было сказано, что такой запах придает озеру сероводород. Так и не разобравшись, что здесь первично, а что вторично — испражнения или сероводород, мы с Сашей с неизъяснимым блаженством плескались на глади озера, ожидая, когда погасят свет.

Всю акваторию озера освещала одна стоваттная лампочка, свисающая с купола на проводе. Вот она-то и погасала, под крики ужаса купальщиков. Воцарилась полная тьма, какая только может быть в подземелье. Все вокруг начали кричать от ужаса, но только не мы, потому что мы знали, в чем здесь дело. Худай-кули заранее предупредил нас о происках местной шпаны.

Бахарденскую пещеру и озеро посещает масса туристов. Они спускаются к озеру по лестнице из ста ступеней, располагаясь на берегу, и, раздевшись для купания, оставляют там свои вещи. И тут гаснет лампа, а шпана в крошечной тьме хватается за штоты и «делает ноги». Не позавидуешь туристам, оказавшимся голяком в подземном Бахарденском озере без денег, документов и билетов! Но мы-то, зная об этих криминальных штучках, спускались в пещеру в плавках, а остальные штоты оставались рядом с Худай-кули в чайхане.

Это место для туркмен священно. Издалека приезжают сюда молодожены поплясать на площадке перед входом в пещеру. Вереница автомобилей с ковровыми дорожками на кузове, покрывающими переднее и заднее стекла, гудя сиренами, врывается на площадку. Как только туркменские водители управляли этими автомобилями на горных дорогах — ума не приложу! Из машин выскакивают жених в черном костюме и черных галошах, надетых на шерстяные носки, и кунаки жениха в ушанках, теплых халатах, а нередко и в пальто.

Я видел на улицах Ашхабада людей, одетых подобным образом, но думал, что это просто ненормальные. А здесь? Жених весь в поту, отчаянно отплясывающий какую-то бешеную «джигу», но не снимающий при этом теплого костюма и ушанки; кунаки в теплых халатах и пальто; наконец, невеста в шерстяных носках и галошах!

Я решил и спросил у одного из кунаков, почему в такую жару невеста одета в толстенную накидку-пончо через голову, носки и галоши. И это под палящим туркменским солнцем при пятидесятиградусной жаре!

— А чтобы свеженький был! — весело ответил кунак, не переставая плясать.

И наконец Худай-кули пояснил мне, что теплые одежды не дают проникать горячему воздуху к более холодному телу человека. А тем более спасают тело от палящих лучей, или квантов, летящих от солнца. Нигде, как в Туркмении, корпускулярная теория света по Ньютону так явно не побеждает волновую теорию Гюйгенса. Солнечный свет в Туркмении так и колотит по башке квантами-фотонами, а мягкая меховая шапка смягчает эти удары.

Много удивительного увидели мы в Туркмении. Экзамены в вузах, где, обливаясь потом, студенты в костюмах с карманами, набитыми шаргалками, часами сидели за партами. Железнодорожные мастерские, где я впервые увидел градусник, показывающий 58 градусов в тени. Там нам точили маховики, и рабочие постоянно делали короткие переходы между станками и табуретками, со стоящими на них чайничками с зеленым чаем.

Отхлебнув глоток чая, мастера неторопливыми шажками возвращались к своим станкам.

Я так и не понял, зачем жить в таком аду, зачем так мучиться? Ведь в тысячу раз комфортней зимой в тундре, где от холода можно спастись в теплых чумах, анораках и малахаях. А от жары ведь под кондиционерами не насидишься, надо и на улицу выйти, и в поле работать. Но, видимо, там к этому привыкли, а привычка — вторая натура!

К концу второй недели пребывания в Ашхабаде, несмотря на жару, водку, «бен» и «тряк», постоянные расчеты и черчение, «авторский надзор» в мастерских при 58-градусной жаре, мужское начало дало-таки себя знать. Мы запросили у нашего хозяина каких-нибудь там, хоть завалищих, но «дурды». «Дурды» — это так мы с Сашей прозвали в Ашхабаде баб, почему, сам не знаю. Слово «дурды», смысл которого аналогичен болгарскому «стоян», чрезвычайно часто используется в туркменской речи. А раз часто — то значит, это о бабах, справедливо решили мы.

Да и слово очень уж к бабам подходящее, особенно к восточным: «дурды» — и все тут ясно! Хозяин, Ахмед и даже юный Бекназар были шокированы нашей с Сашей бисексуальностью — они-то уже успели привыкнуть к тому, что мы, мягко выражаясь, «светло-синие». Но желание гостей на Востоке — закон! И Худай-кули заявил нам, что вечером будут нам «дурды».

Чтобы не эпатировать наших «дурды» водкой, мы купили хорошего вина и шоколадных конфет. Запаслись и презервативами — не подхватить бы от этих «дурды» чего-нибудь экзотического, «южного».

Волнуемся, ждем встречи с утонченными турчанками, этскими «наложницами султана». Но приходит хозяин и приводит двух настоящих «дурды» — «дурдее» не бывает!

Во-первых, они оказались русскими, хотя говорили с туркменским акцентом. Во-вторых, они были постарше нас с Сашей. Далее, каждая из них весила больше, чем мы с Сашей вместе. «Дурды» были уже полупьяны и не по-хорошему развязны. Мы, по крайней мере, такого восточного варианта русского мата еще не слышали.

Вино наше «дурды» обозвали кислятиной. Выпили по полному стакану водки и заявили, что Борода (это я) — хам трамвайный» а Рыжик (это Саша) — натуральный телок.

— Худай-кули, — наконец прорвало меня, — уведи, пожалуйста, этих «ледей» подальше, а то я, как хам трамвайный, за себя не ручаюсь!

— Что-о, это как ты нас назвал? — заорала басом одна из «дурдей», а другая, чувствуя, что конец их пребывания здесь близок, стала лихорадочно допивать водку.

— Леди — это не то, что вы подумали! — пояснил я дамам, открывая двери и выпроваживая их словами чеховского жениха: — позвольте вам выйти вон!

— Русский не знаешь! — обругала меня одна из «дурдей».

— От такой слышу! — огрызнулся я. — Чехова читать надо!

И я захлопнул дверь.

Мои кунаки заплодировали. Им тоже не понравились «дурды». Особенно нашему барду, или, по-среднеазиатски, — «акыну» Бекназару. Он тут же «активизировал» Ахмеда и под его заунывное брэнчание запел:

Мудрый учитель изгнал надостойных дурды-и-и!

Не будет помехи им с Сашей взаимной любви-и-и!

— Мели, мели, Емеля! — допивая свою пиалушку, мрачно сказал ему Саша.

Быстро подошел конец июля. Чертежи были готовы все, но «железо» делалось медленно. Худай-кули сказал, что остальное он завершит сам и чтобы мы не беспокоились. Нам взяли билеты на самолет и проводили «с музыкой». Уже в самолете Саша признался мне, что Худай-кули дал ему тысячу рублей нам на двоих как оплату за труды. Он боялся, что «учитель» обидится и не возьмет деньги. Тысяча рублей тогда — это практически тысяча долларов, неплохие деньги! Да и вино, «бен», «тряк», другая экзотика — все это тоже хозяину немалых денег стоило! Погуляли мы с Сашей, одним словом, на славу!

Худай-кули позвонил мне в Москву уже поздней осенью.

— Учитель, — восторженно сказал он, — маховик поставили на трактор, и он поехал, обгоняя все автомобили! Семьдесят километров в час!

Я представил себе трактор «Беларусь», да еще с громадным маховиком, мчащимся с такой скоростью по барханам, и схватился за голову...

ВСТРЕЧА НА ТАГАНКЕ

Намеченная заранее встреча на Таганке состоялась только в начале августа.

В субботу с утра я зашел в магазин, купил по паре бутылок шампанского и водки, а также бутылочку ликера «Роза». Аккуратно замазав белилами слово «Роза», вывел вновь фломастерами «Розочка». Форшмака (который действительно оказался ужасной гадостью!) и фаршированной шуки готовить не стал, а купил шпротов, сайры, сыру, пару пачек сибирских пельменей и конфет для Розочки. Колбасы брать не стал — а вдруг Розочка

не ест свинины (что, собственно, так и оказалось!) и обидится. Баллон с газировкой, как почти у всех в те годы, стоял на столе.

Часов в пять Саша и Роза позвонили по телефону, сообщили, что едут, и вскоре уже входили в дверь. Оказывается, они тоже принесли шампанское и ликер. Шампанское оказалось какое-то «не наше», в огромной литровой бутылке. Сравнение ее с моими было явно не в пользу последних. В отношении бутылок Саша страдал гигантоманией. Мы сравнили бутылочки с ликерами, посмеялись, и я подарил друзьям бутылочку ликера нового сорта — «Розочка».

Показал друзьям мою двухкомнатную, но просторную квартиру. Спальные места были в обеих комнатах. Большая комната была метров под тридцать, а малая — около двадцати; кроме того, огромный холл, большая кухня и другие подсобные помещения.

В большой комнате в алькове была оборудована зеркальная сауна — мое изобретение. Альков был утеплен, от комнаты его отгораживал высоченный, толстостенный и широченный шкаф, он же — раздевалка, через который и входили в сауну. Стенки и потолок сауны были утеплены и покрыты зеркальной пленкой, отражающей тепловые лучи. Пол выкрашен серебрянкой. В сауне стоял лежак, тоже покрытый зеркальной пленкой. Конечно же, была задвижка в вентиляционный канал. С такой отражательной способностью в сауне устанавливалась рабочая температура минут за десять с помощью всего трех киловаттных каминов. Была и кварцевая лампа для загара. Чудо, а не сауна! Женщины, которых я иногда приглашал к себе в гости, как сейчас говорят, «балдели» от нее.

«Забалдела» от нее и Розочка, вообще питавшая нежную страсть к саунам. Собственно, сауна ведь и «подарила» ей мужа — Сашу. Она сразу попросила меня включить камины, и пока мы собирали на стол, успела немного погреться и позагорать. Между нами во время прогрева сауны, правда, возник некоторый теологический спор — считать ли прием сауны работой или нет. Ведь субботу Розочка, как «правильная» иудейка, должна была целиком отдать Богу. А тут — сауна! Как быть?

На это Розочка дала нам достойный ответ: нет, сауну, выпивку, половой акт и другие приятные действия нельзя считать работой. Потому что, если бы это была работа, то она, как состоятельная еврейка, наняла бы для ее выполнения человека, то есть работника. Но ни для посещения сауны, ни для выпивки, ни для полового акта евреи, даже миллионеры, никогда человека не нанимают. Следовательно — это не работа, а удовольствие и этим можно заниматься даже в субботу!

Гордая своим ответом, Розочка, покачивая бедрами, зашла в шкаф и жеманно попросила за ней не подглядывать. Когда закуска была готова, мы с Сашей даже успели пропустить

по «пробной» и вспомнить Ашхабад, Бен, тряк, «дурды» — такое не забывается! Потом мы постучали в шкаф условным стуком, и минут через пять к нашему столу в большой комнате вышла румяная Розочка и, кокетливо улыбаясь, присела между нами на диване, раздвинув нас с Сашей своей, как бы сказать, «диссертацией».

Мы врезали по шампанскому, потом по ликеру, а затем и по водке — то есть по возрастающей крепости, как и положено. Поговорили за жизнь, посмотрели немного порнухи, которая у нас только стала появляться. Видеомагнитофон «Панасоник» и кассеты с порнухой убедила меня приобрести еще Оля в бытность моей женой. За что я ей и остался навеки благодарен.

Саша быстро захмелел и растянулся на диване. Мы пододвинули его к спинке, а сами уселись рядышком на край дивана. Мы, как более крепкие питоки, продолжали поглощать уже водку, запивая ее газировкой. Затем, когда все уже было выпито, а глаза у меня начали слипаться, я выложил Розочке белье из шкафа. Сам же, пожелав супругам спокойной ночи и бодая дверные косяки, перешел в маленькую комнату, где лег на постель, не расстилая ее, хорошо хоть сумел раздеться и погасить свет.

Заснул мгновенно, даже не заснул, а провалился в сон. А пробуждение мое было фантастическим, почти нереальным. Прямо над собой я увидел огромные сумасшедшие черные глаза Розочки, ниже — ее раскрытые в неистовстве темные губы и светящиеся между ними зубы, а еще ниже — груди с темными сосками, что так часто встречаются у евреек. Розочка, в чем мать родила, нависала надо мной, трясла меня за плечи и что-то скороговоркой приговаривала. Постепенно ощущение реальности вернулось, и я стал понимать слова Розочки.

— Ты слышишь — этот гад, эта сволочь не «дает» мне! «Убедительно прошу — не приставай ко мне!» — ты представляешь! Этот импотент, этот садист «убедительно» просит меня не трахать его! Слова-то какие мерзкие — «убедительно прошу!» Нет, что за жизнь такая, он еще никогда не приставал ко мне сам! Он только переворачивается на спину и замирает — на, дескать, бери меня всего! И всю-то жизнь трахал не он меня, а я его! Нет, каков мерзавец, а! А теперь обнаглел совсем — «убедительно», видите ли, он меня просит не приставать! — Розочка на секунду замерла, потом встряхнула головой, и тоном, не терпящим возражений, сказала: — Тогда «дай» хоть ты, если мужик! И за себя, и за того парня — друга немощного своего! А то я озверею совсем, на улицу пойду, как есть пойду, и изнасилую первого попавшегося мужика!

Я понял, что Розочке сейчас лучше не перечить, и спросил спокойно: «А в туалет мне можно зайти перед этим. Чтобы все путем было?»



Разрешение было получено. Я, освободившись от нависшей надо мной Розочки, вышел в соседнюю комнату и стал тормошить спящего Сашу.

— Отстань, убедительно прошу тебя... — забормотал было он, но я надавал пощечин и стал мять ему уши — как и положено трезвить пьяных на Руси. Саша приоткрыл глаза и вопросительно взглянул на меня.

— Саша, твоя Розочка у меня в комнате, она взбесилась от желания, просит трахнуть ее. А нет — так на улицу обещает пойти голой и дать первому встречному! Давай вставай и исполняй свой супружеский долг, черт возьми!

— Послушай, Нури, я не могу, я отравился вином, я ослаб, я сейчас полный импотент. Она насилует меня в ночь по нескольку раз, я умру от истощенья! Если ты друг мне, помоги ей, да и мне, сегодня, молю тебя, выручи по-преподавательски, подмени меня!

Нет, Саша задел меня за живое! Для нас, преподавателей вузов, самое святое — это подменить коллегу, если он «не может». Не может читать лекцию, не может дойти до института, не может поднять голову наконец! А Саша и всерьез не мог сейчас даже головы поднять. Нет, если «по-преподавательски», то я готов. Это серьезно, это не шуточки!

Я поцеловал Сашу и побрел к себе, то есть к Розочке. Она так и стояла на постели в колено-локтевом положении. Когда я, якобы придя из туалета, прилег на свою коечку, Розочка в момент была уже на мне верхом.

— Розочка, золотце! — прошептал я ей, — я же не Саша, меня насиловать не надо. Я тебя сейчас сам изнасилую — Саша позволил! Ложись на спину, как бабе положено!

Быстрота, с которой Розочка, перевернулась на 180 градусов, была космической. Она лежала в позе цыпленка табака, задрав подбородок кверху, и водила им из стороны в сторону со сладострастными стонами. Во мне проснулось что-то древнее, брутальное, звериное... Кавказец — дитя гор, почти брат наш меньший! Лев, тигр, слон и прочая мелкая живность. Олень в период гона!

Последнее, что я могу вспомнить — это необычное ощущение в области груди, как будто в меня вдавили два огромных спелых грейпфрута. Нет, Розочка — это подарок жизни! Повезло Саше — нечего сказать!

«Отобью я таки у него жену!» — было первой моей мыслью. «Но это подло, ведь Саша — друг!» — вторая мысль охладила меня. «Зачем отбивать, он и сам поделится со мной, — была третья окончательная моя мысль. — Он же мой друг, да и себе не враг! Он ее не осиливает, ему дружеская поддержка нужна, периодическая подмена по-преподавательски!»

Я теперь понимаю, почему ее бросали любовники — они не могли ее освоить, они оказывались слабаками, для нее — неистойвой, как мифологическая Лилит! Посрамленные, они бежали от нее... «Нет, шалишь! — подумал я, — с нами у тебя такого не выйдет, уж вдвоем-то мы тебя укатаем, как Сивку крутые горки!»

Вот так и стала суббота у нас «сексуальным днем». Этот день все его участники ждали с нетерпением: Саша — чтобы передохнуть немного, Розочка — чтобы почувствовать себя наконец настоящей женщиной, а я... Что — я, любой на моем месте ждал бы встречи с такой необыкновенной женщиной, как Розочка. Такие феминки на улице, как говорят, не валяются!

Этот день, правда, с редкими исключениями — из-за поездки, например, болезни, или иного форс-мажора — так и прошел у нас через восьмидесятые годы. И мы соблюдали эту субботу так свято, как ортодоксальные иудеи — свою. «Всю неделю делай что хочешь, а субботу отдай сексу!» — сформулировала как-то наше кредо Розочка.

В остальные дни Розочка работала у себя в очередной библиотеке и хлопотала по хозяйству. Саша «вкалывал» в банке, продвигаясь по службе, а вечерами запоем читал книги, которые Розочка приносила ему из библиотеки. Я же занимался своей наукой и преподаванием, писал статьи и книги, встречался с моими дамами.

Эти восьмидесятые годы оказались у меня годами наибольшего сексуального подъема. К середине восьмидесятых число моих постоянных дам даже превысило число дней в неделе.

С воскресенья на понедельник, например, я встречался сразу с двумя подругами — Машей и Луизой, которые, благо, жили в одном доме в городе Красногорске, почти в Москве. С понедельника на вторник я проводил ночь у красавицы Тамары Бергман, по прозвищу Грозная, в Кунцево. Вечер вторника был закреплена за «скромницей» Ликой — женой генерала-особиста Ульянова, внучатого племянника вождя мирового пролетариата. И встречались мы с ней в высотке, что на Красных Воротах. Ночь со вторника на среду принадлежала моей «любви с первого взгляда» — непредсказуемой Тамаре Ивановне, которая жила у метро Южная. Среду и четверг я проводил с моей будущей женой — Тамарой, которая жила сперва на улице Вавилова, потом в Чертаново, а еще позже — у меня на Таганке. Пятница принадлежала Оле, моей бывшей жене, которая никак не хотела расставаться со мной в сексуальном плане. И приходила она, конечно же, на Таганку, пока не уехала в Израиль, а оттуда в США.

И, наконец, суббота — день, отданный первозданному сексу, сексу ради секса. Муж и любовь к нему у Розочки были, а с сексом выходила «напряженка», которая и компенсировалась в этот день. У меня же любви было много — я как-то одновремен-

но ухитрялся по-настоящему любить трех моих Тамар — Грозную, Ивановну и будущую жену. Была и «криминальная» любовь — к генеральше Ульяновой, и «по-привычке» — к бывшей жене Оле. Ездил я периодически и в Киев к своей молоденькой любовнице Ире — то была почти отеческая любовь. А также присутствовала любовь «к двум апельсинам» — моим ласковым подругам Маше и Луизе.

А вот секс ради секса, причем секс чистый, я бы сказал, первозданный, звериный, без каких-либо лицемерных потуг придать ему налет влюбленности — был только в субботу с Розочкой. Причем ведь я любил и ее, но только как жену друга. А кроме того, и уважал как достойного, и даже где-то более сильного сексуального партнера, вроде как достойного соперника в спорте.

Но бывали и встречи новые, спонтанные, правда, чаще всего, встречи-«однодневки», которые никак не влияли на наш сплоченный коллектив.

И вот, после случайной встречи с негритянкой Сюзи из Африки, когда я поверил, что заразился СПИДом, я решил сам сократить свои «кадры» до минимума. Тамара — будущая жена, которую я тут же посвятил в суть дела, не бросила меня, а согласилась и жить и умирать (если придется, конечно!) вместе. Каким-то дамам я сказал, что женюсь. Других дам я травмировать не стал, а просто предложил пользоваться нашими резиновыми «санитарами». Дескать, так сейчас модно, да и мало ли чего могут принести нам наши сексуальные партнеры. Но обычно они поднимали меня на смех и от услуг «санитаров» отказывались. Розочке я рассказал всю правду, и первое время мы использовали «безопасный» секс. Саше я ничего говорить не стал, духа не хватило. А затем я еще раз убедился в совершенной исключительности женского подхода к жизни, по крайней мере, этого подхода у настоящей, стопроцентной женщины — Розочки.

Розочке «безопасный» секс понравился. Иностранное тело, которое «разлучало» нас, не позволяло соединиться, слиться в один организм, бесило ее. Она даже перестала получать оргазм во время близости, это сводило ее с ума.

И вот до чего додумалась «стопроцентная» женщина — наша Розочка. В очередную субботу, когда я уже начал было шарить под подушкой и искать «пакет безопасности», она отстранила мою руку с «изделием № 2», как стыдливо назывались в советское время презервативы. Она снова нависла надо мной и, серьезно глядя мне в глаза своими черными бездонными озерами, заговорщицки сказала:

— Я буду пользоваться презервативами с Сашей, чтобы в случае чего не погубить его. Все равно я последнее время с ним не получаю оргазма. Найду, чем объяснить это. А с тобой давай

жить без посредников, а то я с ума сойду! Готова принять мученическую смерть с тобой вместе, если надо, ради этого. Не нужна мне жизнь без нормального секса!

«Да, бабы — это совсем другие люди, нежели мы, мужики, — подумал я. — Для них главное в жизни — это настоящая близость с мужчиной, это возможность слиться с ним в один организм, это превращение с ним в подобие сиамских близнецов — с двумя головами, четырьмя ногами и руками, но с одним сердцем, одной душой и, простите, сросшимися намертво половыми "принадлежностями". И любое препятствие этому будет отмечено, уничтожено всеильным женским порывом. Вот чем объясняются страшные по своей жестокости поступки Медеи, Фриды, леди Макбет и тысяч их последовательниц. А сколько по тем же причинам происходит убийств и самоубийств! Конечно, речь идет о тех "бабах", в которых женское начало преобладает над нравственностью, над религией, над страхом смерти наконец! И счастье и большая беда — встретиться с подобной бабой!»

Такие мысли гуляли в моей голове в то время, как, приняв изложенное Розочкой решение, мы в безумном порыве, обливаясь слезами, целовали друг друга, переворачиваясь и принимая «естественную», с нашей точки зрения, позицию для совершения полового акта.

Оргазм в этот раз у Розочки был так силен, что ее громкие тревожные крики я не мог заглушить ни поцелуями, ни даже ладонью. Разбуженный Саша приоткрыл нашу дверь и осторожно спросил: «У вас все нормально?»

Розочка промолчала, а я, тяжело дыша, стал объяснять ему, что это Розочке приснился страшный сон: будто бы читатель похитил из ее библиотеки редкое издание Камасутры.

Саша все понял и, язвительно хихикнув, затворил дверь. Я же получил от нашей Розочки любовный подзатыльник, правда, не такой уж безобидный.

Может возникнуть вопрос — почему же за несколько лет подобного общения у нас не появилось желания провести половой акт втроем? Ведь это уже в те годы не было чем-то запретным и широко рекламировалось порно- и даже просто эротическими фильмами. «Как не появилось — очень даже появилось!» — отвечаю я (за Розочку, конечно).

Еще когда мы не нуждались в «изделии № 2», как-то Розочка, сверкая горящими от авантюризма глазами, изложила мне сценарий этого действия. Зная, что Саша ни под каким видом добровольно не перейдет к нам в комнату, Розочка придумала следующее. Мы с ней, готовые к исполнению своих обязанностей, тихо заходим в комнату к Саше. Первой подходит к Саше Розочка и нежно ложится на него, как будто для их обычного полового акта. А затем через минуту-другую подхожу я, ложусь

сверху на Розочку и таким трехслойным бутербродом мы попытаемся воспроизвести хорошо изученный нами по порнофильмам сценарий.

Но режиссера у нас не было, а «нижний» актер оказался слишком пугливым. Когда Розочка нежно прилегла на него, спящего, и придавила его своими булжниками, тот раскрыл глаза и инстинктивно пробормотал: «Убедительно...» А затем, заметив меня рядом со своим диваном, издал вопль насилуемой девственницы. Он оттолкнул Розочку, вскочил на ноги и стал бегать по комнате, стараясь выбежать в холл.

Мы с Розочкой, поняв, что наш план провалился, поникли (в буквальном смысле слова «поник» я!) и тихо вернулись к себе в комнату. Переждав шок, мы снова вошли в боевую форму и со словами «а нам и так хорошо!» занялись привычными делами. Больше подобных развратных попыток мы не делали. Тем более Саша утром предупредил, что в случае повторения вчерашнего он больше по субботам «прикрывать» нас не будет, а останется дома с мамой Блюмой, причем расскажет ей, где ее дочь, простите за рифму, проводит ночь.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Мы вдвоем с Розочкой больше развратных попыток не делали, а неутомная моя партнерша и жена друга сломить своих привычек так и не смогла. Звонит мне Саша как-то после работы из автомата и упавшим голосом сообщает, что Розочка надумала нам изменить. Правдивая и прямолинейная Розочка, оказывается, рассказала своему мужу, что за ней ухаживает мужик, которому она не может отказать.

— Он женат, и ты не опасайся, что я к нему уйду, — успокаивает мужа Розочка. — А немного пофлиртовать — разве это так уж плохо? Я же тебе не запрещаю — гуляй где хочешь, только детей не делай на стороне и заразы не приноси. А у меня детей не будет, и у него ведь жена — оба чистые, культурные!

— Нет, ты на нее посмотри! Немного «пофлиртовать» ей захотелось! Мало ей нашей субботы — флиртуй себе сколько захочешь под моим прикрытием, а ей еще и на стороне пофлиртовать, видите ли, надо! — возмущался Саша.

Меня это сообщение задело за живое. Наша Розочка совсем обнаглела. За такое поведение по моисеевым законам побивают камнями. Но мы ей сломаем-таки кайф! «Разврату — нет!» в нашем маленьком коллективе!

Прежде всего я разузнал у Саши, что Розочка собирается в нашу «святую» субботу выехать с хахалем на природу и там предаться «флирту». Благо июнь, начало лета — хоть на траве

лежи! Она ничего от Саши не скрывает, это уже хорошо. А маме Блюме хочет сказать, что у нее в библиотеке субботник. Субботник!!! Для ортодоксальной иудейки — это просто забавно! И она, эта неверная Манон, жертвует нашей субботой — единственным в неделю сексуальным днем и идет на флирт, вернее, разврат, с чужим человеком! Нет, это им даром не пройдет!

Я попросил Сашу заехать ко мне на Таганку, а сам стал продумывать варианты отваживания Розочки от чужака. Наглость-то какая — сам женат, она — замужем, и флиртовать на природе! А мне в субботу — с Сашей, что ли, флиртовать прикажете? Или переходить на самообслуживание?

Планы были один другого грознее. Встретить их вместе и набить ему морду. Но тогда Розочка поссорится со мной, а его полюбит еще больше. Найти его телефон и пригрозить, что убьем, если не оставит в покое чужую жену? Может, пожаловаться в милицию? Или позвонить его жене и раскрыть ей глаза? Гадко как-то получается — любовник жены друга звонит жене мужа, чтобы она отвадила его от встреч с женой друга, сиречь любовницы звонящего! Сам черт ногу сломит!

А сделаем мы вот что. Я вспомнил японскую дуэль со своим соперником в студенческие годы, еще в общежитии. Тогда под видом яда я скормил ему тройную дозу нитроглицерина и он «продал» мне нашу любимую девушку за «противоядие» — огромную таблетку кислющей аскорбинки. Нет, тут нитроглицерином не поможешь! Здесь нужно что-то покруче!

И тут позвонил в дверь Саша. Он, оказывается, пришел домой с работы, а Розочка все ему и выложила. Вот и побежал он советоваться со мной по автомату. От Кузьминок до Таганки — минут двадцать, и через полчаса после нашего телефонного разговора Саша уже сидел со мной на кухне, запивая волнение водкой с газировкой.

— Позор-то какой, — рассказывает Саша, — бутылку водки сама купила и закуску приготовила для пикника на природе...

— Погоди, — вдруг мелькнула у меня удачная мысль, — закуску, говоришь, а какую?

— А что? — удивился Саша, — банку со шпротами, батон хлеба, сыр, колбасу нарезанную. Все это она заворачивала и клала в пакет при мне.

— Ах, колбасу, — а какую? Кошерную из баранины с чесноком или нашу русскую, свиную? — как детектив допытывался я.

— Хорошую колбасу, дорогую — Московскую, кажется... — сказал Саша.

— Ура!!! Московская — на четверть из конины, а остальное все свинина, да еще с крупными кусочками сала. Так что Розочка под дулом пистолета такую есть не будет, значит это колбаска для него. Он, видимо, агой, раз свинину ест, хотя сейчас по-

шли такие аиды! — и я махнул рукой, переходя на национальную тему. — Мы отравим колбаску, стало быть, отравим этого гада, чтобы с чужими женами не флиртовал!

— Да ты что, в своем уме? Как можно, это же убийство, за это знаешь что будет! — заверещал в ужасе Саша, — нет, я не согласен!

— Эх ты, Пушкин за честь жены на дуэль пошел, а ты гада боишься прикончить за такую шикарную женщину, как Розочка! Ладно, не бойсь, все не так опасно, как ты думаешь. Поясняю для экономистов. Есть такое сильнейшее в мире слабительное средство — каломель, или хлористая ртуть. Достаточно лизнуть несколько миллиграммов порошка этой каломели, как из туалета не вылезешь. А на природе — просто и чудесно — это один большой туалет получится. Сиди себе и никакого тебе секса! Поэтому и называется, наверное, *кало-мель*, это как бы организм «кал мелет», как на чертовой мельнице! У меня, к счастью, эта каломель есть, правда, для совсем других, технических целей, которые тебе, как гуманитария, будут неинтересны. Я дам тебе точную дозу пудры каломели, а ты ночью припудришь ею московскую колбаску, которую Розочка для своего хахала приготовила, и дело — в шляпе! Ему, я уверяю тебя, да и ей, будет не до секса!

— Ртуть, говоришь, хлористая — а не яд ли это? И хлор ядовит, и ртуть — а вместе, наверное, яд страшнейший! Еще подохнет гад, и отвечать будем!

— Эх ты, гуманитарий — человек второго сорта! Совсем химию, что мы в институте проходили, забыл! Хлор и натрий ядовиты. Попробуй пожуй натрий — и у тебя водород изо рта повалит, а во рту едкая щелочь образуется! А хлористый натрий — обычная пищевая соль. Ты и мухоморы ведь считал ядом, когда жрал их немывыми. Помнишь?

Я достал «Словарь иностранных слов» Брокгауза и Ефрона и на странице 393 нашел: «Каломель — греч., хим. Однохлорная ртуть; сильное слабительное», показал статью Саше, и тогда он поверил. Среди своих химикатов между свинцовым суриком и порошком нашатыря я нашел маленькую баночку с надписью «Ртуть хлористая, чистая для анализа (ЧДА), 100 г». Отсыпал чуть-чуть порошка, мелкого, как пудра, и завернул в бумажку.

— Припудри ломтики колбаски и потри их друг о друга, чтобы заметно не было. Хотя под водку всем, чем хочешь, закусить можно! Не мандражь, — подбодрил я его, — как Сталин говорил — наше дело правое, победа будет за нами! Да и телефон хахала постарайся узнать, а также имя его — я хочу со своим соперником поговорить!

Саша мрачно удалился, а я стал ждать прихода Оли — моей бывшей жены. Она еще приходила ко мне на ночь по пятницам.

Где и с кем она была в другие дни и ночи — я не знал, она обо мне знала больше, но только не о Розочке с Сашей — это было табу!

В субботу Саша пришел ко мне прямо с утра. Как только проводил со слезами на глазах Розочку из дома, так на Таганку и приехал. Даже с Олей столкнулся в дверях. Они раньше не виделись и удивленно посмотрели друг на друга. Интеллигентный, даже женственный Саша Оле не понравился.

«Что, уже на мужиков с утра перешел?» — сказал красноречивый взгляд Оли мне в глаза.

— Это мой коллега с кафедры экономики, — поспешно представил я Сашу, — а это — моя жена Оля. — Я даже не добавил «бывшая», чем польстил ей. А Саша сделал удивленные глаза, зная, что я не женат, но вежливо поздоровался.

Мы пили с Сашей понемногу и с грустью. И не сладкий ликер имени Розочки, а горькую водку, запивая ее газировкой. И закусывали специально купленной именно «Московской» колбаской, правда, без каломели, ожидая развязки Розочкиного флирта — ведь Саша исполнил все, как договаривались. Чокались стаканами и произносили любимый тост: «За успех безнадежного дела!» Часа в три позвонила Розочка и спросила меня печальным и скромным голоском: «Саша у тебя?» Через полчаса она была у нас.

— За успех безнадежного дела! — провозгласили мы и чокнулись с Розочкиным стаканом.

Она по очереди внимательно взглянула на нас и выпила водку. Мы, как ни в чем не бывало, предложили ей закусить «Московской», но она брезгливо отвернулась от колбасы и снова пытливо посмотрела нам в глаза. Взгляды наши были чисты и любящи. Розочка, запив водку газировкой, захмелела, уткнулась взглядом в стол и, уронив голову на руки, заплакала тихо и жалобно, часто всхлипывая.

— Ты, конечно, тоже все знаешь, — всхлипнув, обратилась она ко мне. — Саша говорил утром, что рассказал тебе, куда и зачем я еду. И что ты предупреждал про Божье наказание за это, про законы Моисея из пятикнижья и про побивание камнями. Так вот, я и была побита камнями сегодня, — и, видя, что мы встrepенулись, добавила, — в фигуральном смысле, конечно. О, это было просто ужасно! Альбертик (она впервые назвала его имя!) ужасно отравился чем-то и чуть не умер. Колбасой, наверное, потому что другие продукты ела и я. А колбасу свиную — только он. Готовят у нас всякую гадость, травят людей! Плохо, что ни ломтика этой колбасы не сохранилось, а то бы в суд подать на мясокомбинат надо! Это было так ужасно, так ужасно! — и Розочка опять залилась слезами.

Мы с Сашей переглянулись и мысли наши были синхронны, синфазны, а также конгениальны: «Как хорошо, что ни ломтика не сохранилось!»

Мы накормили Розочку и уложили бедняжку отдыхать. Прямо на мою широкую койку в маленькой комнате. А сами со скорбным видом удалились восвояси. Там же, а именно «восвоясях», мы налили себе по полстакана и уверенно чокнулись: «За успех безнадежного дела, которое выгорело!»

Теперь Розочка уже снова наша! И конкретно — моя, уже сегодня ночью. Ночь наша, правда, не изобиловала вавилонскими страстями и приглушенными криками. Но слез, поцелуев, извинений и признаний в любви с Розочкиной стороны, может, даже и несколько чрезмерных, было предостаточно!

Саша узнал-таки телефон Альбертика, правда служебный. Розочка звонила ему только на работу, потому что по домашнему на жену могла наткнуться. Зато и фамилию Альбертика узнали — Завалихин.

И в понедельник поутру, будучи в хорошем настроении, звоню я на службу Альбертику.

— Мне товарища Завалихина, — сказал я трубке, провозгласившей мне свое «Але!»

— Я слушаю! — ответила трубка.

— Слушай сюда внимательно, засранец! Это звонят с Останкинского мясокомбината. Будешь на наш комбинат напраслину возводить — пожалеешь! Сообщим в партком, что с чужой женой гуляешь! Покедова, Альбертик, не кашляй, а то штанишки испортишь!

И я с удовольствием повесил трубку. Честь нашей Розочки была спасена!

НЕГРИТЯНКА СЮЗИ

Я уже писал про свою случайную встречу с негритянкой Сюзи и как она коренным образом изменила течение моей жизни. Расскажу все-таки об этом поподробнее, так как эта встреча и последующие события на долгое время изменили привычные мои отношения с близкими людьми.

В 80-е годы была чрезвычайно популярна телепередача «Это вы можете!». Это была единственная передача того времени, где хоть кого-то можно было критиковать и ругать. Речь в ней шла об изобретениях и изобретателях. Передача была настолько популярна, что о ней упоминал даже президент Горбачев, о ней писала газета «Правда», ее пародировали артисты и т. д. Я был постоянным членом жюри или экспертной комиссии передачи. Поведение мое там несколько напоминало поведение экстравагантного политика Жириновского: я часто кричал, вскакивал с места, мутузил не понравившегося мне выступающего и совершал иные эпатажные поступки.

Передача шла очень часто, почти по всем тогдашним каналам, и популярность ее постоянных участников была бешеная. О нас писали книги, снимали не только киножурналы, но и художественные фильмы, нас рисовал великий карикатурист Херлуф Бидstrup. Меня узнавали везде, где надо и не надо, причем не только в Москве, но и во всех городах, где мне довелось побывать. В Тбилиси, например, в кафе меня с Тамарой (будущей женой) обслужили не только без очереди, но и бесплатно, назвав «национальной гордостью». В Сухуми же, когда я зашел, простите, в привокзальный туалет, и там неожиданно погас свет, я ругнулся по всем российским правилам. И вдруг из темноты раздался голос посетителя туалета: «Профессор Гулиа, передача «Это вы можете!» Автографы брали у меня прямо на улицах.

Этой популярности способствовал и мой имидж — длинные волосы, профессорская борода с усами, большие очки, линялые, часто рваные джинсы, рубашка — апаш. Эдакий демократический профессор-скандалист и задира. На записях передачи я обычно сидел рядом с моим старшим товарищем и другом — писателем Василием Захарченко, которого, к сожалению, уже нет с нами. Перед телекамерами мы часто шумно препирались друг с другом, производя впечатление непримиримых антагонистов. А когда камеры отворачивали, мы тихо доставали из карманов припасенные фляжки с водкой или коньяком и угощали друг друга. Бывало, что даже перебирали, и тогда ведущий Владимир Соловьев грозил нам кулаком и делал страшное лицо.

На этих записях, которые происходили чаще всего в различных павильонах Выставки достижений народного хозяйства, присутствовало множество народа — в качестве зрителей преимущественно. После окончания записи зрители, а часто и зрительницы, знакомились с участниками передачи, в том числе и со мной. Бывало, что какая-нибудь настойчивая поклонница буквально напрашивалась в гости, и если Тамары не было дома, то и заходила ко мне «на огонек». Шампанское, сауна и койка в финале — вот обычный ассортимент таких встреч. Телефонными практически не обменивались. Наши записи происходили по воскресеньям, а Тамара по выходным дням навещала свою маму с дочкой, причем с ночевкой.

На всю жизнь запомнился вечер, когда ко мне домой после передачи завалились сразу Володя Соловьев, Василий Захарченко, редактор Татьяна Штода, а также две зрительницы-поклонницы. И ни одна из них не захотела уходить, когда друзья распрощались со мной. Так втроем принимали сауну и допивали вино, а потом ложились, что называется, спать.

Но не все коту масленица — как-то однажды получилось так, что я возвращался домой один. Звоню Тамаре и прошу ее приехать домой, но получаю отказ. Злой, как тысяча чертей, вы-

хожу из метро «Таганская-кольцевая» и вижу прогуливающихся девиц в коротких юбочках, видимо, ждущих кого-то, возможно, и меня. Среди них я вдруг замечаю (вспоминаю — и холодок по коже!)... негритянку. Худую, высокую и черную, как ночь, с миллионом тоненьких косичек.

Я припомнил весь свой английский лексикон и сумел-таки пригласить чернокожую леди к себе на Таганку. Леди совершенно не говорила по-русски и была немного подшофе. Дома мы добавили, затем сауна... и забытье. Просыпаюсь и обнаруживаю себя в чем мать родила, лежащим на полу на паласе, а рядом — темнокожая леди в той же одежде. И никаких признаков презерватива!

Меня аж заколотило от страха, а может, и с перепоя. Лежу — думаю. Негритянка — это Африка, а Африка — это СПИД! Надо срочно что-то делать. По возможности, нежно бужу мою леди, ласково целую ее и, используя оставшийся после пьянки английский лексикон, спрашиваю:

— Детка, а была ли у нас любовь вчера?

На что она охотно, и даже радостно, отвечает:

— Конечно, дорогой!

У меня все оборвалось внутри, я еще надеялся, что успел зазнуть по-пьяни без этого сексуального ритуала, но нет — проклятая привычка все же подвела!

Мы встали, умылись, стали пить кофе. За утренним кофе (прямо как в лучших домах Лондона!) я узнал, что подругу мою зовут Сюзи и что она живет в какой-то центрально-африканской стране. От страха я тут же позабыл название этой страны, помню только, что в слове была буква «з» — Замбия, Зимбабве, Заир, Мозамбик и так далее. А в СССР она приехала в «бизнес-трип», то есть в командировку.

Наскоро выпроводив гостью, я тут же принялся названивать в антиспидовую лабораторию, что на Соколиной горе. Телефон, который я ранее записал просто так, не рассчитывая даже им воспользоваться, к моему сожалению, пригодился.

Между мной и работником лаборатории произошел разговор, который я воспроизвожу в вольном изложении из своих же ранних публикаций. Как и все дальнейшее, что произошло со мной, связанное с приведенной выше историей. Так как к моему другу Александру Македонскому это прямого отношения не имеет, то можно считать это поясняющим рассказом. Но без этого рассказа многое из дальнейшего было бы просто непонятным. Итак:

— В чем проблемы? — спросил меня недовольный мужской голос.

— Да переспал с негритянкой без презерватива! — с досадой доложил я.

— А негритянка-то — наша? — спросил голос.
— В каком смысле «наша»? — не понял я.
— Живет она в СССР или приехала откуда-то? — с раздражением проговорила трубка.
— Приехала из Африки, — ответил я, — страна какая-то с буквой «з». Заир или Зимбабве, а может, Мозамбик!
— Это все плохо! — упавшим голосом ответил телефон, — все очень плохо!
— Так когда можно на анализ? — забеспокоился я.
— Через полгода, не раньше! — ответил голос, — когда появятся антитела. У нас другого оборудования нет! Но даже и через полгода антитела могут не появиться, они могут вообще не появиться, а человек — инфицирован! — голос раздражался все больше. — Головой думать надо было, когда ложитесь с африканкой! — и человек повесил трубку.

Потом, когда я услышал голос Вадима Покровского по телевизору, я понял, что, видимо, по телефону говорил со мной именно он. Положение у меня было аховое. Никаких «концов» Сюзи у меня не было, да если бы и были, что бы я с ними делал? Тамара должна прийти сегодня вечером. Как мне с ней поступать? Жить, как будто ничего не произошло, или признаться во всем? Тем более я Тамаре уже стал все рассказывать про свою личную жизнь. Решил покаяться, все равно я по-пьянке во всем бы признался позже. Ожидаю истерики, упреков, слез. Тамара выслушала мои признания молча, сидя на стуле и опустив глаза в пол.

— Что ж, — наконец подытожила она, — жили вместе, а если надо — и умирать вместе будем. Где ты, там и я! Не надо было тебя одного оставлять, тем более выпившего, тут и моя вина. Жизнь продолжается, а теперь давай выпьем! — резюмировала Тамара.

Другим Тамарам и дамам с иными именами, кроме Розочки, которая, как и Тамара, согласилась разделить мою участь, я ни о чем не рассказывал. Как бы невзначай предложил пользоваться презервативами, но был осмеян.

Я не понимал, что творю. Взрослый, достаточно образованный человек — и совершает поступки преступника! Ведь не было исключено, что я инфицирован. Тогда, кроме Тамары — будущей жены, и Розочки, которые добровольно согласились так рисковать, я мог погубить еще, как минимум, двух Тамар и дам с иными именами. А кроме женщин должны погибнуть и их сексуальные партнеры. А у этих партнеров — свои партнерши, и так далее. И вот во всем буду виноват один я!

Голова шла кругом. Постигание этой страшной истины приходило как-то не сразу, а постепенно, день за днем, неделя за неделей. Я стал читать труды по вирусологии о восприимчивости различных фенотипов к вирусу иммунодефицита челове-

ка. Стал изучать симптомы заболевания: сильное похудание — на 10 — 12 килограммов, субфебрильная температура, опухание лимфатических желез, кашель. Анализировал методы задержки перехода латентного периода болезни в активную форму. Прочел в зарубежной научной литературе о пользе укрепления иммунитета холодными обливаниями и моржеванием.

Пока морозов не было, я заполнял ванну холодной водой и ложился туда минут на пять — семь. Советую попробовать эту процедуру, и тогда вам ничего уже больше в жизни не будет страшно!

В конце июня я решился пойти на сдачу анализов на Соколиную гору. Вместе с Тамарой мы вошли во двор инфекционной больницы и нашли флигель, куда тянулась длинная очередь. Это и была лаборатория, где брали анализы на СПИД. Мы попытались пристроиться в хвост, но вся очередь тут же обернулась и уставилась на меня.

— Что, скрытой камерой снимать будете? — раздраженно заворчала толпа. — Кто пустил сюда телевидение?

Мы все поняли и быстренько ретировались. Меня в очередной раз узнали и совсем не там, где хотелось бы. Тогда я решил изменить свой «имидж» до неузнаваемости — сбрил бороду и длинные, до плеч, волосы. Я поразительно стал напоминать один персонаж, знакомый мне по иллюстрации из учебника латыни. Это был римский меняла — мужчина с бритыми бородой и волосами на голове. Мошенничество и обман были просто прописаны на его лице.

Я вспомнил грузинский термин — «коса», или азербайджанский — «кёса», который означает «безбородый обманщик». Интересно, что нет термина «бородатый обманщик», а термин «безбородый обманщик» можно выразить одним словом! Вот на такого «кёсу» я и стал похож. Никогда не думал, что борода так хорошо скрывает мошеннический тип лица: надо посоветовать нашим олигархам немедленно отпустить бороды «а-ля Владимир Ильич»! Вождь был не промах — борода очень облагораживала его упомянутый тип лица!

Что ж, на этот раз в очереди меня не узнали. Мы сдали кровь, результат должен был быть известен через три дня. Я не знал, куда девать себя все это время. Продумав все варианты, я пришел к выводу, что если анализ будет положительным, я прежде всего убиваю Тамару и Розу, чтобы не мучились и не подвергались позору. Затем убиваю двух других Тamar, а также дам с «иными именами» из тех же альтруистических побуждений. После этого, естественно, убиваю себя.

Когда я уже должен был звонить в лабораторию и весь трясся от страха, Тамара спокойно доедала свой обед. Меня взбесило это спокойствие, и я сообщил Тамаре о моих планах в случае поло-

жительного анализа. Она очень возмутилась и сказала, что это — самоуправство и самодурство, но обед все-таки спешно доела.

Я дозвонился до лаборатории и сообщил номера анализов. Жующий голос лаборанта попросил подождать и замолк. Молчание продолжалось минуту, другую, третью... Я понял — анализ положительный и лаборант сейчас срочно направляет к нам на дом санитаров, чтобы те силой забрали нас в больницу...

Наконец голос ответил, безразличным тоном сообщив, что анализы отрицательные. Я выдохнул, наверное, кубометра два воздуха, и с ним мое беспокойство. Срочно побежал в ближайшую церковь (Покрова Богородицы, что на Лыщиковой горе) и страстно молился — благодарил Спасителя.

Сейчас я подозреваю, что получил-таки свою долю облучения, когда побывал летом 1987 года в Киеве, лежал в Гидропарке под дождем и купался в Пуще-Водице. Но симптомы легкой лучевой болезни и СПИДа так похожи, что я перестал сомневаться и, несмотря на отрицательный результат анализа, окончательно поверил, что инфицирован. У меня развился психоз, который в медицине получил название «спидофобии»; оказывается, такое случается с мнительными людьми частенько.

Мы с Тamarой постоянно ходили сдавать кровь, но я продолжал не верить отрицательным результатам. Я стал мрачным, раздражительным, все свободное время лежал, отвернувшись к стене. Но была в этом и польза — я начал моржеваться зимой и регулярно тренироваться, поднимая штангу в зале. Перестал ездить в Киев и встречаться с молоденькой любовницей Ирой, а в Москве прекратил ходить к моим Тамарам — Ивановне и Витольдовне, а также к дамам с «иными именами». Тем не менее с Розочкой, как и с Тamarой, наши близкие отношения сохранялись. На работе меня перестали узнавать — кроме того, что у меня уже не было бороды и волос, я похудел на 12 килограммов. В паху, под мышками и на шее опухли лимфатические узлы, и был постоянный кашель. Спать я перестал, мучила температура, исчез аппетит. Имидж мой изменился неузнаваемо — из веселого, бесшабашного бородача, гуляки и повесы, я превратился в мрачного, нелюдимого трезвенника, борца за собственное здоровье и нравственность. Меня перестали узнавать даже в нашей телепередаче — чужой бритый мрачный мужик никак не коррелировал со знакомым веселым и агрессивным профессором.

Я стал снова подумывать о своих страшных кровавых планах. Целые дни я валялся в постели, вынашивая ужасные подробности и постоянно принимая транквилизаторы. И вдруг, не выдержав напряжения, я вскочил с постели и помчался в церковь Николая на Болванах, что прямо за метро «Таганская». Чтобы просить чуда — спасти меня и моих дам от смертельной напасти. И — вы не поверите — случилось настоящее чудо! На том

же самом месте, что и в прошлый раз, я встречаю... Сюзи! Я узнал ее, я узнал бы ее среди тысяч негритянок, я столько думал о ней все это время!

Подбегаю к ней, окликаю, а она шарахается от меня — не признает. Я же так радикально изменился за это время! Она уже начала звать людей на помощь, но я упросил ее уделить мне хотя бы минутку. Оказывается, она сносно говорит по-русски. Или дурачила меня тогда, или подучила с тех пор.

— Сюзи, — умоляющим голосом говорю я ей, — вспомни меня, я — Ник, я был с черной бородой, мы провели ночь у меня дома. Я так искал тебя (я решил применить хитрость, чтобы вынудить Сюзи сделать анализ крови), оказалось, что я инфицирован ВИЧ. Видишь, как я выгляжу. Я боюсь, не заразил ли тебя! Тебе надо сделать анализ крови, обязательно!

— Ник, — взволнованно отвечала мне Сюзи, — я очень огорчена твоими проблемами, я полагаю, ты не знал об этом, когда пригласил меня к себе. Но ты не беспокойся за меня — я здорова, я регулярно сдаю кровь на анализ, когда приезжаю с родины сюда, это обязательно. И, кроме того, мы же с тобой не занимались сексом, ты что, не помнишь? Ты же был сильно пьян и сразу же заснул!

— Как же, я ведь спросил тебя утром: «Имели ли мы любовь вчера?» — и ты ответила: «Конечно, дорогой!»

— Английский надо получше знать! — жестко ответила Сюзи. — Ты, видимо, перепутал «йестеди» и «туморроу». Ты меня утром на дурном английском спросил: «Дорогая, будет ли у нас любовь завтра?» Ну а я, чтобы не огорчать тебя, ответила: «Конечно, дорогой!» Успокойся, ты не мог меня заразить! Повторяю, я очень сожалею, что с тобой все так получилось!

Сюзи сама поцеловала меня на прощанье и поспешно ушла.

ВЕНЧАНИЕ

Я, как пьяный, добрал до церкви, зашел туда, упал на колени и стал отбивать земные поклоны. Я обещал Богу, что обязательно обвенчаюсь с Тамарой.

А дома осторожно так, намеками, говорю Тамаре, что хорошо бы наконец узаконить наши отношения. И обвенчаться, чтобы потом, на небе (вроде я не сомневаюсь, что мы попадем именно туда!) оказаться в одном департаменте. Но Тамара удивленно отвечает:

— А так, что ли, жить нельзя?

— Нет, — говорю, — я не какой-нибудь обормот, чтобы незаконно жить с бабой на стыд всем соседям! А что родственники

скажут, какой пример молодым мы подаем? И имею ли я право воспитывать молодежь, если сам незаконно сожительствую?

— Ты что вдруг моралистом заделался, снова с негритянской переспал, что ли? — поинтересовалась Тамара.

— А вот чтобы ни мне, ни тебе не повадно было к разврату обращаться, предлагаю обвенчаться в церкви и закрепить наш брак на небесах! Без всяких там Мендельсонов! А с негритянской, действительно, сегодня встретился!

И я рассказал Тамаре о последней встрече с Сюзи, чем неказанно ее обрадовал. Как, разумеется, и Розочку, только чуть попозже.

Как положено, подали сначала заявку в загс. Дали нам пару месяцев на размышления. Я даже возмутился: что, пятнадцати лет, которые мы прожили вместе — мало, еще двух месяцев не хватает? Но закон — есть закон!

За эти два месяца я договорился со священником в ближайшей церкви о венчании. Это была маленькая старинная церковь Покрова Богородицы, что на Лыщиковой горе. Священник, как и Тамара, оказался тоже болгарин по национальности, и звали его отец Иоанн Христов. Наметили венчание на 11 июня, прямо после загса. Все эти два месяца Тамара шантажировала меня, если что не так — не пойду, мол, за тебя замуж! Но я терпел — намеченное надо было реализовывать непременно!

11 июня нас по-быстрому расписали в загсе. «Именем Российской Федерации» нас объявили мужем и женой. Смешно, ей-богу — почти как «именем революции»! А просто, по-человечески нельзя? Женщина-инспектор уже было собралась нажать музыкальную кнопку, но я прижал ее руку к столу и попросил: «Пожалуйста, нам без Мендельсонов. Мы сейчас в церковь идем!»

— Ну и правильно, — обрадовалась она, — так и надо!

Своим «шафером» я попросил быть преподавателя нашей кафедры Виктора Клокова, с которым успел подружиться. Уговорил быть при венчании подругой невесты мою последнюю Тамару — Грозную. Она неожиданно легко и быстро согласилась, и я познакомил мою последнюю Тамару с предпоследней. Они давно были знакомы заочно и сразу перешли на «ты».

11 июня 1993 года погода была солнечная, теплая. Прибыли в церковь всей компанией, а там перерыв. Нашли отца Иоанна, тот позвал регента, который как-то «не по-русски» стал торговаться:

— Хор я уже отпустил, теперь нужно всех по телефону вызывать, такси оплачивать!

— Сколько? — коротко спросил Клоков.

Регент назвал сумму, сейчас она будет выглядеть странной и непонятной. Какие-то там большие тысячи, долларов около ста. Я отдал ему деньги.

Подошел звонарь.

— Звонить будем? — спросил он почему-то Клокова.

— Сколько? — просто, по-русски спросил Клоков.

— Сколько не жалко, — замялся звонарь.

Мало разбираясь в непонятных для меня деньгах, я протянул ему сто рублей. Вполне приличная сумма, но пару лет назад. Звонарь так и остался с вытаращенными глазами.

— Он иностранец, в наших деньгах не разбирается, — пояснил Клоков и дал звонарю тысячу. «Потом отдашь!» — прошептал он мне.

Осталось узнать у самого «главного» — отца Иоанна, сколько подобает заплатить ему. Но спросить об этом у него я не решился — выручил Клоков. Он же и заплатил, не забыв прошептать мне: «Потом отдашь!»

Хор оказался на месте, причем без такси. Отец Иоанн позвал помощников, и обряд начался. Помощник принес какие-то короны, но священник строго приказал ему: «Неси царские!»

Принесли «царские» короны — ажурные, большие. Грозная — красивая и торжественная, несла корону над головой Тамары; Клоков, чуть не засыпая на ходу — над моей. Щедрый отец Иоанн, давая нам с Тамарой испить вина, налил в чашу столько кагора, что я даже забалдел.

Запел хор ангельскими голосами, зазвонили колокола, отец Иоанн водил нас вокруг аналоя — все было очень торжественно. У Тамары даже навернулись на глаза слезы от значительности момента. Под конец отец Иоанн выдал нам свидетельство о венчании, подписанное размашисто — «Христов». «Почти Христос!» — простодушно заметил отец Иоанн.

Меня записали с моих слов Николаем, я пояснил, что так крестили. Хорошо, что у Тамары оказалось «легитимное» имя, а ведь могли назвать какой-нибудь «Лениной» или «Октябриной». Тогда опять объясняйся!

Закончив обряд венчания, мы отправились пешком домой, благо идти было минут пять. Клоков отстал немного, а потом, к нашему удивлению, подошел вместе с отцом Иоанном, уже одетым цивильно. Тот перекрестился на огромное распятие, висевшее у нас на стене, и мы сели за стол. Отец Иоанн поначалу пытался поучать меня цитатами из Евангелия. Но видя, что я, подхватывая их, продолжаю наизусть, махнул рукой, и мы принылись за вино.

Мне было страшно находиться в непринужденной обстановке с таким большим «начальником» — посредником между Богом и нами, грешными. А потом вино сделало свое дело, и мы под конец сидели, чуть ли не в обнимку, напевая псалмы царя Соломона.

РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЬИ

Итак, я — снова женатый человек, более того — венчанный. Жизнь моя должна теперь круто измениться. Что ни говори, до венчания она у меня была достаточно грешной. Если даже забыть о том периоде, когда число дам, посещаемых за неделю, превосходило число дней в ней. За этот период Господь, видимо, и наказал меня встречей с Сюзи и всем связанным с этой встречей мытарством, во время которого я все равно продолжал, грубо говоря, сожительствовать с женой друга. Да, с его согласия, и даже по его рекомендации. Да, с согласия моей любимой женщины Тамары, правда, уже без ее рекомендаций. Да, с моей точки зрения, это не было изменой, так как я не обманывал Тамару, не уходил от нее к Розочке, как блудливый муж, не уносил денег из дому на подарки возлюбленной. Мы с Розочкой просто выручали друг друга в вопросах сексуального здоровья, отдавая **то**, чего не могли дать нам наши «законные» сексуальные партнеры. А это «**то**» было для нас тем же, что нитроглицерин — сердечнику, инсулин — диабетнику или водка — алкоголику.

И нашим «законным» от этого было даже лучше, ибо в их распоряжение поступали не издерганные неврастеники, а физически и сексуально натренированные люди. Ведь не ревнуют же жены своих мужей-спортсменов к их спортивным снарядам, тренажерам, даже лошадям! А мы с Розочкой были друг для друга всего лишь спортивными лошадаками — жеребцом и кобылкой, помогающими друг другу сохранить здоровье и бодрость духа. Ведь от сексуальной недостаточности случаются многие, даже очень серьезные болезни!

Вот так, или примерно так, оправдывал я наш с Розочкой образ жизни. Не знаю, какие доводы приводила себе Розочка в наше оправдание, не решался спрашивать. А может, и не приводила никаких — просто ей женский инстинкт подсказывал, что надо делать, а чего — не стоит.

Однако психическая травма, связанная со спидофобией, изменила не только мой имидж, но и принципы. И я решил, что мы с Розочкой все-таки грешим. А так как время идет, в общем, скорее к Страшному суду, чем в обратном направлении, то надо с этим делом кончать и начинать замаливать прошлые грехи.

И я понял, что мне надо кончать первым, простите за невольные ассоциации. То есть после венчания завязывать с этими сексуальными грехами, которых уже на несколько жизней поднабралось. Ну а Розочке посоветовать сделать то же самое — то есть обвенчаться с Сашей — я, конечно же, не мог, так как и представить себе венчание православного еврея-«выкреста» с ортодоксальной иудейкой на трезвую голову было трудно.

Да и где это венчание проводить — в нашей православной церкви или в синагоге? Но это уже дело совести моих друзей, а я свою совесть уберег моим с Тамарой венчанием.

Вот мы с Розочкой по обоюдному согласию решили прекратить наши прелюбодеяния. Да и не так уж мы молоды, в общем, чтобы подобными «глупостями» заниматься — мне 53 года, Розочке — 39 (она ровесница моей второй жены Оли). Пора и о душе подумать!

Всплакнула немного Розочка при нашем с ней разговоре, но, скрепя сердце, согласилась. Это при живом и здоровом-то муже, вот грешница!

В церковь на венчание и на свадьбу друзья наши не пришли, хотя мы с Тамарой их звали настойчиво. Розочка, видите ли, сказала Саше, что ей будет тяжело и она может расплакаться, испортив тем самым весь свадебный кайф!

А потом мы периодически ходили друг к другу в гости парами и вели семейные разговоры, зевая от скуки. Розочка с такой тоской посматривала на меня, что добрая Тамара даже предложила мне снова встречаться с ней. Сама она, дескать, не возражает, а грехи можно и замолить после.

— Все равно, — говорит, — без грехов не обойдешься, а тут хоть человеку поможешь!

Но я на корню пресек эти нездоровые разговоры, так как почувствовал, что долго меня уговаривать не придется. У меня самого от взгляда на Розочку, такую фигуристую, соблазнительную и печальную, все внутренние, и не внутренние тоже, органы начинали ныть и шевелиться. Но я гнал эти искушения от себя и, оставшись в одиночестве, истово крестился, повторяя: «Не введи, Господи, мя во искушение и избави мя от лукавого!» Мне казалось, что это церковно-славянское «мя» усиливает магическую силу моей молитвы.

Вот в этот-то отрезок нашей жизни вдруг утром ворвался телефонный звонок, и я узнал, вернее, не узнал голоса Саши. Это был его голос, но помолодевший на десять, нет, на двадцать лет, голос его тольяттинского, если не тбилисского периода. Этот голос — звонкий, радостный и мальчишеский, сообщил мне, что у него имеются чрезвычайно важные новости и нам надо встретиться. У меня не хватило терпения ждать до встречи, и я потребовал немедленных разъяснений.

— Я вчера видел своего сына — Филиппа Македонского! — сообщил голос с сумасшедшинкой.

— Ну ты, отец, даешь! — только и смог я вымолвить. — Во-первых, Филипп Македонский — не сын, а отец Александра. Во-вторых, если бы у тебя были дети, ты давно бы признался мне в этом. Розочке-то ты девственником достался, не от ноч-

ных же сновидений у тебя дети пошли! А, в-третьих, здоров ли ты и не перебрал ли снова немых мухоморов?

— Зайду вечером и все расскажу! — пообещал Саша и повесил трубку.

Мы с Тamarой еле дождались вечера, когда к нам позвонил в дверь Саша и вошел, держа в руках бутылочку ликера, завернутого в газету.

— Ну? — только и смогли хором произнести мы с Тamarой.

И Саша под ликерчик, разбавленный газводой, рассказал мне то, что описано в прологе к моему повествованию. Тамара аж расплакалась от Сашиной доброты, а я сразу стал прикидывать, где эту историю можно использовать, что «с нее можно иметь». И тут же спросил Сашу, можно ли мне этот сюжет опубликовать в виде новеллы, что ли.

— Нет, — буквально прокричал Саша, — ни в коем случае, ты же назовешь наши реальные имена! А если не назовешь, то пропадет весь цимес (опять от мамы Блюмы еврейских словечек нахватался!) произведения. Ну, назовешь меня Иваном Петровым — да кто же будет искать адрес Ивана Петрова — их же тысячи по Москве. А если маму Блюму назовешь тетей Настей, то почему же она употребляет столько еврейских словечек? Да и потом, если Розочка в своей библиотеке прочтет случайно этот твой рассказ, то она даже с другими именами, по сюжету и по автору поймет, про кого это написано. И что Филипп — не мой сын, и что я раздаю деньги невесте кому, и что Лейсан — моя любовница! Нет, нет и нет — не даю разрешения! Когда-нибудь, может, и позволю, тогда и опубликуешь, но не сейчас!

Дело происходило в сентябре 1993 года. Почти через пять лет, когда все тайное стало явным, разрешение было получено. В апрельском номере «глянцевого» журнала «Зодиак» 1998 года появился рассказ: «Почтовый роман Александра Македонского». Главный редактор журнала — красивая молодая женщина Марина — была от него в восторге. Но когда я пришел за своим экземпляром журнала, то был поражен — расстроенная Марина сообщила мне, что журнал внезапно закрыли без объяснения причин. Номер с моим рассказом был последним.

Далее. Известная московская газета «Мегаполис-экспресс» объявила конкурс на литературные произведения, я послал этот рассказ и туда под названием: «Родительский день Александра Македонского». Рассказ был напечатан, а в 2005 году газета успела сообщить, что мой опус выиграл конкурс и будет опубликован в особом сборнике. После чего не только сборник, но и процветающая газета «Мегаполис-экспресс» перестала выходить. Мистика, да и только!

Для проверки мистических особенностей моей истории про Сашу Македонского я отдал этот рассказ, уже под назва-

нием «Главный подвиг Александра Македонского», еще в один сборник. Думаю, может, новое название поможет? Но не тут-то было — сборник с моим рассказом оказался последним.

Я понял, что Высшие силы против публикации материала о моем друге, вырванном из контекста, и стал просить Сашу дать разрешение на написание книги о всех наших приключениях и взаимоотношениях. Потому что после публикаций рассказа в журнале и газете косяком пошли письма с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе семьи Македонских.

После публикации рассказа в журнале «Зодиак» и его внезапного закрытия у меня случился интересный разговор с одним моим старым, в том числе и по возрасту, знакомым — Рувимом Натановичем Кельзоном. «Натаныч» позвонил специально и зашел ко мне на работу именно по этому поводу. Он принес растрепанный и склеенный скотчем по стигу экземпляр журнала «Зодиак» с моим рассказом и сказал буквально следующее:

— Мы ваш рассказ размножили на ксероксе и передаем всем знакомым айдам. Нам известно, почему этот журнал закрыли. Как же — он посмел напечатать что-то доброе про евреев! Ну, подумайте, — говорит мне Рувим Натанович, — разве *наш*, русский, поступил бы так, как этот, хоть и выкрест, но все же айд по крови! Да *наш* лучше пропил бы деньги, но другому не дал! А еврей, хоть и выкрест, отдает свои трудовые деньги чужому ребенку, сыну татарки! Да разве такое можно печатать — за это и закрыли хороший журнал! — Рувим Натанович аж зацокал языком от огорчения. — Мы-то с вами — айды — это понимаем, но разве это допустят те агои, которые наверху! — Рувим Натанович поднял свой указательный палец и большие выпуклые черные глаза, полные вековой скорби его народа, вверх к потолку.

Я понял, что возражать против приписанной мне национальности было не только бесполезно, но и безнравственно. Рувим Натанович милостиво *пожаловал* мне звание айда за заслуги перед своим народом. И я принял это как дар. Правда, спросил моего гостя, понятны ли ему некоторые фразы на идиш, которые встречаются в рассказе.

— Может, перевести? — участливо спросил я.

— Ай, да перестаньте сказать! — замахал руками старик Натаныч, — чтобы я так жил! Я знаю идиш. Мои родители говорили на идиш, их родители говорили на идиш, и их родители...

— Зай гезунд! — попрощался я с Рувимом Натановичем, — наш вам искренний зай гезундик, заходите еще, если вам не лень в ваши годы крутиться по городу!

«Вус эпес махт айд?» — вставая и выходя от меня, риторически спросил сам себя старик Натаныч — и сам себе же ответил:

«Аид дрейцих!» Так и быть, перевожу с идиш: «Что делает еврей? Еврей крутится!»

Разрешение от Саши на написание этой книги как-то вдруг было получено весной 2005 года. Оно было согласовано с Розочкой. О мотивировке этого решения я уже писал в предисловии. Я же согласовал его с Тамарой, а ее согласие было важнее всего, так как мои рукописи набирает именно она. А Саша и Розочка оставили за собой право прочесть «роман» перед публикацией. Тамаре такое право было не нужно, так как она могла просто не набрать текста, который ей был бы не по душе.

Вот так и появилась эта книга про Александра Македонского, его жену Розочку и меня, грешного, в роли первого друга их семьи.

ЛЕСЯ

Саше не терпелось познакомить меня с Лейсан, или как он ее называл — Лесей, матерью Филиппа Македонского. Он столько рассказывал мне о том, какая она красивая, как похожа на Богоматерь Васнецова, что во Владимирской церкви в Киеве. Какая она искренняя, простая и умная — она так мудро сказала, что Бог у нас один — у православных, татар и иудеев. И так просто, без ненужного жеманства, согласилась на его помощь ребенку, так по-дружески запросто назвала его, уже взрослого человека, Сашей. Похоже, Саша просто влюбился в эту Лейсан.

Я решил, что надо бы самому посмотреть на эту Лесю — «татарскую Богоматерь» — и понять, не погорячился ли в своем решении добряк Саша. И в один из вечеров мы вдвоем отправились на улицу Молдагуловой в гости к Лесе и Филиппу. До этого визита Саша уже побывал там дважды — на следующий же день после их знакомства он забежал к ней и передал пятьсот долларов, так как сразу заметил, что Леся жила бедно и нуждалась в деньгах.

Надо сказать, что Саша в самое последнее время стал достаточно богатым человеком. Во-первых, после открытого перехода страны к первой фазе строительства капитализма, или, выражаясь по-научному, фазе первоначального накопления капитала, банки стали жить богато. Как выразился тогда, кажется, экономист Бунич: «Где работаешь, с этого и имеешь». Если ты работаешь в НИИ — имеешь бумагу и чернила, реже — уран и красную ртуть (которой, кстати, в природе не существует!). На винзаводе — вино, водку, а в банке — ничего нет, кроме денег, конечно. Но на них можно приобрести все остальное.

Помните, как в одночасье бедные операционистки из сберкасс, убежавшие отсюда, куда глаза глядят, стали богатенькими

невестами из Сбербанка. Я уже не говорю о тех мелких банках, хозяева которых просто разворовывали все деньги и скрывались, пока их не отыскивали милиционеры с собаками или киллеры. Так вот, безусловно честный Саша, добравшийся по служебной лестнице до начальника отдела, стал богатыньким уже по определению. Его, конечно, коробила зарплата в конвертах и в валюте, но он ее брал, как все.

Но был у Саши и еще один секрет «честного», по нынешним капиталистическим временам, заработка денег. Будучи умным, внимательным и наблюдательным человеком, он заметил связь стоимости ценных бумаг на бирже с природными явлениями, казалось бы, не имеющими к этим ценным бумагам никакого отношения.

Как-то я рассказывал моему другу о пятнах, или бурях, на Солнце, и об их влиянии на вполне земные дела. Это «земное эхо солнечных бурь» было наиболее полно изучено и описано русским ученым А. Л. Чижевским. На что только не влияют пятна на Солнце — и на ураганы на Земле, на эпидемии, на рождаемость, в том числе и гениев, на урожаи, цены на зерно и другие товары, качество винограда и вина из него, и так далее. Я в свое время подробно изучал труды Чижевского и даже цитировал их в своих книгах по физике.

Особенно поразила меня связь солнечных пятен с нашими российскими событиями. По расчетам английского астронома Д. Уайтхауза, которые были опубликованы в конце 80-х годов, максимальное количество солнечных пятен должно было прийти на август 1991 года. Я рассказал Саше об этом, и мы стали ждать этого августа, чтобы проверить еще раз гипотезу Чижевского.

И дождались — все, наверное, помнят, что 19–21 августа у нас был путч ГКЧП. Мы с Сашей активно защищали Белый дом — тогда цитадель демократии. В промозглые дни и ночи, под морозящим холодным дождем мы, вместе с тысячными толпами защитников свободы, бродили вокруг Белого дома, временами спасаясь от дождя в подъездах домов. Там же «лечились» от простуды самогоном, потому что водки тогда было не достать. Вздрагивая от внезапно запускаемых двигателей наших «демократических» танков, мы трясущимися от холода руками наливали самогон и пили за свободу и демократию... За что боролись, как говорится, на то и напоролись!

Но далее речь не о путче, а о том, как влияют солнечные бури на земные события.

— Гляди ты, на цены влияют, — вслух соображал Саша, — значит, на все цены — они же взаимозависимы... значит и на стоимость акций тоже! Слушай, — вдруг обратился Саша ко мне, — а можешь ли ты мне достать «расписание» этих солнеч-

ных пятен или бурь? А уж цены на акции, по крайней мере, на Нью-Йоркской бирже я и сам достану.

Я свел Сашу со специалистами по солнечным пятнам в Москве и забыл про наш разговор. А через пару лет мой друг неожиданно приносит мне сюрприз — ящик шампанского и предложение участвовать вместе с ним в биржевых играх.

Оказывается, Саша, как современный Чижевский, внимательно изучил связь солнечных пятен с курсами акций. Более того, он изучил связь «земных» геофизических явлений с фондовыми и умело стал использовать их. Он как сотрудник брал беспроцентные ссуды в своем банке и приобретал ценные бумаги в период их минимальной стоимости, но перед рассчитанным им неизбежным повышением. И наоборот, избавлялся от других бумаг на пике их стоимости, но перед предполагаемым падением. Расчет оказался безошибочным — и Саша имел мощный источник дохода, скрываемый от всех, даже от Розочки, но не от меня.

Участвовать в его, с моей точки зрения, сомнительных «спекуляциях» я отказался. Нервничай еще с этими биржевыми курсами, здоровья не хватит! Да и Саша недавно тоже прекратил этим заниматься, по той же причине. Набрал приличную сумму и отдал в свой банк под проценты. И жизнь стала спокойнее, да и зачем нужны эти бешеные деньги?

— От творчества отвлекают, — правильно рассудил Саша и бросил «спекуляцию».

Но бросил он ее недавно, а тогда, еще в период увлечения Лесей, он всю «спекулировал», а «барыш» тратил, в основном, на нее.

Итак, мы — в гостях у Леси, в ее однокомнатной квартире на улице Молдагуловой, что в Выхино. После представления хозяйке знакомлюсь с Филиппом Македонским и нахожу, что он — вылитый мой друг. Вначале Леся отрицала, что Саша похож на ее мужа, но потом сходство было найдено — оба среднего роста, рыжие, курносые, цвет глаз, правда, разный. У мужа — серые, а у моего друга — светло-карие — «таплиспери» (цвета меда), как называют такие в Грузии.

Я внимательно, но незаметно, наблюдаю за хозяйкой, пытаюсь понять, что она за человек. Да, оказывается, тут и понимать было нечего — «*tabula rasa*» (как говорили мудрые латиняне — «чистая доска»). Леся была проста, как дитя природы, у нее все, что на уме, было и на языке!

Леся накрыла нехитрый стол, «выпили мы пива, а потом посто, а потом начали — про это и про то», как поется в старой «блатной» песне. Леся было разоткровенничалась, но, взглянув на Сашу, замолчала.

— Леся, — провозгласил уже «хороший» Саша, — можешь при нем говорить все! Это — «alter ego», то есть «второй я»; что мне — то и ему!

Леся приняла это как руководство к действию, и вот что мы узнали о ее предыдущей жизни.

Родилась Леся в поселке Базарные Матаки, что чуть более чем в ста километрах от Казани на юго-восток, через так называемое «Куйбышевское море» от нее. Мать Леси — татарка, работала в магазине; отец умер рано, Леся и не помнит его. Отчим — мордвин-мокша, человек, с точки зрения Леси, непонятный. Что у него на уме — не поймешь. Но к моменту окончания Лесей школы мысли отчима стали более конкретными и направленными на тайные домогательства к красивой Лесе. Но в Базарных Матаках все тайное тут же становилось явным, и Леся мечтала умотать со своей малой родины куда глаза глядят.

Как-то летом, в год окончания школы Леся сидела с подругами на скамейке у школы и лузгала семечки. Рядом проходило шоссе, что из Самары (тогда Куйбышева) на Казань. А на обочине шоссе стоял грузовик, который ремонтировал его водитель — рыжий, курносый, конопатый и уже немолодой человек. Девушки принялись подначивать водителя, он в долгу не оставался. Наконец он подсел к девушкам на скамейку, и Леся угостила его семечками.

Водитель, который назвался Сашей, рассказывал, что он сам из Москвы, часто ездит в Куйбышев через Горький и Казань, перевозит какие-то грузы. Много говорили о Москве, которую, чувствовалось, он очень любил. Лесю поразили его рассказы о Москве, которая представлялась ей каким-то неземным, фантастическим городом.

«Вот этот водитель Саша — простой человек, — рассуждала про себя Леся, — но живет-то он не в Базарных Матаках, даже не в Казани, а в самой Москве. Он — как инопланетянин, недосыгаемая мечта для любой женщины в Базарных Матаках, даже самой красивой. Если он женится на ней, то увезет ее на своей машине в Москву, они будут жить там в высоком доме, кататься на метро и каждый вечер ходить на Красную площадь смотреть Кремль. Вот так — не во сне, кино или телевизоре, а взаправду — рядом Кремль, можно даже потрогать его стены!»

Все подруги ушли, остались только Леся и Саша. Не хотелось Лесе уходить домой, где гадкий отчим будет смотреть на нее похотливым взглядом, где мать будет пилить ее — найдет за что! И никакого просвета, никакой надежды на будущее! Осенью Леся должна пойти работать помощницей к матери в ее «вшивый» магазин; она будет обвешивать и обсчитывать покупателей — своих же соседей и знакомых. А потом выйдет замуж за тупого

«богатого» соседа, который давно уже поглядывает на нее. Будет свадьба с народными обрядами на все Базарные Матаки! И долгая, затхлая, бесполезная жизнь, которая хуже смерти!

«Вот увидеть бы Москву, а потом — хоть умереть», — подумала Леся и с надеждой посмотрела на Сашу. Тот, заметив ее взгляд, повернул свое веселое курносое лицо к Лесе и вдруг серьезнел.

— Вы с женой в Москве живете? — недвусмысленно спросила его неожиданно повзрослевшая Леся.

— Нет, я в разводе, детей нет! — как-то напряженно, скороговоркой ответил Саша, не отрывая взгляда от Леси.

Наступила долгая пауза. Уже стало совсем темно. Наконец Леся стала неохотно собираться домой.

— Счастливо оставаться! — с невеселой улыбкой попрощалась Леся, а Саша вдруг, волнуясь, отрывисто проговорил, впервые назвав ее почему-то Лесей:

— Леся, приходи утром сюда, поговорить надо! Обещай, что придешь, я буду ждать тебя, я никуда не уеду!

— Я подумаю, — нерешительно ответила Леся, а потом сразу же добавила, — нет, я приду, приду обязательно! — и, махнув рукой, побежала домой.

Утром они встретились, как два заговорщика. Было заметно, что Саша всю ночь не спал. Они сели на скамейку и молча устали друг на друга.

— Саша, — вдруг серьезно сказала Леся, — если вы захотите жениться на мне, то я согласна. У нас мало времени, чтобы сватов посылать, как положено. Но если не хотите, то возьмите меня с собой хоть как-нибудь, увезите меня отсюда, спасите меня, молитесь буду Аллаху или вашему Христу всю жизнь за вас!

Леся плакала, держа Сашу за руки и оглядываясь. Но вокруг никого не было, можно было спокойно говорить и даже плакать. У самого Саши глаза были на мокром месте.

— Леся, — шепотом ответил он, — я даже мечтать о том, что ты сказала, не могу! Ты — красавица, юная красавица, а ведь мне — пятьдесят! Я не миллионер, а простой водитель, у меня в Москве всего однокомнатная квартира, я незavidный жених! Но я сделаю все, что только ты мне прикажешь, я буду служить тебе, отцом тебе стану, если ты захочешь.

Саша украдкой целовал Лесе ладони, а та, мечтательно улыбаясь, смотрела на рыжие кудри Саши взглядом победительницы.

Днем, пока мама была на работе, Леся собрала самое необходимое, взяла свои документы и написала маме письмо, оставив его на столе. Надо было направить поиски матери, если они и будут, по ложному следу.

«Мама, я выхожу замуж и еду с женихом в Уфу. Мы давно с ним договорились, ты его не знаешь. Буду писать тебе. Лейсан».

А Саша ждал Лесю на скамейке. Машина была готова, вокруг — ни души. Он сел за руль, а Леся шмыгнула в кабину и присела, чтобы ее никто не заметил. Двигатель взревел и мощный ЗИЛок рванул на Казань...

По дороге Саша рассказал Лесе о себе. Он — сирота, безпризорник, а потом — «сын полка». Сразу после войны, в пять лет, его взяла «на довольствие» какая-то воинская часть, а потом сдала в детдом. Но имя успели дать. Что зовут его Сашей, мальчик помнил, ну а фамилии своей не знал. Вот и дали ему звучную фамилию «Македонский», раз уж он Александр. И отчество, соответственно, как у того царя — Филиппович. Пусть будет победителем в этой жизни, решил «полк», «сыном» которого был Саша.

А после детдома поселился он в общежитии, выучился на шофера. В шестидесятые годы Саша устроился «по лимиту» на автобазу в Москву, а в начале семидесятых женился на москвичке. Но вскоре семья распалась, не обзаведясь детьми. Привередливой оказалась жена-москвичка, как заметил Саша. На работе Сашу ценили и вскоре дали ему однокомнатную квартиру в Выхино. Больше не женился — и так хорошо!

В Казани Саша получил какой-то груз, вдобавок к тому, что уже вез с Куйбышева, и они повернули на Горький. Обедали по дороге, не выходя из автомобиля. Леся спала на ходу, прямо в кабине, удобно расположившись на сиденье, поджав ноги под себя. Ночью ехали, а спал Саша днем урывками, положив голову на баранку. Леся в это время, напряженно думая о своем, пристально рассматривала спящего Сашу. К обеду приехали в Москву.

Пока ехали по Москве, Леся вертела головой и с интересом рассматривала город своей мечты. Она так за свои восемнадцать лет никуда из Базарных Матаков не выезжала. Высокие дома и широкие улицы произвели на Лесю магическое впечатление — она ощущала себя на другой планете. Наконец подъехали к Сашиной «башне», которая восхитила Лесю. Она не верила, что будет жить в этом «небоскребе» — это казалось ей сном, сказкой. Ванна, горячая вода, газ на кухне — пораженная Леся, как дикарка, рассматривала, трогала эти «чудеса» и не могла поверить, что все это наяву. Пока молодая «хозяйка» принимала ванну, Саша приготовил закуску и достал бутылочку вина из холодильника. У себя в Матаках (Леся даже вспоминать не хотела про эти Матаки, да еще и Базарные!) она вина не пробовала и алкоголя вообще, не принято там девушкам пить вино! А сейчас, когда Саша налил в хрустальный фужер белого вина, она с удовольствием выпила сладковатый, душистый напиток.

— За новую жизнь! — предложил тост Саша, и Леся, смакуя, выпила вино.

А через несколько минут совершенно незнакомое ранее ощущение заставило Лесю поверить, что все происходит в волшебном сне. Она выпила еще бокал, голова закружилась, и все стало вокруг нереальным и сказочным. Саша помолодел лет на тридцать, стал златокудрым принцем из прекрасной страны Московии, а Золушка-Леся боялась внезапного прекращения своего волшебного сна.

Она вдруг порывисто обняла Сашу за шею и стала неумело целовать его. Затем, так же неумело, но упрямо, она потянула его в постель. Чтобы все это волшебство стало явью, решила Леся, надо скрепить договор со счастьем кровью.

И они сделали это — скрепили-таки договор кровью! Как сказал поэт: «дело прочно, когда под ним струится кровь!» После чего Леся поверила, что счастье и взаправду — навсегда!

ЛОЖЬ ИМЕЕТ КОРОТКИЕ НОЖКИ

Они поженились, расписались, но Леся оставила свою девичью фамилию — Абдурахманова.

— Ну какая я Македонская, смешно даже подумать! Лейсан Саидовна Македонская — смеяться будут, — и Леся оставила свою татарскую фамилию.

Через год Леся родила сына, и родители назвали его Филиппом, чтобы было все как у царей Македонских. Саша зарабатывал прилично, Леся так и не пошла работать. Тем более что делать она ничего не умела. Хорошо, что еще газом, ванной и кое-чем еще пользоваться научилась.

А меньше чем через полгода случилось непонятное — Саша исчез. Леся заметила, что в последнее время он стал каким-то молчаливым, нервно хватался за телефон, когда тот звонил. Раньше он обычно рассказывал Лесе про свою работу, а тут вдруг перестал. А однажды и вовсе не пришел с работы. Леся решила было, что муж ее, как другие, выпил и загулял где-то, но днем стали звонить с работы и спрашивать Сашу. Тут она поняла, что дело плохо, и подала заявление в милицию о пропаже мужа. Там отнеслись к этому легкомысленно, сказали, что погуляет недельку и сам придет.

Но недели шли, а Саша все не возвращался. Леся все ночи напролет плакала, а поделиться горем было не с кем — она в Москве знакомствами не обзавелась. Только соседка по лестничной площадке кое-чем помогала Лесе, а то они с сыном уже голодали. Леся продала из квартиры все, что было можно, и на это существовала. Никакой пенсии ей не назначили, так как муж не считался умершим — он просто исчез. Леся отдала сына

в ясли, и сама устроилась туда же няней. Зарплату положили маленькую, да и ту не выплачивали — жить было трудно.

И вдруг эта соседка рассказывает Лесе, что ее знакомая, услышав про пропажу мужчины с необычным именем — Александр Македонский, сказала ей, что он, дескать, жив-здоров и работает в одном банке. Знакомая и домашний адрес этого человека разузнала. Вот и решила Леся, что Саша ее просто бросил, работает себе в банке водителем, хорошо зарабатывает и живет с другой женщиной. Тогда и решила она написать письмо. Ну а дальнейшее нам с Сашей было уже известно.

Филиппу было уже около двух лет, а Леся так и не знала о муже ничего. Она как-то даже смирилась с этим — ей сказали, что люди сейчас часто пропадают, и их так и не находят. Вероятнее всего, пояснили ей, у Саши была какая-то «халтура» и он, дескать, не поделился с кем надо, вот, видимо, его и убили, а труп запрятали так, чтобы не нашла милиция. Нет трупа — нет и дела!

И тут Лесе неожиданно повезло: как ангел-хранитель появился новый Саша Македонский — умный, образованный, щедрый и богатый. Он стал давать Лесе большие деньги, ничего не требуя взамен. «Так не бывает!» — подумала Леся и решила сблизиться с Сашей, чтобы удержать его возле себя, как когда-то другого Сашу, и вроде тогда оказалась права. Но новый Македонский оказался непонятным мужиком.

Когда он пришел к Лесе с пятьюстами долларов, та была так рада и счастлива, что кинулась Саше на шею и стала целовать его. Но Саша отодвинул ее от себя и сказал, что благодарности не надо, что это его долг как отца Филиппа. Ведь решили же они считать его, Сашу, отцом Филиппа, а значит, так оно и есть.

Сели за стол, выпили, как водится. Леся, не пробовавшая вина с тех пор, как пропал ее муж, захмелела. В ней проснулось забытое естественное желание молодой женщины, внезапно прекратившей нормальную половую жизнь. А рядом сидит и улыбается приятный мужчина, вдруг ставший похожим на ее мужа, но даже поинтеллигентнее, что еще больше привлекло Лесю.

Положение ненормальное — Леся положительно не понимала, как ей следует себя вести. Весь опыт ее жизни не давал ответа на эту ситуацию. Поэтому молодая женщина снова сделала попытку, более решительную, овладения неподдающимся мужиком. Благо Филипп опять, как и в первый визит Саши, спал. Но Саша с блудливой улыбкой на лице бегал от Леси вокруг стола и не давался. Тогда Леся, со свойственной ей прямолинейностью, попросила Сашу не обижаться, но объяснить ей: «Может, он болен и не может жить с женщиной?» Но Саша решительно отверг это предположение. Тогда Леся, еще раз попросив извинений, сделала предположение, что, может, Саша,

как это часто встречается, предпочитает женщинам мужиков? Но Саша еще решительнее отверг и эту гипотезу.

— Так, может, я некрасивая, не нравлюсь тебе как женщина? — вскричала, переходя на «ты», недоумевающая выпившая Леся, но Саша горячо отверг и эту версию.

Он заверил Лесю, что она необыкновенно красива и очень нравится ему как женщина.

Леся села, схватившись руками за голову.

— Тогда я чего-то не понимаю, — откровенно призналась она, — и у нас в Базарных Матаках, где я родилась и выросла, никто бы этого не понял. Может, вы, москвичи, знаете что-то такое, чего мы не понимаем?

Но Саша только смущенно заметил, что просто он еще не рассматривал для себя такой исход их встречи, а так, наобум, он не привык делать поступки, тем более такие важные.

— Тебе же ничего не угрожает, — недоумевала Леся, — ты не забеременеешь, жена твоя ничего не узнает, я здорова — это я тебе гарантирую, так в чем же дело? И деньги такие принес!

Но Саша стал смотреть на часы и заспешил домой. Он поцеловал Лесю, заверил ее, что этот вопрос они еще обсудят, и побежал домой, оставив молодую женщину в непонятных раздумьях.

Все подробности этой встречи Саши с Лесей я уже знал от моего друга, о чем Саша не преминул упомянуть Лесе.

— Я от моего «второго я» ничего не скрываю и прошу тебя поступать так же! — посоветовал Лесе захмелевший Саша.

И тут Леся изливает на мою голову всю ее женскую обиду поведением Саши, еще раз уверяя, что в Базарных Матаках ее бы поняли правильно. Неужели ей теперь искать другого мужика, хотя ей нравится Саша и он так добр к ней. А совсем без мужика она уже не может...

— И я не понимаю, чего это Саша кобенится, — поддержал я Лесю, — я бы сам ни минутки не раздумывал. От такой юной красавицы отказаться — да это просто от испуга, что ему так повезло! Так, — резюмирую я, — я иду домой и оттуда звоню Розочке, что ты перепил у меня и останешься на ночь. А на ночь ты останешься здесь и утром отсюда пойдешь на работу. И не делай из себя моралиста или девственника — тебе это не идет!

Я заметил, Саша колеблется. Тогда я решил добить его.

— А если ты снова смалодушничаеть и смоешься, то я, как твой alter ego, да и по старой преподавательской привычке, вынужден буду подменить тебя! — решительно заявил я ему.

Перепуганная Леся недоуменно переводила взгляд с Саши на меня и обратно. И Саша сдался.

— Хорошо, — тихо проговорил он, — ты, конечно же, прав. Я веду себя непонятно и неприлично. Это — от испуга, я просто

не могу поверить в такое счастье, такое везенье, в такой подарок от Бога! Только вечером обязательно позвони Розочке! — попросил напоследок Саша.

— Мы с Розочкой разберемся! — успокоил я Сашу и, пожелав «молодым» удачи, вышел.

У меня, еще когда я жил и работал в Тбилиси (потеряв Москву и вкальывая «на хозяев»), если вы помните, был недоброй памяти начальник — Геракл Маникашвили. Ничего, кроме дурного, я от него не видел и не слышал, но его любимую поговорку я запомнил на всю жизнь. Произносил он ее на грузинском языке, а по-русски она переводится так: «Ложь имеет короткие ножки». Это означает, что далеко она, эта ложь, не уйдет, ее разоблачат или она разоблачит сама себя. Ярким подтверждением мудрости этой поговорки был сам начальник: он врал постоянно, разоблачая сам себя, в чем ему помогал его верный друг — склероз.

Сам я старался не лгать — опыт показал вредность этого занятия. В частности, от Тамары я ничего не скрывал, и это очень облегчало жизнь и мне, и ей. «Никогда не лги, если ты только не профессиональный лгун» — этот русский аналог грузинской поговорки еще мудрее. Политиком я не был, и поэтому предпочитал не лгать.

А тут я сам предложил Саше обмануть Розочку и самому же наврать ей про якобы вусмерть пьяного мужа, оставшегося у меня на ночь. Уйдя от Леси и оставив «молодых», я часов в десять уже был на Таганке. Тамары дома не было — я предупредил ее, что иду с Сашей к Лесе и припозднюсь. Хитро улыбаясь, я сажусь за телефон и звоню Розочке, заранее подготовив свое вранье. Но я не узнал ее по телефону — голос был сорван и перешел на плач.

— Где Саша, где ты — что я перенесла сейчас! Мама погибла — ее только что убило током! Умоляю, найди Сашу, и помогите мне — я в панике!

— Бежим! — только и успел я ответить, как она повесила трубку.

Я срочно принялся звонить Лесе домой и рассказал им о разговоре с Розой. Договорились встретиться с Сашей через полчаса в вестибюле станции метро «Кузьминки», которая находилась как раз между Таганкой и Выхино. Тамаре написал записку и положил ее на стол.

Как мы жили тогда, всего лет десять — пятнадцать назад, без мобильных телефонов! Было и труднее, и легче. Почему труднее — понятно, хотя бы на примере рассматриваемого случая. Но и легче — ты не находишься под непрерывным надзором всех кому не лень. Тебе могут позвонить, когда ты находишься в ванной, туалете, в койке с дамой, или не дамой, если дама — ты сам, и так далее. Отключишь телефон — тоже плохо, мо-

жешь пропустить важный звонок. Каждый шаг технического прогресса оборачивается новой нервотрепкой! И к прошлому возврата нет — никто сейчас не захочет обходиться без электричества, радио, телевидения, компьютеров, телефонов, в том числе и мобильных... Куда это заведет лет через двадцать — тридцать — не знаю! Большие сроки меня как-то не волнуют, но и эти беспокоят.

Но вернемся к моей печальной поездке в метро. Встретившись с Сашей, мы рванули к нему домой.

— Успел хоть? — невесело спросил я Сашу, и он, чуть улыбнувшись, кивнул мне. — Так для Розы — ты был у меня? — снова спросил я, и Саша опять кивнул, уже не улыбаясь.

То, что мы застали дома у Саши, было ужасно. Но несравнимо ужаснее было то, с чем столкнулась Роза, придя домой часов в девять вечера. Звонит в дверь — никто не открывает. «Удивительно — мамы нет дома», — подумала Роза. Что нет Саши — понятно: засиделся на работе или к Нурбею пошел, а вот что нет мамы — странно!

Роза открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру. Никого в комнатах нет! А дверь в ванную закрыта и там тихо. На стук никто не отозвался. Роза похолодела от ужаса, но надежда еще теплилась — вдруг просто плохо с сердцем стало. Но надежды этой — процентов на десять, еще меньше! Несколькими ударами плеча Роза выбивает хилый замок в ванной и врывается туда.

Когда Роза в своем рассказе, повторяемом разным слушателям — от милиции до врачей и просто знакомых, доходит до этого места, слезы не дают ей говорить. Но привожу ее рассказ почти дословно.

— Мама лежит голая в ванне, и вода перекрывает ей рот. Вода чем-то подкрашена — голубым или зеленым, пахнет духами. В ванну перекинут электропровод и на дне лежит кипятильник. Опускаю руку в воду и тут же получаю оглушительный удар током. Искры из глаз — чуть не падаю. Гляжу — а кипятильник включен в штепсель переноски, тоже утопленный в воде, а от него какие-то мелкие пузырьки вверх поднимаются. Выдергиваю вилку переноски из штепселя в коридоре, бегу в ванную и снова сую руку в воду — не кипяток, но вода горячая, даже пар поднимается. Зачем, думаю, ей кипятильник понадобился, ведь горячая вода же есть. Открываю кран, а оттуда свист воздуха и только после течет ржавая вода. Отключали, значит. Наверное, принимала ванну с какими-то препаратами и подогреть решила. Вот и положила кипятильник в ванну, а затем включила его. И специально для этого подтянула в ванную переноску со штепселем на конце. Ведь штепселей специально в ваннных не делают, чтобы такого не случилось. А тут — штепсель рядом, лежа включать можно. Включила — и выронила штепсель в воду.

Может, слегка ударило током, вот она штепсель вместе с вилок-то и выронила. А тут уж точно — конец! Вспомнила Роза, что пузырьки от штепселя поднимались — значит, вода пошла разлагаться на водород и кислород. Видимо, мама растворила в ванне с водой свое лекарство — соль Мертвого моря с красителем и отдушкой. Название-то какое ужасное — «Мертвое» море, вот и оправдалось название!

Роза снова всплакнула и продолжила говорить.

— Эта соль сделала воду еще более электропроводной, и летальный исход стал просто неизбежным. Так врач из скорой помощи объяснил. А может, это самоубийство? Но нет, зачем тогда лекарство в ванну класть? Не стала вынимать маму из ванны, только воду спустила, набрав ее немного в ковшик для анализа. Прикрыла ее прямо в ванне простыней и стала звонить в скорую помощь и милицию. Милиция приехала быстрее, а затем уже и врач. Подтвердили, что смерть наступила сразу от удара током, а потом уже тело само сползло в полную ванну и рот ушел под воду. Достали тело и положили на кровать. Теперь жду «труповозку», уже вызвала.

— Ну а ты, гад, где шляется? — гневно спросила Роза у Саши, и тот опустил глаза.

— Саша был у меня, он выпил и поспал немного! — пытался я выгородить друга, но получилось неубедительно.

— Не ври и ты — я звонила к тебе домой, никого не было! — жестко сказала Роза.

Я прикусил язык. Да, никогда не ври, если только ты не профессиональный врун — это точно!

— Ну, были у Леси, Саша мне своего сына показывал, — почти не соврал я, — клянусь, не вру! — заверил я сомневающуюся Розу. — Оттуда и звонил тебе, — начал было сочинять я, но спохватился и тут же стал звонить Тамаре.

А то придет, увидит записку и позвонит Розе сама. Вот и выяснится, что я был дома, а Саша у Леси один! Повторяю и буду повторять слова моего негодяя-начальника: «Ложь имеет короткие ножки!»

Прибыла «труповозка», привыкшие к своей скорбной работе люди положили на пол простыню, на нее — маму Блюму и завернули все это в узел. Потом мы вместе отыскивали крепкое байковое одеяло, на него санитары уложили упомянутый скорбный узел, подхватили за углы и вынесли за дверь. На улице их поджидала машина. Розе они сообщили, в какой морг едут и где узнавать о дальнейших действиях.

Вскоре и Тамара подъехала. Я ее поспешил встретить и предупредить, что о записке — ни слова! Мы отыскивали в холодильнике бутылку водки и помянули маму Блюму. Налили ей полстаканчика, по нашему русскому обычаю, и накрыли ломтиком черного

хлеба. А через три дня похоронили ее на Кузьминском кладбище рядом с ее мужем Барухом Вульфом — раввином из Витебска.

Осталась Розочка сиротой в свои 39 лет. Саша, правда, осиротел еще раньше — я забыл сказать, что дядя Веня умер в Израиле еще в бытность Саши в Тольятти. Саша пытался этим примером как-то успокоить ее, но это мало помогало — Розочка очень переживала. Мне даже показалось, что она как-то состарилась от горя, но, к счастью, только показалось. Когда случается несчастье, женщины перестают улыбаться, использовать косметику, ярко и красиво одеваться. Вот и создается обманчивое впечатление о прибавке возраста. Но стоит только отдохнуть, отвлечься от горя, подкрасить губы и глаза, сделать красивую прическу, наконец, надеть подходящий наряд — и «баба годка опять»!

ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ

Прошло сорок дней, мы помянули маму Блюму по общепринятому обычаю, и Розочка сняла траур. И мне опять, наверное, показалось, что она даже помолодела и похорошела. Ведь все познается в сравнении!

Я стал подумывать и сомневаться — а правильно ли я поступил, что «бросил» Розочку, стал ей вроде бы даже чужим. Почему-то мужчина и женщина не могут быть просто близкими друзьями. Или они любовники, или чужие люди. А если не так, то вероятнее всего — один из таких друзей голубой, или другая — розовая. Ну а мы с Розочкой — примитивы, типичные экземпляры самца и самки; что нам эта «сухая» дружба — солить ее, что ли?

И я решил, что если Саша будет продолжать интимно встречаться с Лесей, то мне нужно, испросив, конечно, согласия у него и Тамары, опять возобновить наши с Розочкой сексуальные дни. Жаль цветущую женщину — вянет ведь без ласки! А Саша — хоть и хороший, заботливый и любящий, но Розочка ему — «не в коня корм». Не осваивает он все ее «производственные мощности», вот она и чахнет. Тем более если он к тому же часть любви и ласки будет молодой, красивой и темпераментной Лесе отдавать, то нашей Розочке даже крох не достанется. А заводить ей на стороне любовника не гоже — это как свое добро на сторону отдавать. Нет, мы с Сашей этого не потерпим, как-нибудь сделаем женщину счастливой «с опорой только на собственные силы»! Как северокорейские «чучхе», и даже лучше!

Я пристрасстно расспрашивал Сашу о его сексуальных контактах с Лесей. Тот сперва воротил нос, а потом, когда я приступил к нему по-серьезному, признался, что забегает после работы раза

два в неделю к Лесе. Но ненадолго, чтобы Розочку не травмировать. А с женой, дескать, пока рано половые контакты возобновлять — траур покамест. Да и силы все молодая Леся забирает.

— Да ты, братец, садист! — высказал я Саше свой взгляд на такое поведение. — Так Розочка или забудет, как это делается, и станет профнепригодной, или во все тяжкие бросится. Альбертика, небось, помнишь?

Я подводил его к тому, чтобы он сам меня попросил подсобить по-преподавательски. Мне же неловко как-то — сперва отказался по морально-религиозным соображениям, а теперь, как приспичило — давай, вертаем все взад! А так — друг попросил, не мог отказать!

И друг, наконец, попросил, осторожно так, я бы сказал даже, по-еврейски, хотя Саша — выкрест, и с евреями, конечно же, ничего общего не имеет! Вроде бы ему по морально-этическим соображениям неудобно — еще года не прошло со дня ухода от нас его любимой тещи, а зять уже к ее дочери будет приставать со своими сексуальными запросами! Добро бы для дела — детей, например, делать. Но этого же у нас не получится — факт-то медицинский! А так, вхолостую приставать, она может неверно понять, обидеться! Тебе же простительно, ты не приходился зятем покойной, тебе можно. Да и потом, была же у вас любовь земная более десяти лет, в чем же дело? И Тамара вроде не возражала, как я знаю...

Я внимательно выслушал сентенции моего друга и счел их убедительными.

— Знаешь, — говорю, — грех это — венчанному в такие дела впутываться, но не могу оставаться равнодушным, видя, как чахнет наша красавица-Розочка и как переживает по этому поводу мой друг. Да и самому, по правде сказать, уже трудно сдерживаться — нравится мне твоя, вернее наша Роза — во как! Прямо мысли даже такие приходят — дай, думаю, нападку где-нибудь и изнасилую!

— И хорошо, и хорошо, — оживился Саша, — останься как-нибудь с ней вдвоем дома, пока я у Леси, и изнасилуй! Ну, скажи, не мог сдержаться, разыграла кровь кавказская — вот и вспомнил прошлое. А я, придя домой, прошу вас! — размышлялся Саша.

— Да вот, загвоздка одна есть, — задумчиво рассуждал я, — как Тамара сейчас на это посмотрит. Ведь если она не одобрит — то я не смогу! Ты же знаешь, что я человек подневольный, то есть, правильное — венчанный! Это же грех какой — а потом мне на Страшном суде отдуваться!

— Я поговорю с ней, обязательно поговорю! — хватался за соломинку Саша. — Она добрая, она пожалеет Розочку, меня,

да и тебя, — осторожно завершил он, — ты ведь тоже не против! Будут у тебя козыри: Розочка — за, ее муж — за, твоя жена — не возражает, вот ты и уступил, взял грех на душу ближних своих ради! Господь-то милостив, простит, особенно если козырей — столько!

И Саша поговорил с Тамарой тет-а-тет. Разжалобил ее, как мог, даже слезу пустил. Сказал, что сам я ни в какую не соглашусь, вот только если Тамара сама мобилизует меня на выручку подруги и ее мужа, тогда, мол, посмотрю. Вроде как ильфо-петровский отец Федор: «Не корысти ради, а токмо волею посланной мя жены!»

Тамара, конечно же, согласилась, что помочь надо.

— Я, — говорит, — сама вижу, как Розочка смотрит на него, аж жалость берет! Что ж, мне не жалко, от него не убудет, только сама я его на этот Гераклов подвиг посылать не могу. А то ерунда какая-то получается, даже смешно сказать!

— А ты не говори, не говори никому, — убеждал ее Саша, — нечего посторонним в наши внутренние дела нос совать, а мужу твоему я сам все передам, мне-то он поверит!

И вот я, вооруженный столькими мандатами, или разрешениями, если по-русски, да и собственным вдохновением, договариваюсь с Сашей о дате и времени моего посещения Розочки. Чтобы он, значит, в этот вечер домой рано не вернулся. Звоню Розе, говорю, что давно не виделись, хорошо бы посидеть вместе, выпить малость.

— Зайду, — говорю, — к тебе часам к шести, то да се, Тамара позже подъедет, а Саша, как обычно, к семи подойдет — обещаю мне!

Розочка с радостью согласилась, а на меня страх напал. Как-то не по себе стало. Все, вроде «за», а саму Розочку никто не спросил, она-то не подозревает, что ее «запродали» и судьбу ее решили. А вдруг она уже по-другому настроена, а вдруг она обиделась на меня, а вдруг...

«Да — это, видимо, старость!» — подумал я словами моего тренера по штанге Юрия Ивановича Богданова, когда очередной вес не подчинялся мне.

«Неужели действительно старость и старческий мандраж, как перед большим весом? Шалишь! — вспомнил я свой любимый довод. — Не на того напали!»

И смело, вооружившись бутылками, я звоню в дверь вульф-македонской квартиры. Открыла мне улыбающаяся, цветущая Розочка и пригласила войти. Я снимаю плащ, ботинки, надеваю тапочки, а мандраж не проходит. Как это я сейчас буду нападать на нее и насиловать? Или, как прежде, раздеваемся и в койку? Нет, все должно получиться само собой, иначе розыгрыш какой-то, а не любовь!

И я выпил для храбрости, выпила со мной и Розочка. То да се, — выпили по второй. Розочка начала на часы поглядывать: сейчас, дескать, Саша подойти должен, а Тамары что-то нет? Я отвечаю, что она сперва позвонит, а у Саши вроде собрание акционеров, разве он не предупреждал? И осторожно так начинаю льнуть к Розочке. Она посерьезнела, глядит на меня вопросительно и даже отталкиваться руками начала.

— Что-то, — говорит, — с тобой не так, в чем дело? Случилось что-нибудь? Ненатурально все как-то. Выкладывай, как на духу!

И мне ничего не осталось, как выпить по третьей и признаться Розочке во всем. Конечно, я умолчал, что Саша уговаривал Тамару дать мне разрешение и супружеское благословение на секс с его женой. А признался в том, что уже не могу без моей красавицы, груди которой должны давно быть в Книге рекордов Гиннеса, без самой темпераментной, самой сладкой, самой любимой моей Розочки. Потому и напросился в гости, узнав, что у Саши собрание акционеров, а Тамара идет с подругой в оперу (а меня в оперу и с опером не затащишь!). И если она не отдастся мне добровольно, то я изнасилую ее. То бишь возьму силой! И я рухнул перед моей дамой на колени.

Вы посмотрели бы во время моего признания на Розочку! Глазки ее сияли, щечки разругались, губки горели, а груди сделались похожими на пару аккуратных миниатюрных арбузиков!

— Ну что ж, попробуй тогда, как обещал, меня изнасиловать, посмотрим, как это у тебя получится! — вызывающе сказала Розочка и встала.

Я вскочил с колен, как восставший раб, и накинулся на Розочку, словно фавн на нимфу. Нимфа, надо сказать, сопротивлялась очень даже натурально, но, как сказал бы спортивный обозреватель, силы были слишком неравны. Мастер спорта по штанге подхватил даму за талию и нежно опустил на постель. После чего, как писал дедушка Крылов, «мужик и ахнуть не успел, как на него медведь надел». Не мужик, конечно, а Розочка, да и я — не медведь, но смысл ясен. Розочка так сильно сжала ноги, что даже натуральный медведь не смог бы их раздвинуть. Но я оказался хитрее — применил болевой прием коленом, и ноги, как говорят медики, раздвинулись рефлекторно. После чего боевой дух «противницы» был уже сломлен. Битва, продолжавшаяся недолго, оказалась ею проигранной. Но финал последовал очень уж гармоничный, я бы сказал — совместный, синхронный и синфазный...

Вдруг дверь в спальню тихонько скрипнула. Развернувшись, мы увидели в дверном проеме фигуру мужа Розочки — моего друга Саши. Он улыбался и делал умиротворяющие пассы руками.

— Вы только не волнуйтесь, — проговорила Сашина фигура приветливым голосом, — в такие моменты опасно пугаться или волноваться! И знайте — я вас люблю и, конечно же, все прощаю!

Опыт жизни мне подсказывает — не бойтесь расставаться с любимыми, вопреки словам известной песни. Только не насовсем, и не на долгое время. Чтобы за это время не успеть впасть в маразм или, не дай Бог, в импотенцию! До чего же сладостно соединение после такого недолгого расставания! Если, конечно, партнер был действительно любимым и желанным и если причина расставания была несущественной!

Вот и для нас с Розочкой наступил настоящий «медовый месяц», правда повторный. Даже Тамара махнула на нас рукой и стала чаще проводить маму и дочь, а также ходить с подругой по операм. Надо бы проверить, конечно, оперы это, или оперá. Ну, попросить напеть, например, арию Маргариты из оперы «Фауст»: «Не блещу я красою...» И если откажется, то, значит, не в опере была и не с подругой! Но как-то все проверить недосуг...

А хитрый Саша почти совсем переселился к Лесе. Приходить домой стал поздно, а по субботам, конечно же, предварительно договорившись со мной, и вовсе оставался в Выхино на ночь. Вроде чтобы не затруднять Розочку хозяйственными делами по его обслуживанию и чтобы она могла полностью отдавать эту субботу Богу. Розочка в ответ на эти лицемерные слова обычно запускала в Сашу каким-нибудь недорогим и небьющимся предметом, но отпускала. И мы могли спокойно (вернее, совсем не спокойно) проводить эту ночь в кузьминской квартире и не прикрывать друг другу рты ладонями для звукоглушения.

Иногда мы шли в эту «сексуальную» субботу на Таганку, обычно по приглашению Тамары. Давно, дескать, с Розочкой не виделись, заодно и в сауне попаримся. Ну что ж, парились, вспоминали и юрмальскую сауну.

Кстати, еще до венчания с Тамарой, мы вчетвером — Саша, Розочка, Тамара и я — побывали в пансионате «Дзинтарс», где познакомились наши молодые. И, разумеется, наведывались в сауну, где они впервые согрешили. Кассирша была буквально счастлива — она прекрасно запомнила «сладкую парочку» — Розочку и Сашу, а теперь к ней добавилась и другая, тоже похожая на супружескую. «Свингерское движение охватывает Европу, добралось и до патриархальной России!» — подумала, наверное, кассирша.

Мы посмеялись, когда Розочка в лицах показывала, как она совращала здесь Сашу. Попросили по разу друг друга задержаться с партнером в парилке. Нет, не подумайте дурного —

мы с Тамарой попросили Сашу и Розочку задержаться. Ну а потом — они нас. И все.

А теперь, на Таганке, когда Саши с нами не было, мы спокойно парились втроем и не просили никого задерживаться. В первый такой визит Тамара постелила нам с Розочкой в маленькой комнате на нашем супружеском широком ложе и жеманно пригласила отдохнуть после парилки. Розочка вся зарделась, но воспользовалась приглашением.

И вдруг, в самый разгар страстей, в комнату входит Тамара. На ней из всей одежды — только коротенький фартучек, а в руках — поднос с двумя бокалами шампанского. Гелла — да и только! Античная красота ее тела очень сексуально оттенялась этим коротеньким фартучком; Тамара, пританцовывая, предложила нам малость охладиться шампанским. Мы выпили, а Розочка с некоторой долей стеснительности предложила Тамаре прилечь с нами вместе. Но Тамара вежливо отказалась.

— Прости, Розочка, но я — не по этой части! Может быть, и к сожалению. Не умею я этого, не составлю хорошей компании. Но вам и без меня будет хорошо! Не смущайтесь! — и она, также пританцовывая, вышла за дверь.

— Вот, а мой Саша никогда нам выпить не заносил! — с удовольствием проговорила Розочка.

— А если бы занес, ты бы его третьим к нам позвала? — ехидно спросил я.

Розочка замахнулась было на меня рукой, но потом остановила движение и задумалась. Видимо, она воображала себе все нюансы. Скоро она затрясла головой и твердо произнесла:

— Нет, это было бы черт знает что, мне такое не понравилось бы!

Потом, когда Саша обнаглел окончательно и стал уже по будням оставаться у Леси на ночь, а Розочка почти переселилась к нам на Таганку, мы купили широкий раскладной диван, специально для Розочки, и поставили его в большой комнате.

Вечером по будням мы ужинали втроем, затем я с Тамарой уходил спать в маленькую комнату в нашу супружескую «койку». Все чин-чинарем, как положено у супругов, без всяких там излишеств, а затем я засыпал. Часов в шесть утра Тамара расталкивала меня и строго спрашивала, не забыл ли я, что у нас в гостях Розочка?

Я ошалело вскакивал, выпивал стакан вина и на цыпочках заходил в большую комнату. Там прямо посреди комнаты стоял широченный диван, а на нем, почти всегда на боку, поджав ноги к животу, лежала и, казалось бы, крепко спала Розочка.

Тихонько подобравшись к ней со спины, я забирался на постель. Подсовывал правую руку под узкую Розочкину талию, а

левую клал на ту же талию, но сверху. Потом начинал тянуть руки вдоль туловища к моим любимым «булыжникам». Когда пальцы моих рук прикасались к ее соскам, а мои грудь и живот — к соответствующим тыльным частям ее тела, причем все это происходило практически одновременно, Розочка мощно вздрагивала. Нет, не от испуга — от испуга так не вздрагивают! И не от щекотки — тогда пытаются освободиться от щекочущих предметов. А Розочкино вздрагивание носило какой-то оргастический характер; так вздрагивают, когда прикасаются к любимым эрогенным зонам человека. Она тут же прижимала мои ладони к своим грудям и тело ее начинало ритмично двигаться — оно входило в свой рабочий режим. Нет, обманывала Розочка и меня, и себя. Все это время она не спала, а ждала с нетерпением, когда Тамара растолкает меня и пошлет на выручку к подруге.

Утром мы завтракали вместе и шли на работу, по крайней мере, Тамара с Розочкой, а моя работа была по особому расписанию. Меня поражала трогательная забота Тамары о Розочке, ну просто вторая бергмановская Альма — моя жена, и все тут! И о подарках для Розочки думала Тамара, сама выбирала их, готовила любимые ее блюда. А к дням рождения друг друга они начинали готовиться аж за месяц.

Но вы бы посмотрели, как они встречались друг с другом, если не виделись хотя бы один день. Эти нежные поцелуи, эти ласки, эти любовные прозвища! Меня начинало раздражать все это, и я строго покрикивал на них:

— Кончайте скорее, вы, лесбиянки чертовы!

А они, дружно ослабившись на меня, хором отвечали:

— Не кончайте, а заканчивайте, грамотей чертов!

Вот так и жили мы, наверное, с полгода, пока кайф наш не был серьезно подорван.

Нет, у нас-то было все путем, недовольных не было, а вот как жили наши голубки — Саша и Леся? Я уже говорил, как Саша тихой сапой перебрался-таки к своей молодой красавице и стал там жить на правах отца ребенка, что ли, или хахаля, а может, отца-опекуна. Наверное, на всех трех видах прав — это будет точнее. Он с избытком снабжал Лесю деньгами, а она буквально преобразила всю квартиру. Он ухаживал за ребенком, водил его гулять, кормил с ложечки. Филя, которому уже исполнилось три года, называл Сашу папой, любил его и не отходил ни на шаг. Да и все соседи находили удивительное сходство Саши и Фили, хотя хорошо знали, что Филя — сын совсем не того Саши.

Леся, конечно же, оставила свою унизительную работу в яслях, да и Филю оттуда забрала. Разодевшись как барыня, вся в норках и песцах, она выгуливала зимой Филю по двору, а летом

ездила с ним по курортам. Иногда к ним присоединялся и Саша, но ненадолго: банк не любит, когда его оставляют руководящие работники. Саша купил себе подержанный «Мерседес» и даже научился ездить на нем, чему я никогда не смог бы раньше поверить.

Конечно же, я встречался с Сашей — или в городе ненадолго, или заходил к Лесе домой — тоже «бикциер», как любила говорить незабвенная мама Блюма, то есть «по-быстрому». Расспросил я про их сексуальную жизнь, и Саша как-то неохотно рассказал, что у них все хорошо — живут регулярно. При этом вяло поинтересовался сексуальной жизнью своей жены. На что я довольно бодро уверил его, что и она на нерегулярность пока жаловаться не может.

И наконец Саша признался мне, что Леся одолела его требованиями разойтись с Розочкой и жениться на ней. Свое «отцовство» на Филю Саша оформил без проблем — деньги быстро все решили. Изменили только отчество отца Филя в свидетельстве о рождении — вместо «Филиппович» сделали «Вениаминович», даже год рождения у них был одинаковый — 1940-й. Теперь же Лесе оставалось только узаконить брак с Сашей, чему он упорно противился.

Сдуру Саша рассказал Лесе о наших с Розочкой отношениях. А Леся тут же вспомнила свои Базарные Матаки и то, что там у них полно было мужиков с двумя, а то и тремя женами. Обратила внимание Леся и на мое нерусское имя: дескать, с таким именем не иметь двух жен — позор. Все Нурбеи — мусульмане, и врет твой друг, что крещенный. Иначе бы с двумя женами не жил.

— Так что за Розочку свою не беспокойся, она пристроена! Давай разводишься — детей у вас нету, разведут тут же. И женись на матери своего ребенка! — глядя на Сашу честными глазами, советует простодушная Леся.

А Саша почему-то воротит нос и разводиться не спешит!

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ЛЕСИ



ОСЛОЖНЕНИЯ

Вскоре одна история с ними приключилась, не очень привлекательная. Увидели «люди», что Леся барыней ходит, муж на «Мерседесе» ездит, вот и поделиться попросили. Позвонил Лесе якобы «деловой партнер» ее бывшего мужа Саши. Якобы Саша задолжал ему крупную сумму денег, возвращать не захотел и за это, мол, поплатился. Раньше видел он, как Леся живет бедно, поэтому не трогал. А сейчас придется делиться. Деньги, мол, у вас с новым мужем есть, а ребенок один. Или деньги, или ребенок — выбирай, мамаша. Дрожанием голосом Леся спросила, сколько же денег надо.

— Двадцать тысяч, больше не требуем. А то сбежит муж — знаем, что он ненастоящий, и этого тогда не получим!

Обрадовалась было Леся: двадцать тысяч рублей — это для нее теперь уже не деньги, а вымогатель почувствовал, что его не так поняли, и добавил:

— Ты, деревня, только правильно пойми — *долларов* двадцать тысяч, «дерево» нам даром не нужно! Я еще позвоню, — пообещал он, — а милицию подключите — о ребенке забудьте!

Посоветовались Леся с Сашей, обдумали все и решили милицию не подключать — опасно. Снял Саша со своего счета в банке двадцать тысяч и стали ждать звонка. Наконец вымогатель позвонил и назначил встречу. Хитро назначил, прямо как в кино: «Встать у такого-то перехода у метро “Выхино”, мужика с собой не брать. Подойдет мальчик чернявый, скажет: “Привет от Александра Македонского!” Ты ему и дашь деньги в пакете. Если приведешь милицию и задержат этого мальчика — ему-то ничего не будет, он несовершеннолетний, а вот с сыном попросаешься. Как со своим мужем-шофером Сашей!»

Леся положила деньги в пакет, перевязала его прочной тесьмой; ею же привязала пакет к руке, чтобы не вырвали. Встала, где назначили, ждет — сердце колотится. Наконец подходит мальчик-цыганенок и говорит: «Привет от Александра Македонского, деньги давай!» Леся и сунула ему пакет, он взял его и убежал, а она вся в волнении вернулась домой. Филю гулять на улицу перестала выводить. А вечером тот же наглый голос по телефону сообщил, что деньги получили.

— Пока можете дышать, — успокоил голос, — но денежки собирайте, скоро опять понадобятся!

— Все, попали на крючок, — поняли Леся с Сашей, — пора уматывать отсюда в неизвестном направлении. Работают непрофессионалы, это видно, но нервы попортят, да и ребенка похитить могут.

И решил Саша пока перевезти Леся и Филю к себе в Кузьминки, а потом снять или купить для них новую квартиру. Лесину квартиру не продашь — она не приватизирована. К тому же в ней прописан муж Саша, который ни в живых, ни в мертвых не числится; он же — ответственный квартиросъемщик.

И вот в квартире Вульф-Македонских, что в Кузьминках, оказываются новые жильцы — Леся и Филя. Конечно же, Саша отыскал по телефону Розу и сообщил ей обо всем. В тот же вечер мы все — Роза, Тамара и я, с одной стороны, и Саша, Леся и Филя — с другой, собрались на совет в Кузьминках. Повестка дня одна — русский вопрос: «Что делать?».

Роза, как наиболее энергичная, тут же стала высказываться:

— Филя и Леся останутся здесь и носа не высунут наружу. Пока, разумеется. Выхинскую квартиру надо запереть получше и поставить на сигнализацию в милиции. Заявление об угрозах в милицию лучше подать, чтобы в случае повтора они были бы в курсе дел. «Мерседес» надо срочно продать, чтобы по машине не выследили, и если так уж нужен автомобиль — купить другой. Саша будет приносить еду и прочие вещи, чтобы ни Леся, ни Филя на улицу не выходили. Если я вам не помешаю, то буду приходить домой, помогать, а если помешаю — буду жить на Таганке у друзей. Все! Какие будут вопросы?

Саша сидел, опустив голову, и молчал, Леся тоже. Мы с Тамарой согласились с планом Розы. А Филя безостановочно бегал туда-сюда, изучая новую квартиру. Розочка внимательно осмотрела Филю и сказала, что он, правда, очень похож на Сашу.

— Когда вы только ухитрились ребенка заделать, ума не приложу! Ведь Саша никуда из дома не пропадал, — гадала Розочка, вгоняя в краску Сашу с Лесей.

— А ты чего с таким стариком пошла в восемнадцать-то лет, что молодых вокруг нет? Да и мужик вроде не такой уж прыткий, как это вы все резво совершили? — недоумевала Розочка в адрес Леси. — Но ничего, ребеночек вроде хороший! — успокоила она под конец Леся.

Итак, квартиру в Выхино срочно поставили на сигнализацию в милиции. «Мерседес» быстро «толкнули» по дешевке, а Саша добавил денег и купил почти новый «Фольксваген-пассат». Заявление в милицию об угрозах и вымогательстве подали.

Леся с Филей целыми днями сидели дома и даже на балкон не выходили. Смотрели телевизор или играли в подвижные игры, но тихо, чтобы соседи снизу о появлении ребенка не до-

гадались. Розочка приходила лишь иногда, как бы в гости, но на ночь не оставалась. Посидит после работы, перекусит, переговорит с Сашей и Лесей, поиграет с Филей и — на Таганку.

Удивительно, но ни она Саше, ни Саша ей сцен не устраивали и нервы не портили. Понимали, что козырей у каждой стороны достаточно и результат поединка будет ничейный. А нервы и отношения будут испорчены. К тому же какое-то подсудное чувство подсказывало Розочке, что Саша ее не оставит, а уж Саша в Розочке был уверен больше, чем в себе — ну, не заведет же Нурбей себе действительно двух жен. Не мусульманин же он, и если бы даже и был им, никто не разрешил бы ему это сделать официально. А так — подумаешь, пусть жена немного пофлиртует с другом, целее будет и на сторону не пойдет!

Но протодушная Леся была еще очень молода, неопытна и неискушенна. Она всего этого не понимала и рассуждала очень уж примитивными категориями — молодость, красота, денежные затраты. Она хорошо помнила анекдот, который я как-то рассказал ей: «Наш Абрам сделал столько дорогих подарков Саре, что потом вынужден был жениться на ней».

Но наш изошренный Саша не был местечковым Абрамом, а татарка Лейсан — Леся из Базарных Матаков, не была даже Сарой из Бердичева. Другой менталитет, другая порода. Сашу вполне устраивала для жизни Розочка, которая за мужа и на картошку пойдет, и даже на костер. Как, собственно, и он за нее. Иные супруги в браке любят и чтут только себя. Случись что, и — поминай как звали. А кто поручится в этом отношении за Лесю? Я бы, например, не поручился. Правда, был ребенок, которого Саша успел полюбить. Но мы-то с вами знаем, кто в действительности был его отцом, а кто просто благодетелем!

Однажды вечером, когда Розочка пришла в кузьминскую квартиру, а Саше еще дома не было, Леся попросилась выйти на улицу: пройтись, мол, охота, взглянуть на природу. Розочка посоветовала ей прикрыть лицо косынкой, чтобы не попасться на глаза вымогателям. Хотя, что им делать в Кузьминках, да еще вечером!

А Леся задумала провести свою квартиру в Выхино. Больше недели она не была дома, беспокоиться начала — вдруг воду прорвало или ток замкнуло. Обмотала косынкой нижнюю часть лица, как «женщина Востока», и, оглядываясь по сторонам (нет ли «хвоста?»), поехала в Выхино.

В подъезде она взяла газеты из переполненного почтового ящика и, подойдя к двери, начала ее отпирать. «Ничто не предвещало беды», как пишут в детektивах. Открыть-то ее Леся успела, да вот закрыть не пришлось. От резкого толчка в спину она залетела в квартиру. Высокий мужчина в черной маске прошел за ней и плотно прикрыл дверь.

— Сигнализация есть? — спросил мужчина. — Если есть, то звони быстрее! — приказал он, вынимая тесак.

— Какой сигнализаций? Не знаю! — испуг мгновенно вернул Лесю к ее базарно-матаковскому периоду жизни, когда она имела сильный татарский выговор.

Саша, правда, предупредил ее, что квартира поставлена на сигнализацию в милиции и что, зайдя домой, нужно тут же позвонить туда. Но Леся, во-первых, от страха напрочь забыла про существование этой сигнализации, а во-вторых, даже вспомнив о ней, она не поспешила звонить — пусть приезжают. Конечно, дяде в маске она об этом не сообщила.

— Сингализац, сингализац, — передразнил ее дядя, — а ну, деревня, показывай, где деньги лежат, золотишко, брюлики!

— Брюлики — как это, не понимаю? — испуганно переспросила Леся, действительно не понимая, что это такое.

— Да украшения это, драгоценности, одним словом — бриллианты, изумруды, другие дорогие каменья! Поняла, деревня, или на татарский перевести?

«Деревня, деревня... — начала вспоминать Леся, — да это же голос телефонного вымогателя, это он ее "деревней" обзывал! А откуда он знает, что я из деревни, да и татарка к тому же?» Значит из знакомых «покойного» Саша, которых она, Леся, знала не так уж много...

Леся лихорадочно принялась открывать шкафы и выдвигать ящики, выволакивая шубы и украшения. Дядя в маске все подбирал и укладывал в объемистый мешок, который, видимо, принес с собой. Мешок был уже почти полон, когда это оживленное занятие прервал бодрый и веселый голос:

— Руки вверх, милиция!

У дверей комнаты стоял улыбающийся милиционер в форме и с пистолетом в руках; в комнату быстро вошли еще два других милиционера. Дядя бросил мешок и рванул к окну — этаж-то первый. Но решетки что на окнах его охладили.

Милиционеры общими усилиями напялили дяде наручники и стащили с лица маску.

— Серега! — узнала Леся бывшего приятеля мужа и попыталась накинуться на него — расцарапать ряшку. Но милиционеры помешали.

— Это его голос по телефону, и слова его тоже! «Деревня, деревня!» — передразнила Леся. — Смотри, какой городской нашелся, бандюга проклятый!

Милиционеры позвали понятых и начали извлекать из мешка Лесины «шмотки» и «брюлики». Леся складывала вещи на столе, а милиционер описывал все это на листочке бумаги. Потом Леся, словно обретя память, бросилась звонить Саше на работу:

— Саша, приезжай поскорее, того бандюгу поймали, что у нас деньги взял. Твоего друга, Серегу... — продолжила было Леся, но осеклась, — не твоего, а Сашино. Одним словом, приезжай быстрее, пока все здесь.

Саша вскоре подъехал на своем «Пассате», зашел в квартиру. Представился милиции отцом ребенка Леси — а как же, не чужой же он человек, даже документ на то имеется.

Серегу уже успели увести, разложили вещи по местам, закрыли квартиру и вышли вместе с милиционером. Тот предупредил, что Лесю вызовут для дачи показаний и лучше ей прожить по месту прописки, тем более что вымогателя уже взяли.

Леся высказала милиционеру свое подозрение, что этот Серега мог и мужа ее убить, раз он такой бандит. Он и в разговоре по телефону чуть ли не признался в этом. Милиционер ушел от ответа и пояснил, что следователь, дескать, все выслушает, а суд разберется.

— Вам и на суд надо будет ходить, — предупредил он, — так что будьте готовы. Бодяга это долгая, сами увидите!

Леся была сама не своя от волнения. Пришлось отпаивать ее ликером с газировкой. Ну и Саша с Розой выпили за компанию ликерчику ее имени. Тоже ведь переволновались. Но, несмотря на выпивку, Розочка ночевать поехала все-таки на Таганку, а заодно рассказать нам с Тamarой про приключение Леси.

СЛЕДСТВИЕ И СУД

Вскоре после празднования пятилетия Фили, 18 мая, Леся решила переселиться обратно в Выхино. По правде говоря, она чувствовала себя в Кузьминках неуютно. Из-за нее, можно сказать, хозяйка вынуждена была уходить на Таганку. А кроме того, в Выхино были все ее вещи — одежда, посуда, мебель, косметика и мало ли еще что. Филю решила оставить — а вдруг обнаружатся подельники, которые могут похитить или даже убить ребенка. За мальчиком будет смотреть Саша. Роза, осознавая необходимость своей помощи, взяла в библиотеке отпуск «за свой счет» на месяц, и целый день была дома. День-то днем, а частенько Роза стала оставаться дома и на ночь, изменив Таганке.

Дело в том, что молодость и красота Леси — это, конечно, хорошо, но мужику, а тем более зрелому, каким уже можно было считать Сашу, нужно и еще кое-что. Это «кое-что» настолько неуловимо, настолько тонко, что его определение и сформулировать трудно. Говорят иногда «духовная близость» — а что это такое? Духовная близость была у Ленина с Крупской, тем не менее они терпеть друг друга не могли. Вернее, терпеть-то приходилось по мере возможности, но с трудом. Я бы слегка изменил термин «духовная близость» и заменил бы его на «душевная близость», или «душевное родство».

Ну какая может быть «духовная» близость между иудаисткой и православным, тем более «выкрестом» — злейшим врагом иудаизма? А между мусульманкой и «выкрестом»? Нет, речь идет, конечно же, о душевной близости. Если говорится о мужчине

и женщине, не связанных кровным родством, то эта душевная близость неотделима от близости сексуальной, иначе отношения сведутся к товарищеским. У однополых людей с нормальной сексуальной ориентацией может быть душевная близость без сексуальной — например, как у меня с Сашей. То же самое — у близких родственников, независимо от пола.

Но возможна сексуальная близость, даже сильная привязанность без близости душевной. У меня был в жизни период, когда я «влюбился» в надувную куклу Мусю. Я писал об этом в книге «Русский Декамерон...». Была сильная сексуальная привязанность без душевной близости. Иначе я бы не «зарезал» мою Мусю и не сжег бы ее останки в кухонном крематории.

Мне представлялось, что Саша с Лесей были лишены такой душевной близости. Она была по-человечески одинока, поженски (мать-одиночка) беззащитна, бедна — и вот появился добрый, щедрый, заботливый и умный Саша. Почему же не протянуться к нему, не привязать его к себе, а потом и вовсе присвоить? Что Леся почти и сделала.

Саше же приелась его семейная жизнь, как, видимо, и Розочке. Она нашла отдушину хотя бы в лице вашего покорного слуги, а Саша без такой отдушины задыхался. Вот и попалась ему на жизненном пути Леся — красивая и одинокая. Но слишком разная у них была ментальность, представления о роли в жизни друг друга, о будущем. И Леся часто, если не всегда, не понимала действий и поступков Саши. Так она и не смогла понять неожиданного решения Саши помогать ей материально: подспудно Леся была уверена, что он таким образом пытался заполучить ее как женщину, не смогла она понять и отказа Саши поначалу вступить с ней в сексуальный контакт.

Поэтому и жили они вместе как на разных планетах и как огромное число семейных пар плохо представляли себе своего партнера. Случись беда, стань, например, Саша инвалидом — он не был уверен, что Леся посвятит свою жизнь тяжелому уходу за ним. А в Розе он был уверен — если не на сто, то на девяносто пять процентов. Зато, появившись на горизонте у Леся молодой и богатый «соискатель» ее руки и сердца, она бы его непременно бросила. В том числе больным, страждущим и обреченным на смерть без нее. Молодые (да и не молодые!) женщины часто жестоки к людям, далеким от них душевно!

А вот Розочка Сашу не променяет ни на кого на свете и в трудную минуту не бросит. Наоборот, будет с яростью тигрицы защищать его от врагов, болезней и других напастей. Несмотря на то, что нам с Розочкой хорошо вместе в сексуальном плане, но попробуй я, даже ради эксперимента, предложить ей: «Давай, брось Сашу, а я брошу Тамару — и мы с тобой поженимся и уедем в далекие прекрасные края». Я представляю себе выраженные лица Розочки и ее указательный палец, крутящийся у виска.

«Тебе что, так плохо?» — только и скажет она мне в ответ, я уверен в этом. Аналогичный ответ (только более деликатный) она получила бы и от меня на аналогичный вопрос. Одно дело — ездить в чужую страну по делам или для отдыха, а другое — поменять свое гражданство на гражданство этой страны — вот вам политическая аналогия наших с Розочкой отношений.

Всем вышеперечисленным и объясняется то, что Саша постепенно стал отходить от своей в некотором смысле «надумной», как моя Муся, Леся к не столь молодой, может быть, не столь красивой (пишу, но не могу согласиться с этим!) и не столь верной (только в физическом плане!) Розочке.

И Саша, и Роза порознь признались мне, что возобновили сексуальную жизнь друг с другом. Леся же, хоть и почувствовала холодок Сашки, но объясняла это уходом за ребенком. То, что он мог снова сблизиться с женой, Леся и предположить не могла. Как, с брошенной, неверной и немолодой (40 уже исполнилось — ужас-то какой!) женой, изменить ей — «красавице южной» в расцвете лет, да еще матери его ребенка! Это немислимо и нереально! Леся, по простоте душевной, всерьез стала считать нашего Сашу отцом Фили и путать его со своим пропавшим или покойным мужем Сашей.

А вскоре выяснилось, что муж Саша и взаправду оказался покойным. Лесю стали вызывать на допросы для дачи свидетельских показаний к следователю. Ее, уже успевшую привыкнуть к комфортной жизни, поразили казенные прокурорские коридоры, длинная скамейка для ожидающих (она почему-то решила, что это и есть «скамья подсудимых»), убогая обстановка в кабинете следователя. Как поняла Леся, все ее вопросы объединили в одно дело — и о пропаже мужа, и о вымогательстве с угрозами ребенку, и об ограблении квартиры. Лесе показалось, что следователь подозревает ее саму в причастности к пропаже мужа и в связях с Серегой. Иначе зачем он так подробно допрашивал бы ее о внезапном «бегстве» из Матаков еще восемнадцатилетней девушкой с пожилым шофером. Детектив выпрашивал о том, влюбилась ли Леся в шофера или сошлась с ним по расчету, не «взял» ли он ее силой и тому подобное.

По вопросу любви и расчета Леся отвечала, что он, то есть следователь, мало представляет себе жизнь девушки, тем более с похотливым отчимом, в Базарных Матаках. И если бы не симпатичный, хоть и пожилой шофер Саша, а сам шайтан предложил бы ей уехать с ним из Базарных Матаков в Москву, она бы и с этим шайтаном уехала. А насчет «взятия» ее силой Леся уточнила, что если по-честному, то скорее она сама «взяла» тогда Сашу почти что силой и готова отвечать за это.

Особенное подозрение вызвало у следователя присутствие в жизни Леся сразу двух Александров Македонских:

— Вы что, специально подыскиваете себе мужчин с именем великого полководца? Ну, если бы это был Иван Петров или Сидоров, то еще понятно. А ведь Александров Македонских, наверное, во всей Москве было только два экземпляра, и вы нашли именно их! Как вы объясните это — специально искали, что ли?

Леся была так обескуражена этим вопросом, что заговорила снова с татарским акцентом.

— Конечно, искал! Специально искал — а как же! Муж мой Александр Македонский был, потом пропал, что мне — Наполеон Бонапарт искать, что ли? Конечно, искал Александр Македонский, вот и нашел новый Саша. У меня от него и сын есть — Филипп, тоже Македонский!

Услыхав такие речи, да еще громким, темпераментным говорком, стали оборачиваться и интересоваться другие допрашиваемые. Видимо, решили они, поймали «крупняка», раз и Александр Македонский фигурирует, и Наполеон Бонапарт.

— Вы лучше мой муж допросите, он умный, он все правильно ответит. А то вы меня запутал! — взмолилась наконец Леся.

— Как, пропавшего мужа допросить? А как же его вызывать? — изумился следователь. — Вы сумеете его привести?

— Почему пропавший, у меня еще есть, тоже Александр Македонский, Саша. Его допросите. А пропавший — не надо, кто его приведет? Зачем меня с толку сбиваешь? — Леся перешла на «ты» и на крик. — Я больше молчать буду, хоть турма сажите! — совсем распрощалась с русским языком бедная Леся.

Конечно же, вызвали Сашу. Он даже рассказ мой отскерокопированный принес следователю, чтобы тот разобрался в ситуации. Но не тут-то было.

— Так ребенок свидетельницы Абдурахмановой действительно ваш? — спросил следователь.

— Да конечно же нет, ребенок ее мужа, который пропал. А я даже и не знал гражданку Абдурахманову тогда, когда ребенка делать надо было! — доходчиво объяснил Саша.

— Почему же свидетельница Абдурахманова утверждает, что это ваш ребенок, — недоумевал следователь, — а вы — ее муж?

Саша прикусил губу. Да, Леся перегнула палку. Нельзя врать следователю, это тебе не приятельница на базаре, простите, в Базарных Матаках.

— Да запуталась она, русскому недавно научилась, — теперь стал врать Саша, — перепутала меня с мужем. Оба мы Саши, оба Македонские. И ребенок от того Саши — мужа, а не от меня. Я всего лишь любовник, если называть все своими именами.

— Назовите, пожалуйста, себя, — попросил следователь, глядя на Сашу немигающими, светлыми глазами.

— Александр Вениаминович Македонский, 1940 года рождения...

Но следователь не дал продолжить.

— А теперь смотрите, кто отец ребенка, — и детектив положил перед ним копию свидетельства о рождении Филиппа. — Отец — Александр Вениаминович Македонский, 1940 года рождения... Негоже от родного сына отрекаться!

Саша смотрел следователю в глаза, не зная, что и сказать.

— Что, позабыли русский, может, и вы на татарский перейдете? Может, жена позвать, он умный, он все правильно скажет?! Запутались вы все — и мужья, и жены, и любовники с любовницами. А муж-то законный пропал и уже года два с гаком о нем не слышно, почитай, и в живых уже нет. Пойдем дальше, если вы не ее муж и ребенок не ваш, почему откликнулись на письмо матери, почему пришли к ней в дом, почему стали помогать материально? — добил Сашу наш Эркюль Пуаро, комиссар Мегре и Шерлок Холмс в одном флаконе.

Саша вытаращился на детектива и только произнес:

— Не знаю! Ничем не могу оправдаться! Виноват — вяжите!

— И турма сажите! — язвительно добавил следователь словами разгневанной Леси. — Хорошо, будем во всем разбираться, только обещайте хоть вы не лгать больше. От женщин правды требовать бесполезно, — заметил следователь, — а вы — кандидат наук, ответственный работник банка! Как же ваши вкладки поверят вам, если вы постоянно лжете?

— Все, — твердо сказал Саша, — больше не повторится! Век воли не видать! — заверил он на понятном следователю языке. — Признаю, что врал. Но ребенок действительно мой — от этого не отвертись. Простите — законную жену боялся!

Саша уже было решил, что его уведут с конвоем, но, как ни странно, следователь отпустил его домой, пообещав еще помучить его вместе с законной женой Розой и незаконной — Абдурахмановой Лейсан Саидовной (следователь прочел трудные «фамилию — имя — отчество» Леси по бумажке).

Придя домой, Саша тут же, даже не снимая ботинок, признался Розочке во всем. Что Филя, которого она в это время держала на руках и кормила с ложечки, — не его сын; что муж Леси, тоже Александр Македонский (настоящий отец ребенка), давно пропал, а возможно, и убит; что помогал он Лесе просто так, даже не рассчитывая стать ее любовником. А также в том, что крупно лажанулся сейчас перед следователем, но Филю все-таки сыном признал. Сказал, что жены (то есть Розочки) боялся, потому и отрекался от него.

— Правильно говорит Нурбей: никогда не лги, если только ты не профессиональный лгун! Я — вообще не лгун, и вот попался, как последний идиот! Хорошо, что об этом не узнает мама Блума, она бы не пережила этого позора!

И в заключение:

— Как хорошо, Розочка, мое золотце, что ты никогда не врешь! Как с тобой легко и приятно общаться, я так счастлив,

что связал свою жизнь именно с тобой! — патетически закончил свою речь Саша и полез к жене целоваться.

— Руки бы помыл, да и рожу тоже! — вернула его на землю Золотце. — Небось не из бани пришел, а сам знаешь откуда! А здесь дитя малое! Правда, как оказалось, не родное. Но есть ложь святая, и она в том, что Филя твой сын, и надо держаться этого!

О своих злключениях со следователем Саша тут же рассказал и Лесе, правда, уже по телефону. И добавил, что ему пришлось обо всем рассказать и Розочке, так как следователь обещал вызвать на допрос и ее, поэтому нужно «железно» держаться версии о его отцовстве.

Пронырливый следователь вывел на чистую воду и Серегу — домушника и вымогателя. С такими «серегами» следователь чувствовал себя как рыба в воде — это был его материал. Не то что девицы из Базарных Матаков или кандидаты экономических наук, психологию которых понять нормальному следователю трудно.

А Серегу сначала раскололи на признание в вымогательстве. Он пытался было это представить так, что муж Леси задолжал ему деньги, а Серега лишь хотел вернуть этот долг. Но использованные им методы изымания денег тянули на вымогательство и шантаж. И Серега, будучи мужиком глуповатым, запутался в вопросах этого долга — его происхождения и методов возврата.

Оказывается, Саша и его товарищ Серега перевозили из Куйбышева и Казани какие-то «левые» грузы. Договаривался о сделке с поставщиком и заказчиком Серега, а перевозил в основном Саша. Деньги заказчик платил Саше, естественно, при сдаче груза. А Серега потребовал себе подавляющую часть денег, с чем Саша не мог согласиться — и труд, и риск по перевозке были на нем. Вот и стали бывшие товарищи конфликтовать, от чего Саша и нервничал, а Лесьа заметила это. Серега несколько раз приходил домой к Саше и даже мельком виделся с Лесей.

И вот одна из ссор, происходившая в гараже Сереги, переросла в поножовщину, и в результате в гараже оказался труп Саши. Хотя Серега, конечно же, утверждал, что напал на него Саша, а он лишь защищался. Серега тайно вывез тело и захоронил его в лесу под березами. На следственном эксперименте Серега нашел место захоронения, и останки были эксгумированы. По ряду признаков, известных Лесе, останки идентифицировали и выдали жене для захоронения. Лесьа кремировала их, а капсулу с разрешения Розочки и Саши захоронили на Кузьминском кладбище на участке, где уже покоились Барух и Блюма Вульф. «Как отца нашего Фили», — привела убедительный довод Роза, и Саша с ним согласился.

Между тем Серега, узнав о благополучной жизни Леси, задумал вернуть, как он считал, свои деньги, причем в многократном размере. Угроза расправы с ребенком — и деньги, причем немалые, легко оказались у него в кармане. Вот и решил он «до-

ить» Лесю и дальше. Но «жадность ффраера сгубила». Саша с Лесей и ребенком исчезли, а Серега начал следить за квартирой. Вот и подловил Лесю на входе, а дальнейшее вам известно.

Серега ошибся в Лесе — не такая уж она оказалась «деревня». На то, чтобы не позвонить в милицию и не отключить «сигнализаций», у Леси ума хватило. Вот и загремел Серега сразу по нескольким статьям, в сумме на 15 лет. А Лесе выдали наконец свидетельство о смерти мужа, и она стала хозяйкой квартиры.

Все это время, пока шло следствие, а потом суд, Филя был на попечении Розочки и Саши. Леся боялась показаться на глаза Розе — стыдно было за свой обман насчет отцовства Саши. Сам же Саша периодически ездил с ребенком в Выхино, чтобы показать его матери. Никакой близости между ними уже не было — ни Саша ее не хотел, ни Леся не требовала. Деньги она принимала охотно, хотя ребенок жил в Кузьминках, да и летом на море ездил с Сашей. Показалось Саше, что у Леси появились ухагеры и она резко изменилась. Она дотошно расспрашивала, когда точно он с Филей приедет к ней в Выхино, что-то вычисляла.

И еще один факт насторожил Сашу. До окончания следствия Леся все время говорила, что пора, дескать, Филе переезжать к себе домой. Потом эти разговоры как-то поутихли. Леся каждый раз просила Сашу, если это не очень затруднит его и Розу, поддержать Филю у себя еще немного, на что Саша с охотой соглашался. Филя уже нет-нет да называет Розу мамой — «мама Роза», а «мама Роза» уже не могла представить себе жизнь без Фили. Да и Саша привык к ребенку, который, не зная, что он «чужой», продолжал называть его папой. И Роза, и Саша со страхом ждали момента, когда Леся затребует ребенка обратно. Роза даже осторожно намекнула Саше, чтобы он предложил Лесе уступить им Филю за вознаграждение.

— Другие ведь матери продают своих детей, почему же ей нельзя, — риторически рассуждала Роза, — деньги-то ведь всем нужны! Да и мы ему уже не чужие — «папа» и «мама Роза»!

Но Саша не поддерживал этой темы и только сумрачно хмыкал на эти рассуждения Розы. Он стал замечать нечто такое, о чем не спешил делиться ни с Розой, ни со мной.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ

С приходом в Кузьминки Саши, Леси и Фили режим наших с Розой встреч изменился. В кузьминской квартире теперь жило слишком много народа, чтобы мы с Розочкой могли там любить друг друга. Саша-то не мешал, а вот Леся с Филей могли нас не так понять. Поэтому Розочка при любой возможности убегала ко мне с Тamarой на Таганку.

А тут и Таганка стала для нас недоступной. У Тamarы заболела мама (моя тещенька!), она не могла выходить из дома, а стало быть, за ней нужен был постоянный уход. Поэтому мы решили обменять нашу двухкомнатную квартиру на трехкомнатную, чтобы в ней было место и для для тещи. Повозиться пришлось, но квартиру обменяли. Мы переехали на Автозаводскую площадь, прямо у метро, в просторную квартиру на девятом этаже кирпичного дома.

Просторная-то просторная, а лафа у нас с Розочкой кончилась — встречаться на Автозаводской стало невозможно. Теща хоть ходила плохо, но навещалась всюду. Ночь, конечно, была в нашем расстройении, но разве это жизнь!

Правда, представилась и другая возможность. В 1995 году мы купили дачу — обустроенный участок с финским домиком. В домике было две комнаты на первом этаже и одна на втором. Места для любви — предостаточно. Но только в теплое время года, с мая по октябрь, в основном, в субботу и воскресенье. Летом мы с Тамарой уезжали туда на весь отпуск, а в вузах, где мы и работали, это почти два месяца. От дверей дома до дверей дачи — два часа. И мы часто брали с собой на дачу Розочку, а Саша оставался с Филей дома. Что ж, в субботу и воскресенье Саша не работал, Розочка могла и отдохнуть от забот по уходу за ребенком.

Летом Саша сажал Филю на свой «Фольксваген», и они уезжали на море. А «три веселых гуся», как мы с Тамарой и Розой сами себя называли, отдыхали на даче. Ходили купаться на озера, которых было в изобилии вокруг, а потом я построил небольшой бассейн, и можно было уже не выходить за ограду участка. Мы ели жимолость, землянику, иргу, малину, ежевику, смородину, крыжовник, сливу, яблоки, груши и другие «дары русского сада». Щедро запивали эти «дары» замечательным самодельным вином из черноплодки. Покупали, конечно, и «фабричные» продукты с вином в магазине.

Апо ночам! Волшебное время любви — прямо из тысячи и одной ночи! Когда от этой любви становилось слишком жарко, мы включали наружное освещение и бегали, «в чем мать родила», плескаться в бассейн. А потом обратно — пить вино и любить друг друга!

Но, хорошего долго обычно не бывает, конечно же, случилось и плохое. Однажды, в начале лета, еще до отпуска, когда Роза жила в кузминской квартире с Сашей и Филей, а Леся уже у себя, вдруг с ними случилось это «плохое». Вернее, оно произошло не с ними всеми, а конкретно с Сашей — он стал неспособен к половому акту. Выражаясь по-медицински, у него приключилась эректильная дисфункция. Не буду даже и переводить с латыни — такое и переводить не хочется! И вот муж и жена, захватив Филю, тут же бегут — и как бы вы думали, куда? К профессору, конечно же, а ближайшим профессором у них был я. К тому же у меня была большая медицинская энциклопедия — 36 томов и два

тома приложения. Вот они, позвонив и сообщив в общих чертах о своей печали, примчались на Автозаводскую.

Открываю я соответствующий том на слове «импотенция» и нахожу огромную статью об этом грозном для мужика явлении и как с ним бороться. Лучшим способом преодоления этой дисфункции в энциклопедии был признан вакуумный способ насыщения пещеристых тканей кровью. Чтобы не утомлять читателей, особенно не страдающих этой дисфункцией, кратко поясню, что «рабочий орган», пораженный этим недугом, помещают в вакуум. Не в космический, конечно, вполне достаточно и тот, который дает пылесос. Да, да, обычный бытовой пылесос — он же этим вакуумом и сосет пыль!

Нашли прозрачную пластиковую бутылку с толстыми стенками, срезали у нее дно, к горлышку прикрепили всасывающую трубу от пылесоса. Затем надели эту «бездонную» бутылку на пораженный орган Саши и включили пылесос. И тут произошло чудо — на глазах у изумленных женщин пораженный дисфункцией орган быстро заполнил собой всю полость полулитровой пластиковой бутылки. Розочка была в диком восторге от таких грандиозных размеров ее любимой игрушки. Я продержал пылесос включенным еще минут пять для гарантии, а затем выключил его и снял бутылку. Грандиозные размеры налитого кровью органа, похожего на большой баклажан, сводили с ума Розочку, и они спешно отправились в будуар проводить испытания. Это в наш-то будуар, в новой квартире на Автозаводской! А мы с Тamarой держали Филю и стояли на стреме. Результат оказался не таким уж долговечным, как хотелось бы Розочке, но вполне приличным.

По самым достоверным медицинским данным (я не шучу, это на полном серьезе!) половой акт, практически у людей всех рас, длится в среднем около трех минут. Так вот, эти статистические три минуты упомянутый эффект держался, и ни секундой больше! Но разве Розочке трех минут достаточно — это для нее просто издевательство! Уж кому-кому, а мне это было хорошо известно. Но лучше уж три минуты, чем ничего!

На следующий день мы собрали на Автозаводской небольшой ученый совет из профессора, доцента и двух женщин — ученых секретарей, и решили взять в банке у Саши ссуду, чтобы наладить производство аппаратов-насадок к пылесосам на радость нашим российским импотентам. Да они за такой чудо-аппарат любые деньги выложат — и мы миллионеры!

Святая простота! Вскоре после этого я в немецком городе Гамбурге видел любые размеры и разновидности таких аппаратов. И с собственным насосом, и в виде насадки на пылесосы. Покупай — и продавай в России. Однако этого пока почему-то никто не делает — значит, это нерентабельно, решили мы. Иначе бы наши аптеки были бы завалены такими аппаратами! И их бы рекламировали по телевизору непрерывно.

Но мы ошиблись — совсем недавно я видел телевизионный репортаж из секс-шопа, где такой аппарат показывали и рекламировали. Там воздух постоянно откачивали вручную небольшой, но очень «тугой» резиновой грушей. Но наш аппарат-то был удобнее, там не нужно было «ручной работы» — за эрекцию «боролся» мощный пылесос.

Таким образом, у нас с Сашей имелся свой, оригинальный, даже уникальный аппарат, и эректильная дисфункция нам теперь уже не угрожала!

Но аппарат-то находился на Автозаводской, а эректильная дисфункция случилась, теперь уже со мной, на даче. Это была такой кошмар, что я эти события вспоминаю всегда с содроганием.

Выехали мы в отпуск втроем на дачу, все было путем и без приключений. Выпили за проезд, но не ограничились домашним вином из черноплодки, а добавили еще купленный по дороге коньяк. Дело-то привычное, но и «на старуху бывает проруха». Я, конечно, под «старухой» имею в виду не кого-нибудь, а себя, грешного. Зашел я сперва по обычаю в маленькую комнату к Тамаре — законная жена все-таки. А потом, даже не в шесть утра, а часом раньше — к Розочке. На даче, как когда-то на Таганке, были две разные по величине комнаты, и мы решили соблюсти таганские традиции, чтобы часом не спутаться.

Итак, сделал дело — гуляй смело, и я побрел «гулять» в соседнюю комнату, где меня уже с нетерпением ждала Розочка. «Ничто не предвещало беды» — это, конечно же, литературный штамп, но здесь он подходит как нельзя лучше. Захожу к Розочке, состояние обычное, то есть «готовность № 1». Ложусь как бы незаметно, бочком, и обнимаю Розочку за талию. Тяну руки вдоль ее тела, к моим любимым «бульжникам». Хозяйка «бульжников», как всегда, оргастически вздрагивает... и все! Я с ужасом чувствую, как у меня наступает эректильная дисфункция! Это — конец!

Каждый, кто испытал такое, причем «на самом интересном месте», то есть в самый неподходящий момент, представляет дальнейший ход событий. Сперва Розочка принялась меня успокаивать. Применяя при этом различные ласковые приемы, которые я из этических соображений описывать не буду, для преодоления этой чертовой дисфункции. Затем пошли меры и «покруче», но проклятая дисфункция не проходила. Розочка прекрасно знала, что чудо-аппарат, который помог ее мужу, находится на Автозаводской и доставить его сюда вовремя мог только вертолет. Или джин какой-нибудь из бутылки. И поняв, что сейчас «кинá не будет», Розочка впала в истерику.

Услышав нехарактерные звуки, Тамара было решила, что теперь оргазм у Розочки протекает в такой «тяжелой» форме. Но так как «оргазм» слишком затянулся, Тамара встала и зашла

к нам в комнату — посмотреть, не случилось ли чего. Розочка рыдала, а я поддерживал ее за плечи и успокаивал. Увидев Тамару, подруга с плачем рассказала ей обо всем, не забыв поинтересоваться, все ли у нас вечером получилось нормально. Прямолинейная Тамара честно призналась, что все было о'кей, или, по-народному, — «тип-топ». Тогда Розочка в каком-то недобром озарении вдруг приказала нам: «А ну-ка, ложитесь и попробуйте при мне!» Мы быстро начали исполнять приказ, и... все получилось, как по-писаному! Примерно за те самые три минуты, как и положено по медицинским показаниям.

Я сам себе не поверил, но факт — налицо! Понимаю, что это трудно понять, но я даю «честное, благородное слово», я клянусь, в конце концов, что так оно все и было!

Мы все трое замерли, не зная, радоваться или огорчаться. Голая Розочка, покачиваясь в каком-то трансе, задумчиво проговорила: «Значит, я не нужна вам больше, значит, сама природа подсказывает, что я здесь лишняя!» И впала в истерику куда более сильную, чем в первый раз. Она почему-то постоянно приговаривала: «Я **вам** больше не нужна, я **вам** больше не нужна!» Прямолинейная, как я уже упоминал, Тамара, пытаясь успокоить Розочку, заметила ей, что она-то — Тамара — тут ни при чем, ей-то Розочка всегда нужна! На что Розочка разрыдалась настолько громко, что мы уже стали ожидать прихода соседей. Но утренний сон был, видимо, крепок, и они не пришли.

Розочка стала решительно собираться домой, и удержать ее было невозможно. «Я тут не нужна, я тут лишняя!» — вот было ее единственным ответом на наши увещевания. И тут случилось то, о чем я уже сообщал, но в закамуфлированной форме в моих предыдущих «сочинениях». Ибо не имел тогда разрешения на рассекречивание наших отношений. Я вдруг ослеп! Ослеп, как Савл, он же потом Апостол Павел. Но не на оба глаза, как он, а только на один правый. Греха, видимо, было меньше! Моргаю, моргаю — проморгаться не могу. Темнота — полная!

Мне это не понравилось, и мы все трое срочно стали собираться в Москву. Не знаю, куда Тамара с Розочкой, а я — в скорую офтальмологическую помощь. Потому что мне кроме прочих органов еще и органом зрения работать надо! Иначе как я буду писать мои тексты и формулы, что на бумаге, что на доске! Я же университетский профессор все-таки!

Приехали домой — на Автозаводскую. Роза уже успокоилась, и дамы даже решили проводить меня до клиники. А офтальмологическая клиника была близ метро «Маяковская», то есть в десяти минутах езды от нашей «Автозаводской». Но я решил не беспокоить дам. Тем более глаз стал уже функционировать, а от моих дам, вернее от Розочки, можно ожидать любых неприятных эксцессов прямо в клинике.

Я высидел пару часов в очереди, попал на прием, и мне сказали, что это — спазм артерии, питающей зрительный нерв.

— Стресс нервный был недавно? — поинтересовался врач.

Я ответил уклончиво — стресс-то был не у меня, а у моей дамы, но, видимо, частично передался и мне. Врач выписал мне лекарство, и я пошел домой, размышляя о жизни.

Вот Господь наказал меня слепотой, наверное, за прелюбодеяние. Он уже наказывал меня за вольные или невольные попытки «измены» жене после венчания. Поначалу мне казалось, что это невозможно — долго сохранять сексуальную верность одной женщине. Несколько раз я был очень близок к грехопадению, но либо случай, либо сам Господь Бог помогли мне.

То в сауне, где уже было готово свершиться грехопадение, гас свет и приходилось вызывать электрика. А в сауне третий, тем более электрик, как известно, лишний. То сильно перепивал в номере гостиницы, где был не один, и дама оставалась непопороченной, а я уходил с молитвами благодарности. А потом то, о чем я уже говорил. Но разве мою связь с Розочкой можно считать изменой? Ведь измена — это причинение ущерба близкому человеку. Ущерб морального или материального. Обычный среднестатистический муж, допустим, тайно завел себе любовницу. Во-первых — это обман, значит, уже грех. Во-вторых, не исключено, что муж разведется с женой и «отойдет» к любовнице. В-третьих, он делает любовнице подарки, уделяет ей сексуальное или иное внимание, стало быть, обделяет жену. Да еще могут появиться дети, что не такая уж редкость. Тогда он уже точно не отвяжется от любовницы.

У нас же с Розочкой все по-другому. Начну с конца: ребенка мы не заделаем — по определению. Розочка на это неспособна. Жену я не брошу, как и она меня. Секретов у нас ни от кого в нашей «семье» нет. Все мы любим друг друга, уважаем и ценим. Так неужели сделать человеку приятное и полезное для здоровья — это измена? Нет, надо внести ясность в определения, словари, энциклопедии и моральный кодекс строителя капитализма, наконец.

Придя домой, я прежде всего положил в сумку наш чудо-аппарат, иначе говоря — пластмассовую «бездонную» бутылку, чтобы отвезти его на дачу. Пылесос там уже был.

Розочка окончательно успокоилась, и вечером мы отправились опять на дачу. Отпуск-то проходит, к тому же у Розочки он «без содержания»!

К счастью, аппарат больше не понадобился, все было путем, как и до того случая. Наверное, чрезмерная выпивка и смешение напитков дали себя знать. Или же коньяк подмосковный был «паленый» — больше мы его не брали. И лето прошло прекрасно — в любви, согласии и без истерик!

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ ЛЕСИ

Мои рассуждения об измене, видимо, оказались справедливыми, потому что Господь наказал все-таки Лесю. Ведь она склонилась Сашу к близости с ней, чтобы причинить неприятности Розе и ее доброму, любящему (по-настоящему, а не формально!) мужу, нанести, наконец, материальный ущерб своими постоянными требованиями подарков и денег. Да и с покойным мужем Сашей Леся была не вполне честна. Хотя она и не изменяла ему, но замуж вышла не по любви, а чтобы убежать из своих ужасных Базарных Матаков. И это тоже — грех. А случилось с ней то, что часто случается со слабыми людьми, когда они оказываются без дела и при деньгах. Короче, пристрастилась она к наркотикам.

Когда в ожидании вызовов на дачу показаний и в суд она жила в выхинской квартире одна, у нее пропал сон, она стала бояться каждого шороха, каждого звука и ей казалось, что дверь открывается и входит Серега, сбежавший из камеры. Леся зажигала все лампы и пыталась заснуть при этой иллюминации, но ничего не получалось. К часу-двум ночи эти страхи все более усиливались и постепенно проходили только под утро, — Леся впадала в тяжелый сон. За неделю вся нервная система у нее расшаталась, и она пошла в аптеку, чтобы купить снотворного. Но у нее потребовали рецепт врача. Леся чуть не взорвалась от возмущения — из-за какого-то рецепта выстаивать в многочасовой очереди в поликлинике! От волнения она снова приобрела базарно-матаковский акцент и почти криком потребовала от продавщицы снотворного, обещая за это «любые деньги».

В аптеке назревал крупный конфликт, и аптекарь пригрозил вызвать милицию. И тут вдруг к Лесе подошла чернявая молодая женщина, ласково взяла ее за плечи и успокоила. Леся, услышав добрые слова, которые уже подзабыла, обняла женщину и стала расспрашивать, кто и откуда она. Та ответила, что живет недалеко отсюда и зовут ее Ляля.

Они, обнявшись, вышли из аптеки, сели на скамейку в ближайшем сквере и разговорились. Леся рассказала Ляле о своих злоключениях последнего времени, о своей судьбе вообще и пригласила ее к себе домой, благо дом ее был рядом. Дамы выпили вина — а у Леси всегда в запасе было несколько бутылок — она пристрастилась к нему, особенно в последние дни. Ляля о себе рассказывала мало, а Леся, обрадованная новым знакомством, выложила ей все, как на духу. И закончила жалобами на свою бессонницу, на страхи, на издерганные нервы.

— Мне все ясно, — сказала на это Ляля, — я медсестра в больнице, мне это все близко и понятно. Видишь ли, Лейсан, обычное снотворное, даже барбитураты, которые тебе и врач вряд ли выпишет, не избавят тебя от страхов. Я могу достать тебе самое лучшее в мире лекарство — оно даст тебе хороший сон, ты совершенно

перестанешь бояться, тебе станет легко и приятно. Но стоит оно дорого — его только в Кремль и поставляют, оно не для простого народа. Я тебе дам попробовать свои таблетки, если понравится — тогда куплю специально для тебя. Ведь я тоже засыпаю с их помощью — это кайф! — и она вынула из сумочки маленький пакетик, из которого выкатила две небольшие белые таблеточки.

— Прими одну таблетку вечером, но не поздно, часов в восемь. А если проснешься ночью, то прими вторую. Ты меня еще вспомнишь добрым словом, — добавила она, пристально глядя в глаза Леси своими черными не улыбающимися глазами.

Леся взяла таблетки и предложила деньги. Но та отказалась, дескать, может не подействовать — за что брать тогда. Обещала позвонить, но телефона не дала — муж, говорит, ревнивый, подзревает всех, даже женщин. На том и расстались.

Леся не могла дожидаться восьми вечера. Без десяти минут восемь она выключила телевизор, свет и, священнодействуя, медленно положила таблетку на язык. Она ожидала какого-то совершенно исключительного вкуса этой таблетки, а та оказалась просто сладенькой, может, с едва заметной горчинкой.

Потом, когда Саша нашел под кроватью у Леси упаковку от этих таблеток, которые та уже глотала десятками, он прочел на ней: «Morphinum hydrochloricum — 0,01». Это был морфин солянокислый, называемый в народе морфием. Одна таблетка содержала 10 миллиграммов морфина, остальное — обычный сахар, его было в 25 раз больше, чем самого морфина.

Итак, Леся проглотила таблетку, запила ее для верности водой и стала ждать результата. Она даже разделась и легла в постель, чтобы заснуть побыстрее. Но таблетка все не действовала. «Обманула, негодница, — подумала было Леся, но прогнала эту мысль. — Зачем ей это? Может, это только на мой организм таблетка не действует?» Такие мысли обуревали Лесю, как вдруг... Да, да, именно вдруг она почувствовала не сонливость, как этого ожидала, а напротив — оживление. Страхи исчезли, как будто их никогда и не было, даже Серега показался Лесе сейчас не таким уж страшным. Она была готова и поцеловать его, явись он сейчас. Леся почувствовала какую-то радость, как будто сбылась ее давняя мечта, мысли ее были легки и ясны. Она поняла, что за последнее время стала гораздо умнее, чем раньше, теперь ее никакой следователь не подловит — она просто умнее их всех, вместе взятых.

Базарные Матаки должны гордиться ею, своей Лейсан! Она не только самая умная, она и самая красивая во всей Москве! Как смотрят на нее мужчины! Леся соскочила с постели и, как была голой, так и подошла к зеркалу. Необычайное состояние легкости и невесомости приятно поразило ее. Но подлинный восторг охватил ее, когда она взглянула на свое отражение в зеркале. Несмотря на сумерки, она отчетливо видела каждую



деталь, каждую черточку своего тела и лица. Такой женской красоты она не могла раньше даже себе представить.

«Почему я раньше внимательно не смотрела на себя в зеркало, — восторженно думала Леся, — ведь я самая красивая во всей Москве, во всем мире! Красивее просто быть невозможно, надо, чтобы все это знали, надо как-нибудь выйти раздетой на улицу — пусть смотрят и восхищаются!»

Леся покрутилась еще перед зеркалом, потом пошла к постели, снова поражаясь легкости своего тела. Легла на постель и оказалась на мягком, теплом облаке, ну просто как в детском сказочном мультфильме. В такой мягкой и теплой постели Леся еще не спала никогда! Она зарылась лицом в подушку и заснула блаженным сном, без каких-либо сновидений.

Леся проснулась под утро — часа в четыре. Она впервые за долгое время хорошо выспалась, но не прочь была бы поспать и еще. Леся осторожно достала вторую волшебную таблетку, чтобы увидеть лучшую из сказок вновь. Она медленно рассосала ее во рту и запила водой, чтобы ни одна, даже самая малая частичка не пропала. И Леся испытала все то, что и ожидала — сказочное блаженство повторилось.

Чтобы представить себе, какое сильное испытание свалилось на неискушенную, неподготовленную к превратностям столичной жизни Лесю, приведу описания опьянения опиийными препаратами, к которым принадлежит и морфий. Описания эти даны известными людьми — французским поэтом Шарлем Бодлером и нашим писателем Михаилом Булгаковым.

Вот как пишет об этом Бодлер:

«Человек является перед нами как бы в своей первородной правоте и справедливости — возродившийся и вернувшийся к своему естественному состоянию, освобожденный от всяких посторонних примесей, случайно извративших его благородную природу. Несмотря на все наслаждения, которые дает нам вино, мы должны помнить, что отравление алкоголем часто граничит с безумием, или, по крайней мере, с сумасбродством и что за известными пределами оно рассеивает, так сказать, испаряет нашу духовную энергию, тогда как опиум всегда умиротворяет, всегда сосредоточивает наши рассеянные способности».

А вот как пишет о морфийном опьянении Булгаков, врач по образованию, в своем рассказе «Морфий»:

«Первая минута: ощущение прикосновения к шее, это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинаются необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявлений духовной

жизни человека. И если бы я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием».

Бедная, бедная Леся, она даже представления не имела, какому дьявольскому искушению она подверглась! Она и не чувствовала приближения беды, когда, проснувшись поздно утром, стала ждать звонка Ляли. Ей казалось, что Ляля уже больше не позвонит никогда, что она решила лишь поиздеваться над Лесей, показав ей рай наяву, а потом исчезнуть! Бедная, простодушная Леся! Уж лучше бы жила она себе в своих Базарных Матаках, чем попасться смертельному искушению!

Но Ляля позвонила, однако по телефону подробно говорить не захотела — муж, дескать, ревнует. Они договорились встретиться на той же скамейке в сквере, где сидели и разговаривали вчера. Ляля была сосредоточенна и, видимо, спешила. Леся пыталась было рассказать ей все, что она испытала после приема таблеток, но Ляля прервала ее. Она сказала, что спешит, и спросила Лесю, будет ли она брать таблетки, снова предупредив, что они дорогие. Леся восторженно подтвердила ей, что обязательно их купит. Ляля внимательно поглядела на нее и спросила, настолько ли богат ее любовник? Леся подтвердила, что богат и денег на нее не жалеет. Ляля назвала стоимость таблеток, которые показались Лесе не такими уж дорогими — каждая таблетка не дороже бутылки хорошего коньяка. Пачки в десять таблеток ей хватит — она наладит свой сон. Саша снова перейдет к ней жить, а может, и женится. И никакие таблетки Лесе будут больше не нужны! Так что пачку — и все! Ляля взяла деньги, быстро сунула Лесе пачку в руку и посоветовала на виду у людей ее не рассматривать.

— Кремлевские таблетки — увидят, сразу поймут, что ворованные! — предупредила Ляля, и добавила: — если понадобится еще, то позвонишь по телефону, который записан на упаковке таблеток, скажешь — от Ляли. Цена — та же. Ну ладно, удачи тебе! — Ляля холодно распрощалась с Лесей и быстро ушла.

Лесю покорило официальное отношение к ней Ляли, с которой Леся так хотела сойтись поближе. «Но хоть таблетки со мной!» — удовлетворенно подумала Леся и положила пачку в свой нагрудный карман. И вдруг с удивлением почувствовала, что таблетки согревают ей сердце! Наивная Леся искренне полагала, что одной упаковки морфина ей будет достаточно, чтобы наладить сон, а там все пойдет как по накатанной дороге. Но она еле дождалась вечера, чтобы проглотить таблетку, а ночью — вторую. Счастье было получено, но наутро оно исчезло.

Леся ходила в магазины, на допросы, потом в суд и думала только об одном — как она примет уже не одну, а сразу две таб-

летки, а ночью — снова две. Она смотрела на Филю, которого приводил Саша, разговаривала с ним, обещала скоро взять его к себе. Но видела только таблетки и ждала того часа, когда их можно будет проглотить. Она звонила по телефону, который выучила наизусть, говорила мужчине, берущему трубку, что она от Ляли, и заказывала таблетки. Их ей в назначенное место приносил чернявый мальчик, он же и получал деньги. Лесе уже не хватало пачки на сутки, а ведь еще и месяца не прошло с рокового знакомства с Лялей. Постепенно исчезло то ощущение счастья, что возникало в первые дни после приема таблеток. Сейчас они только возвращали Лесю в нормальное состояние, а вот если их не было... Этого словами не опишешь.

Леся чувствовала сильнейшее беспокойство, переставала спать совершенно. Она чихала, кашляла, у нее текли слезы и, простите, слюни изо рта — она постоянно вытирала их платком, сморкалась. Зрачки были расширены — люди стали обращать на это внимание, и Леся стала носить солнцезащитные очки. Появилась тошнота, невыносимая ломота в теле. Леся как-то попыталась прекратить прием таблеток на целый день, но не вынесла этого — она фактически перестала быть человеком вообще. Она забыла о сыне, о Боге, обо всем мире, наконец. И думала только о том моменте, когда она сможет принять таблетки и заглушить свои невыносимые страдания.

Скоро Леся уже не могла ждать, пока морфин, принятый в виде таблеток внутрь, облегчит ее состояние, и стала покупать морфин в ампулах. У нее был шприц с тонкой иглой, она его никогда не кипятила; ломала кончик у ампулы, чаще всего зубами, выплевывая его вместе с осколками стекла, и набирала жидкость в шприц. Она наспех выдавливала вверх через иглу пузырьки воздуха, прекрасно понимая, что каждый из них смертелен, и наконец впрыскивала содержимое себе в вену. Часто промахиваясь, постепенно научилась находить свои вены в разных местах, так как вся была исколота. Леся месяца за три сильно постарела, на лице появились морщинки, волосы стали сухими и ломкими, язвочки от уколов гноились. К этому времени ее перестало интересовать все, кроме морфина и денег на его приобретение.

Леся уже успела приватизировать квартиру, она сделала это сразу же, как получила свидетельство о смерти мужа. Теперь она подумывала даже о продаже квартиры для получения средств на наркотики, но Саша не позволял ей сделать это — он успевал вовремя снабжать ее деньгами. Все разговоры о том, что квартира нужна хотя бы для сына, не давали результата — Леся думала только о том, чтобы приостановить свои мучения.

Об этом писал Булгаков в своем рассказе «Морфий»:

«... Смерть, медленная смерть овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишаете его морфия, в теле нет ни клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает его труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды — райская и блаженная смерть, по сравнению со смертью от жажды морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги... Смерть — сухая, медленная смерть...»

Все попытки Саши устроить ее на лечение не имели успеха — Леся от него отказывалась. Она хотела только морфия. Однажды Леся сказала Саше, что ей срочно нужны деньги и что она уже нашла покупателя на квартиру. Саша оставил ей приличную сумму, но попросил приостановить сделку. Получив деньги, Леся уже ни о какой сделке и не думала, быстрее бы купить морфий. Хотя Саша ее обеспечивал, все ценные вещи из квартиры были уже проданы, даже зимние. Была середина октября, Леся ходила в куртке, зимой надеть ей было уже нечего. Саша собирался купить что-нибудь попроще, чтобы продать не смогла. Но это оказалось ненужным. Леся умерла от передозировки наркотика.

На все деньги, которые оставил ей Саша, она купила ампулы с морфием. Видимо, она вколола себе больше, чем надо, заснула и не проснулась. Когда Саша пришел ее проведать в очередной раз, открыл дверь своим ключом и зашел, он застал Лесю одетой, лежащей на кровати поверх одеяла. Такое в последнее время случалось часто, и Саша сначала решил, что она, наколовшись, спит. Но когда потрогал ее, понял, что тело уже окоченело. Такой исход он ожидал и даже не испугался. Вызвал скорую, милицию, сел рядом и стал ждать. Он смотрел на лицо Леси — она так изменилась, что мать родная не узнала бы ее.

Кстати, матери Леся так и не сообщила своего адреса. Саша советовал ей написать, но Леся, краснея от смущения, все-таки отнекивалась: «Как узнают, что я в Москве, завтра же все Матаки здесь будут! Тебе это надо?» Значит, Саше и сообщать о смерти Леси никому не надо. Леся «сторе́ла» необыкновенно быстро — меньше чем за полгода. Врачи сказали, что такое бывает редко и в основном у молодых женщин, которые болеют наркоманией в более сильной форме, чем мужчины.

Родилась Леся в 1972 году, в 90-м летом сбежала с будущим мужем Сашей в Москву. В мае 91-го родила Филю, а той же осенью Саша исчез, вернее, был убит. В сентябре 93-го Леся

познакомилась с моим другом Сашей, а в октябре 96-го умерла сама. Роковая встреча Леси с Лялей произошла в мае 1996 года, вскоре после празднования пятилетия Фили и ухода Леси в Выхино.

Лесю мы кремировали, а прах захоронили рядом с ее мужем Сашей. «Все-таки она мать нашего Фили», — со вздохом решила Роза. Рядом с надписью «Барух и Блюма Вульф» появились новые: «Александр Филиппович Македонский и Лейсан Саидовна Абдурахманова».

— Здесь же похоронят и меня, — вздохнул Саша, когда мы помянули Лесю на ее свежей могиле. — И буду я лежать в земле вместе с Лесей и ее мужем, — слышишь, Филя! — И появится здесь новая табличка: «Александр Вениаминович Македонский», но никто-никто не догадается, кем приходились мы с Александром Филипповичем друг другу!

— Тогда уж и Розочку со мной и Тamarой похорони, Филя, здесь же, вот и будут лежать вместе «три веселых гуся» и вся наша гоп-компания, — невесело пошутил я.

А Филя, не понимая, что это за «веселые гуся», «гоп-компания» и почему нас всех вдруг надо хоронить, расплакался.

— Да не плачь, Филя, заранее, — утешал я его, — это будет еще очень и очень нескоро!

Мы успокоили плачущего ребенка, выпили, постояли еще немного и пошли поминать нашу Лесю в кузьминскую квартиру, благо она была недалеко отсюда...

ЭПИЛОГ

Вы подумали, наверное, что мое повествование закончено? Похоронили, дескать, Лесю, помянули ее и остались жить-поживать вместе? Я — с Тamarой и Розой, Роза — со мной и Сашей, а Тамара только со мной (во всяком случае, я так полагаю). Саша и Роза, кроме того, в качестве любящих папы и мамы Филя.

Да, девять лет — до конца 2005 года так оно и было. Правда, сексуальные встречи с Розочкой случались все реже — бывало, проходит неделя, другая, а встреч все нет. Я уже было решил, что начинает действовать вторая фаза народной мудрости: «Секс помогает забыть старость, старость помогает забыть секс...»

Розочка слегка располнела, перманентная ее сексуальная возбудимость также слегка улеглась. Ее «бульжники» перестали быть таковыми, увеличившись в объеме и, соответственно, утратив «каменную» твердость.

Саша все чаще стал прибегать к помощи нашего уникального прибора, даже перенес его к себе в Кузьминки. Но жаловался, что толку от него становится все меньше и меньше.

Филя — современный тинейджер, вечно вооруженный плеером и мобильником, — недавно получил паспорт и проводил большую часть времени в Лесиной квартире в Выхино. Там собирались его товарищи и подруги из поколения «next».

У нас с Тamarой все было по-прежнему. Ровные, хорошие отношения, уникальный аппарат пока не требовался. Мы оба радовались, когда вечером к нам приезжала Розочка и оставалась на ночь. Это было маленьким праздником для нас, не знаю для кого больше — меня или Тamarы. Во всяком случае, когда ее долго не было, в Кузьминки начинала названивать именно Тамара и приглашать Розочку «погулять немного»!

Лето мы обычно проводили так: сперва недолгий отпуск Саши и Розы впятером, путешествуя куда-нибудь на озера или море на Сашином «Фольксвагене». Ну а потом догуливали наш с Тamarой «долгий» отпуск и Розочкин «без содержания» на даче. Жизнь текла ровно, едва заметно убывая по интенсивности.

Но осенью 2005 года наши встречи с семьей Македонских после бурного лета как-то резко пошли на убыль. Болели то

Саша, то Роза, то Филя или находились какие-то неотложные дела. Мы с Тamarой уже решили было, что Македонские нашли себе новых друзей или стали больно «идейными».

А тут рукопись этой книги была закончена, и я сообщил об этом Саше. Он заехал ко мне после работы и забрал рукопись читать. Мы даже не посидели и не выпили — он спешил и был озабочен. В глаза мне он не смотрел — все отводил взгляд.

— Саша, в чем дело, ты что-то скрываешь! — попытался «допросить» я его.

— Хорошо, — ответил с какой-то мýкой Саша и, наконец, взглянул мне в глаза. Взгляд его был странным — и любящим, и страдальческим, и в то же время решительным. — Ты прав, это трудно не заметить. Дай мне время — недели две-три, и я тебе все-все расскажу, заодно и рукопись принесу. Пока не могу, поверь и не мучь меня!

Саша ушел, а мы с Тamarой стали строить догадки. Кто-то из них серьезно заболел — но зачем тогда скрывать? У Саши какие-то неприятности на работе, не хочет пока разглашать — это выглядело правдоподобнее, но тоже странно. Ведь Саша всегда всем делился со мной. Филя связался не с той компанией и идет «разбор полетов». Тоже удивительно, почему не поделился — мы что, чужие?

И, наконец, в начале декабря Саша позвонил и сообщил, что он с Розой хочет зайти к нам вечером. Мы с Тamarой были счастливы и готовились к встрече друзей с радостным ожиданием.

Но лица у пришедших друзей были тревожными, глаза Розы были красными и блестели от слез. Они принесли букет роз и бутылку водки.

Мы в недоумении сели за стол, Саша разлил водку по рюмкам, встал, поднял свою рюмку и наконец высказался:

— Мы с Розой прочли рукопись, мы со всем согласны, но ее тебе придется немного дописать — пару страниц, не более. Чтобы логически закончить произведение. Дело в том, что завтра мы втроем — я, Роза и Филя — улетаем в Израиль на постоянное место жительства. Решили вам заранее не говорить, чтобы не расстраивать и чтобы вы нас не пытались отговорить. Потому что мы с Розой все это обдумали и твердо решили. Квартиры — и свою, и Филину — мы уже продали, с работы уволились. «Жребий брошен!», как сказал когда-то Кай Юлий Циммерман, — попытался пошутить Саша, но шутка не удалась. — Одним словом, прощайте, мы выпиваем вместе, наверное, в последний раз!

И Саша опрокинул рюмку в рот. Роза тихо плакала, но рюмку пригубила. Потрясенная Тамара внимательно смотрела на Сашу, казалось, что удивлению ее не будет конца.

Я поставил свою рюмку на стол и встал.

— Вы что, все с ума посходили, что ли? — резко сказал я. — Вы что, все это серьезно?

— Выпей, — попросил Саша, — а то наш самолет рухнет, и не проклинай нас, пожалуйста, не желай зла!

Я насильно «проглотил» рюмку, и не было в моей жизни более горькой водки, чем эта.

— Не говори мне, пожалуйста, что я теряю хорошую работу, родину, Москву, друзей — я это все хорошо знаю, и это разбивает мне сердце. Не говори, что здесь у нас похоронены родители Розы, Леся — я это тоже все обдумал. Но мы с Розой решили, и вы нас можете не понять. Дело в том, что мы с Розой — евреи, хотя я и «выкрест», но по крови все равно еврей. Кроме Филя, который только думает, что он еврей, если считать по отцу, конечно. Мы уже немолоды и решили остаток дней прожить на исторической родине, на земле предков и там же быть похороненными. Это и отец мне говорил, уезжая, но я не понимал его тогда. Может быть, попозже заберем и прах родителей Розы, но пока не до этого. Так что прими это как данность, как то, что мы вдруг умерли для вас — и все. Хотя мы будем звонить и, наверное, приезжать к вам в Москву, если примете. А может — и вы к нам в Израиль!

— Не дождетесь, — резко ответил я, чем, может быть, принес боль друзьям.

Но ничего, потерпят! А я-то раскатал губы — будем доживать свой век с нашими милыми друзьями и поодиночке тихо уходить на нашу всеобщую историческую родину — на небо. А тут — на тебе — сразу двое, если не трое! Тьфу!

— Мы не на пустое место едем, — продолжил Саша, — у Розы там обнаружили родственники по линии Вульфов, они уже сняли для нас квартиру в Тель-Авиве. Работу мне подбирают подходящую. Новую жизнь начнем!

— Вы еще вернетесь обратно, будете, как таких называли раньше, «дважды евреи Советского Союза»! Я тогда посмеюсь над вами! — пригрозил я.

— Может, и вернемся, не понравится — вернемся! — поклядисто согласился Саша.

Но я понял, что он лукавит — не вернутся! Мы с Тamarой теряем лучших, единственных друзей навсегда! Слезы подступили к глазам, но я сдержался.

— Все ребята, я вас понял! — я долил водки в рюмки и поднял свою. — Долгие проводы — лишние слезы! Выпьем на пошок, и летите, голуби, на свою историческую родину. А мы останемся тоже на исторической, но своей!

Выпили и, не сдержавшись, мы с Сашей бросились в объятия друг другу. Мы громко плакали, не стесняясь ни себя, ни женщин. Те в свою очередь тоже рыдали, обнявшись.

«Расставание — маленькая смерть!», поется в песне. Да не такая уж и маленькая, даже более мучительная! Твой любимый человек — там, а ты не можешь быть с ним вместе! А краткосрочные встречи — только одно расстройство! Но ехать к ним в Израиль и жить там — ни в жисть, в страшном сне не увидеть! В самых кошмарных снах я вижу, что завербовался на работу куда-то в провинцию из Москвы — в холодном поту просыпаюсь. Но провинция — хоть Россия, а это — другой мир.

Да, евреи — особые люди! Идейные какие-то или с обостренным чувством Родины, что ли! Может, если бы Россия была с Израилем величиной, и мы так же ценили бы ее и не разбежались по миру, туда, где кормят пожирнее!

Но прощаться, так прощаться! Обнявшись, мы с Розочкой поцеловались три раза — по-русски. Никакого намека на секс, на наше прошлое. Целовал почти как покойницу.

Саша с Розой вышли, мы их провожать не стали, а только посадили в лифт. Мы смотрим на них — они смотрят на нас. Наконец двери закрываются и кабина лифта, как гроб в зале прощаний, медленно уходит вниз. Через минуту мы с Тамарой услышали, как открылись двери лифта уже на первом этаже. Затем громыхнули двери подъезда. Все — конец!

Мы зашли к себе в квартиру. Обнялись, поплакали. Как хорошо, что Тамара — со мной и что она не предала меня! Убил бы! Имею, как муж, право!

Мы допили водку, сели, поплакали еще. А может, действительно, это — конец? Остаются только старость, болезни и она — костлявая, с длинной косой?

«Нет, шалишь, — жизнь продолжается», — ответил я сам себе и достал рукопись книги. Взглянул на название: «Дружба — дороже!» и заменил восклицательный знак на вопросительный. Действительно, дороже ли? Мне-то — да, я в этом и не сомневаюсь! А вот моим друзьям, видимо, не очень, раз так поступили!

Я много раз пытался поставить себя на место Саши. (Розочку я не брал в расчет — она баба, мне ее не понять!) Но у меня это не получалось. Ну, если бы за мной здесь охотились спецслужбы или киллеры, тогда еще куда ни шло. Но Саша и Роза здесь жили неплохо во всех отношениях, другим бы так!

Для меня, например, уехать навсегда из Москвы, даже в другой город России, даже в прекраснейший Петербург или теплый Сочи — ну, чуть лучше смерти. А за границу, даже в Тбилиси — город, где я родился; Сухуми — родину предков, или мой любимый Киев — нет, лучше в петлю! В Германию, где у меня близкие

друзья и которую я очень люблю; в Америку, где уже целая куча учеников и друзей, включая вторую жену Олю; в Польшу, где живут мои потомки, — нет, лучше пусть посадят, расстреляют, но здесь в Москве!

Нет, невозможно поставить себя на место другого человека, даже ближайшего друга. Они — евреи, откуда мне знать, что делается в душе у людей, предки которых покинули родную землю и веками бродят по миру. Хотя я и сам покинул родину, но не тянет же меня обратно в Тбилиси!

Я вспомнил все хорошее, что было у нас с Сашей и Розой. Да это же счастье, это надо же было так повезти, чтобы испытать такое! И что — забыть или предать анафеме все это? А какво им, они же покидают не только друзей, но и любимый город, свою страну, насиженное (и неплохое!) место! И едут в неизвестность, в трудности, к террористам на расстояние выстрела!

А может, они — герои и мне их просто не понять? Ведь не понимал же я грузинского царя Деметре-самопожертвователя, который ради спасения Грузии годы ехал в ненавистную Орду, где ему должны были отрубить голову! Может, я — примитив, а они — настоящие люди, высшая или, по крайней мере, непонятная мне цивилизация? И я, христианин, еще берусь их осуждать? Сам-то я не еду помогать родной Грузии или Абхазии преодолевать трудности, которых у них сейчас предостаточно, а смотрю про это по телевизору...

Нет, не все так однозначно в жизни! Надо понять и простить, хотя бы просто простить, если понять не можешь. И если ты пока не осознал этого, все равно не осуждай и прости! Прости, если поступок друзей, может, самый благородный, с их точки зрения, принес тебе обиду, горькие переживания, утрату! Ведь так же мы можем обвинить близкого человека и в гибели в бою — ведь это принесло нам столько горя! Но он-то погиб, защищая нас! Так, может, и они уехали защищать достоинство свое, да и общечеловеческое — наше, стало быть. А я еще ругаю моих дорогих друзей и сомневаюсь в них! Вот и получается, что очередная псевдоистина — привычка к теплоте, насиженному, любимому месту — оказалась мне дороже дружбы, друзей! Выходит, Аристотель все же прав?

— Нет, шалишь, — ответил я сам себе своей же любимой присказкой, — друзья все-таки дороже! И Тамара, которая всегда рядом со мной — ближайший друг, хотя по совместительству и жена. Она же не бросила меня, даже под угрозой своей жизни! И друзья, родные из Польши, Германии, Америки, Австралии — хоть живут и далеко, но душевно-то близки. А теперь будут еще друзья и в Израиле!

Я вздохнул, достал рукопись книги, которую еще не успел отнести в издательство, и переправил вопросительный знак в ее названии снова на восклицательный. Так-то будет вернее!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
От автора	4
Вступление	8
Глава 1. Тбилисский двор	11
Я	11
Саша	17
Самоподготовка	23
Увлечения	29
Соседи	39
Батоно Нури	47
Прощание со школой	53
Глава 2. Кавказские пленники	63
Мои университеты	63
Целина	68
В дерьмовом кольце	80
Кур в ощице	87
Прощание с Тбилиси	97
Глава 3. На свободе	106
В женском общежитии	106
Свара и прощание с Тольятти	117
Десять лет спустя	125
Македонский в Кузьминках	131
Глава 4. Веселая семейка	138
Неугомонная Розочка	138
Город любви	141
Встреча на Таганке	150
Преступление и наказание	158
Негритянка Сюзи	162
Венчание	168
Разрешение семьи	171
Леся	175
Ложь имеет короткие ножки	181
Возврат к прошлому	187
Глава 5. Недолгое счастье Леси	195
Осложнения	195
Следствие и суд	199
Временные перебои	205
Искусственный рай Леси	211
Эпилог	219